

# Земля и звезды



ЮРИЙ ЧЕРНОВ











Москва  
**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ**  
1981



РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ .



СЕРИЯ . ПЛАМЕННЫЕ

*Юрий  
Чернов*

# **ЗЕМЛЯ И ЗВЕЗДЫ**

ПОВЕСТЬ  
О ПАВЛЕ ШТЕРНБЕРГЕ

*Издание второе,  
дополненное*

Юрий Чернов принадлежит к поколению, встретившему свое совершеннолетие в окопах Великой Отечественной войны.

Первая книга писателя — «Русский солдат» — была напечатана в типографии армейской газеты «Боевая тревога» на фронте. За нею последовали поэтические сборники «Разведчики весны», «Маршевые роты», позднее появились повесть «Последняя победа», рассказы «Отец и сын», «Курган над Иволгой». Ю. Чернов написал ряд книг о трудных буднях современников — «Ночная смена», «Разлуки и встречи», «Разъезд Стофато», «Костры», «Дом среди сосен».

В последние годы писатель обратился к исторической теме. Повесть «Верное сердце Фрама» воскрешает драматические страницы жизни полярного исследователя Георгия Седова. Повесть «Любимый цвет — красный» посвящена видному деятелю Советского государства В. П. Ногину и вышла в серии «Пламенные революционеры» двумя изданиями.

Повесть «Земля и звезды» рассказывает о жизни выдающегося русского революционера и астронома П. К. Штернберга. Книга выходит вторым изданием. Первое издание (1975 г.) получило широкое признание читателей и прессы.

Ч  $\frac{10604-109}{079(02)-81}$  247-81 0505030101

© ПОЛИТИЗДАТ, 1975 г.

*Тою же твердой рукой, которой наводил он свой большой телескоп, разыскивая на пределах видимого мира далекую туманность, наводил он и какое-нибудь шестидюймовое орудие, нащупывая надвигающегося близкого врага. Такое сочетание мне привелось встретить только в одном человеке, да что-то не приходилось и читать, если не обратиться снова к одному из гигантов человечества, к Микеланджело, тою же рукой изваявшего Давида, Моисея, создавшего чудеса живописи Сикстинской капеллы и наводившего с бастиона в саду Боболи пушки на врага, обложившего Флоренцию.*

**К. А. ТИМИРЯЗЕВ**



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### Красная Пресня

И этот год  
                                в кровавой пене,  
и эти раны  
                                в рабочем стане  
покажутся  
                                школой  
  первой ступени  
в грозе и буре  
                                грядущих восстаний.  
Вл. Маяковский

## I

Телеграмму о выезде из Берлина Павел Карлович не посылал. Не хотелось никого беспокоить, да и неясно было, что там, в последекабрьской Москве, происходит. По мере приближения к ней нетерпеливое желание все узнать, во всем разобраться возросло. И тревога — тоже.

Невеселые слова упрямо сверлили сознание: «Иных уж нет, а те далече».

Он поглядел в окно: в полуверсте от железной дороги дремала засыпанная снегом деревушка. Над избами медленно плыли жиденькие дымки. Людей не было видно. Одинокая санная колея терялась в сугробах.

«Иных уж нет, а те далече», — повторил Павел Карлович и подумал, что, может быть, лишь на расстоянии все рисуется в черных красках. Много ли поймешь из сбивчивых, неполных и противоречивых сообщений иностранных газет?

Провести за границей без малого год — дело нешуточ-

ное. Сколько воды утекло в Москве-реке? А баррикады, пожары, пушки на Пресне...

Вагон качнуло, громко лязгнули буфера. Сосед Павла Карловича, задремавший после завтрака, открыл глаза. Он сладко причмокнул, затряс головой, прогоняя сон.

— Скучать позволите? — он потянулся, жмурясь от удовольствия. — А я — в объятиях Морфея. Так бесцеремонно. Фу!

Сосед по купе был полный, подвижный, самозабвенно-говорливый мужчина, присяжный поверенный по профессии, лечившийся на немецком курорте в Бадальстере. Свою неутолимую жажду доказывать, вспомнить, спорить он обрушил на молчаливо-замкнутого Павла Карловича. К счастью, утром, за завтраком, словоохотливый сосед уступил другой своей слабости. Он извлек из саквояжа нарядную картонную коробку со множеством тесных отделений, в каждом из которых стояла плоская бутылочка. Колпачки, заменявшие пробки и легко отщипывавшиеся, позволили без особых затруднений продегустировать тягуче-густые и ароматные напитки.

Поскольку Павел Карлович от ликера отказался, причем сделал это решительно и категорически твердо, присяжный поверенный дегустировал иностранное зелье сам. Он приговаривал, что чистый ликер не пьет, предпочитает чай с ликером, однако практика наглядно опровергала теорию:пил он ликер с чаем. Скоро дегустатор захмелел.

— Жаль, милостивый государь, — вздохнул присяжный поверенный, — что вы холодны к Бахусу. Совершенно индифферентны. Но это, смею надеяться, вас не оставит равнодушным?

Он полез опять в саквояж и, сверкая накрахмаленными манжетами, поднял над головой белобокую фаянсовую сороку с длинным хвостом.

— «Бадальстер» в переводе на русский язык — со-



рочье купанье. Представьте себе, вот этой красавице в центре курорта поставлен памятник...

Адвокат поднял глаза на спутника, чтобы проверить, какое впечатление произвело на него сообщение, а тот безучастно смотрел в окно на снежную равнину, пустынную и унылую.

«Все словно вымерло, — размышлял Павел Карлович, ощущая давящий груз недобрых предчувствий. — Может быть, и меня ждут не дождутся на Брестском вокзале синие мундиры?»

— Вы хандрите, милостивый государь, — сосед коснулся колен Павла Карловича и заглянул ему в глаза. — Хандрите. Но я все-таки доскажу вам все до конца. Да, да, сороке поставлен памятник!

И он поведал старую легенду о больной сороке, которая барахталась в чудодейственном роднике, пила из него воду и исцелила все свои недуги. Пастух, наблюдавший за сорокой, рассказал людям о целебных свойствах источника. Так и возник курорт.

«Если пушки стреляли по Пресне, — подумал Павел Карлович, — то, наверное, наблюдатели размещались в обсерватории. На Пресне вряд ли найдется для наблюдений лучшее место...»

Вагонные тормоза противно заскрипели. Поплыла в окне платформа с медлительно-важным городовым, с шумливыми, горластыми бабами, предлагавшими ряженку и картофельники. На фасаде приземистого здания вокзала, словно взятые с глазированного пряника, шесть букв: «Вязьма».

— Теперь считайте, мы почти дома, — заметил прижатый поверженный.

В вагон селились новые пассажиры. Из коридора доносились разговоры:

— Поклонись Белокаменной.

— Так ты, Екатерина Амвросиевна, все опиши: что

сгорело, что в целости. И непременно матушке насчет персидского ковра напishi. Уж очень они беспокоятся.

«О коврах беспокоятся», — отметил про себя Павел Карлович.

— Ковры, ковры, где ваша мягкость, — пропел сосед. — Иные господа не только ковров — головешек от своих домов не найдут. Ре-во-лю-ци-я!

Присяжный поверенный, поглядывая, сколько убавилось в плоских бутылочках ликеру, укладывал их в картонную коробку.

— Головешек не найдут, — повторил он. — А я на Остоженке живу. У нас, кажется, обошлось. А вы где квартируете?

— Весь штат обсерватории на Пресне.

— Бог мой! — воскликнул сосед и артистично возвел вверх руки. — Вы поселились в кратере вулкана. Теперь, милостивый государь, мне понятен ваш минор.

— Завидую тем, кому всегда все понятно.

Колючая стрела задела присяжного поверенного, но, привыкший к дискуссионным поединкам, он не подал виду. Лишь отметил: штучка, видно, этот молчаливый астроном. И мужчина недюжинный: высоченный, на голове — львиная грива, глаза такие, словно рентгеном просвечивают. И скрытен, скрытен, ни на какой козе к нему не подъедешь.

— Что ж завидовать, — сосед невинно продолжал разговор. — Профессия у меня такая: запутанное распутывать, неясное прояснять. Земная профессия, хлопотная и гуманная, позволю себе заметить. А вам я, милостивый государь, действительно завидую: сидите в благодатной тишине и звезды считаете.

Павел Карлович промолчал, положил на столп пенсне. На переносице остались вмятины от зажимов, и глаза, еще минуту назад пронизывающие, внимательные, оказались беспомощно-близорукими. Это словно подбод-

рило собеседника, и он, с профессиональной ловкостью ухватившись за хвостик уже отзвучавшей, полузабытой фразы, пустился в новые рассуждения:

— Профессия у меня хлопотная, поверьте. Российской Фемиде нелегко служить. Один мой коллега знает как выразился? Русский суд затем и создан, чтобы произвол рядить в панталоны законности. Крепко сказано?

— Крепко.

— То-то и оно-то. Иной раз в судебном заседании мечешь бисер, мечешь, и доводы, и факты, и логика, и статьи закона, а тебя глухие слушают. Все доводы как горох об стену! Теперь же, внемлите моему слову, и того хуже будет. Революцию задушили. Стало быть, восстание — мятеж, восставшие — смутьяны, крамольники. Тюремь, конечно, переполнены. Нашему брату работы хватит.

— Какое же будущее вы предрекаете? — спросил Павел Карлович.

Сосед развел плутильские ручки, сверкнул перстеньком:

— Какие прогнозы? Победителей славят, побежденных судят. Кто прав, кто не прав — история разберется, а пока будут решать приставы да исправники. Вы вот уж год по заграницам ездите, а я в октябре, недели за две до событий, еще по Москве жуировал. Ой, что заваривалось! И ваши студентики, не знаю, как астрономы, а вообще студентики порезвились знатно. В университет со всей Москвы на митинги, как мухи на мед, зеваки слетались.

Переведя дыхание, присяжный поверенный указал пальцем вверх, будто там, вверху, находился тот, о ком он заговорил:

— Государь император слабинку почувствовал, бросил толпе пряник — манифест семнадцатого октября. Поздно, видно, бросил. Когда в котле слишком много горячего

пару скапливается, сами понимаете, разорвет котел, не миновать взрыва.

— Полагаете, не миновать? — вставил Штерибург.

— Сегодня котел опять занаяли, опять пар накапливают. Власть силу обрела, прыжков ждать не приходится, придется послушать, как нагайка свистит.

— А с кем будут слуги Фемиды? — поинтересовался Павел Карлович.

Присяжный поверенный уложил в коробку последние бутылочки с ликером, пристроил сбоку фаянсовую сороку и, вздохнув, ответил:

— Кто платит, тот и заказывает музыку, милостивый государь!

## II

Лошадка бежала резво, поскрипывал январский снежок. Неуклюжий извозчик в тулупе и в синей поддевке поверх возвышался как гора. Поезд опоздал, извозчик, видно, заждался, озяб и подстегивал савраску не из надобности, а скорее так, чтобы размяться:

— Но-о-о, лядащая! Заробляй себе на овес, а мне на гречку!

Павел Карлович, укрыв ноги меховой полостью, чувствовал себя в санках превосходно. После вагонной духоты дышалось легко и свободно.

На Брестском вокзале, кажется, ничего не изменилось. У вагона, в белых фартуках с блестящими бляхами, толпились носильщики. Их всегда бывало много у желтых и синих вагонов первого и второго класса, но Павел Карлович от услуг отказался и широким шагом заспешил к санкам.

Извозчики, как обычно, зазывали наперебой. Один из них выбежал Павлу Карловичу навстречу, ухватился

за ручку чемодана и с неоправданной горячностью зататорил:

— Уважьте, окажите честь, ваше сиятельство. Конь сытый, я вас — мигом!

К пустующим санкам подходили пассажиры, и чрезмерное усердие извозчика показалось Павлу Карловичу странным. Сев к другому, он на всякий случай запомнил и черные санки с высокой спинкой, и рыжую морду лошади с белым пятном под правым глазом...

Облепленные снегом, слепо мерцали фонари; синие сумерки близкого вечера опускались на город. Сапки то и дело встряхивало: они попадали в какие-то ямы. Извозчик, словно извиняясь, объяснял:

— Снаряды, как свиньи, всю Москву изрыли.

Павел Карлович понимающе кивнул: слева и справа угрюмо высились дома с мертвыми глазницами окон, с зияющими дырами в стенах. Лишь из одного окна лилось тепло электрического света, а под ним тоскливо поникло старое дерево с изломанными ветками и расщепленным стволом.

Он не мог вспомнить полуразрушенный дом, но сразу узнал деревянное зеленое здание — длинное и низкое — прежнюю парикмахерскую. Штерибург как-то стригся в этой парикмахерской, и его долго преследовал приторный запах одеколона, пудры и вежеталя. Хозяин, ловко работавший ножницами, уморил рассказами о «самом Леоне Эмбо», французском парикмахере, очень популярном тогда в Москве, к которому тянулись любители моды.

Когда выехали на Пресненский вал, лошадка уже трусила не так резво. За спиной, метрах в десяти, отчетливо слышались глухие удары копыт и поскрипывание снега под санным полозом.

«Не тот ли мордатый, не в меру услужливый увязался за мной?» — промелькнуло у Павла Карловича. Захотелось обернуться, но он подавил это желание. Во-пер-

вых, в полусвете не разглядеть — черная или рыжая морда у лошади и где у нее белое пятно, под каким глазом; во-вторых, он еще раньше, еще до заграничной поездки, дал зарок: никогда не оглядываться, если чувствуешь слежку.

В самом начале 1905-го, став социал-демократом, Павел Карлович близко принял совет Марата:

— Охранка прочесывает Россию густым гребнем. Вы должны вобрать весь наш опыт конспирации и помножить его на точный расчет, на какой способен ученый.

Мороз пощипывал щеки. Сумерки сгущались. Позади, не отставая, катились санки.

Вот промелькнули прохоровские спальни — рабочие общежития, к которым прилипла фамилия хозяина мануфактуры — Прохорова. В вечерней полумгле черные полосы копоти, оставленные недавним пожаром, не были видны, лишь кое-где в окнах вместо стекол темнели фанерные листы.

Павел Карлович нахмурился, прислушиваясь к близкому перестуку копыт. От первоначальной мысли проехать мимо фабрики Шмита пришлось окончательно отказаться: крюк хоть невелик, да будет приметен. А проехать мимо хотелось: в иностранных газетах много писали о сожженной карателями фабрике и о самом фабриканте Николае Шмите — «заядлом» революционере, заточенном в тюрьму.

«Николай Павлович, милый, где вы?»

Он зажмурил глаза и представил себе худощавого юношу в университетской форме. Вспомнилась почему-то деталь — глубокие складки на рукавах студенческой куртки, очевидно, плохо разглаживались из-за привычки Николая Павловича сидеть, поставив на стол локти и положив на руки подбородок.

Взгляд у Шмита был доверчиво-добрый и неизменно располагал к бескомпромиссной откровенности.

Фабрикант... Студент... Тюрьма... Все это причудливо соединялось в сознании Павла Карловича.

— Тпру-у-у! — закричал извозчик, тормозя у калитки обсерватории. — Сто-о-ой!

Позади тоже затормозили. Сани, видимо, остановились возле прохоровской продуктовой лавки. Там фонарь, очищенный от снега. Можно бы оглянуться и проверить: та ли лошадь, тот ли возница?

Павел Карлович не оглянулся: у филеров собачье чутье. Оглянуться — значит поощрить, вселить надежду, что напали на след. Пусть их усердствуют! Пусть попробуют что-либо найти, за что-нибудь зацепиться...

Приват-доцент Павел Карлович Штернберг откинул меховую полость, степенно сошел на мостовую, велел извозчику взять чемодан и властно постучал в калитку...

Во дворе обсерватории первым встретил Штернберга дворник.

— Вот и явились, вот и явились! — радостно проговорил Ульянов.

Цезарь и Норма выбежали из темноты и запрыгали, каждый по-своему выражая чувства: Цезарь прыгал на грудь, звонко лаял, а Норма приседала и от избытка чувств повизгивала.

— Ну, как у нас? — нетерпеливо спросил Павел Карлович.

— Благодарствую, все, как надлежит, — доложил Ульянов. Голос у него был хрипловатый: то ли от махорочных самокруток, то ли от водки, которой он не брезговал, если перепадала шальная копейка.

Штернберг, прежде чем войти в подъезд, оглядел обсерваторский двор с приземистыми, тщательно побеленными пристройками к башне, образовавшими гигантскую букву «Г». Между самими павильонами протянулась неширокая асфальтовая дорожка. Прежде в дождливую

пору во дворе было грязно. Ульяну приходилось посыпать вязкий чернозем угольной золой.

.. «Молодец, Витольд Карлович,— отметил Штернберг.— Все-таки добился ассигнований».

Башня, с узкими удлинёнными окнами, с металлическим куполом, по форме напоминала снаряд, поставленный вверх головкой, готовый вот-вот взлететь в небо.

Мелькнула мысль: эх, оставить бы здесь чемоданы и свернуть не налево, не в подъезд, ведущий домой, а направо, к башне, подняться по винтовой железной лестнице, услышать, как раздвигается купол, приникнуть к астрографу, ледяному от январской стужи.

Он вздохнул и, как бы советуясь с Уляном, произнес:

— Что ж, пойдём?

На темной лестнице с певучими деревянными ступеньками Ульян зажег свечу и, проводив Павла Карловича до дверей, деликатно удалился.

— Папа, папка приехал! — закричали дети. Леночка, не дождавшись, пока дойдет ее очередь и отец подымет ее на руки, убежала, выкатила из-за дивана угольно-черный паровозик на высоких колесах. Она у-укала, как паровозный гудок, надувала щеки и дула, словно выпускала клубы пара.

— В паровозе только машинисты ездят, — сообщила старшая, Тамара. — А люди в вагонах.

Леночка перестала у-укать и, обиженно поджав губы, взглянула на взрослых.

— Не ссориться! — строго сказала мать. Она стояла посреди комнаты в длинной темной юбке, перехваченной пояском, который подчеркивал тонкую талию. Ее большие синие глаза, так выделявшиеся на матово-смуглом лице, выжидательно смотрели на Павла Карловича.

Он подошел, приложился к маленькой, расслабленной ручке: губы коснулись жесткого кольца.



— Как вы все? — спросил Павел Карлович.

— Спасибо, — ответила Вера. — Теперь спокойно.

— А тогда?

— Тогда я очень боялась. — И добавила: — За детей.

Вокруг стрельба. Белого хлеба не выпекали. Остались без молока.

— Без молока?

— Да, без молока, — механически повторила Вера и почувствовала, что сказала что-то не то, потому что муж сомкнул губы, в глазах погасла оживленность, светившаяся минуту назад. Он задумчиво прошелся по комнате и остановился возле рождественской елки, нарядной, опутанной серебристыми нитями, сверкающей вырезными снежинками. На самой верхней ветке, озорно подмигивая одним глазом, светилась луна. Павел Карлович прислал игрушку детям из Швейцарии.

Елка уже начала осыпаться. Вату на полу запорошили поблекшие зеленые иголки.

— Поставлю чай, — сказала Вера, все еще стоявшая посреди комнаты. Она резко повернулась и направилась в кухню.

— Вот и хорошо, — ответил Павел Карлович. Сегодня ему не хотелось подчеркивать так некстати обозначившуюся отчужденность.

В доме все спали. Погасив в кабинете свет, Штернберг подошел к окну, раздвинул занавески. По переулку, притопывая, прогуливался господин с поднятым воротником и в глубоко надвинутой на лоб меховой шапке.

«Не та ли лошадка с белым пятном под правым глазом привезла любителя поздних моционов?»

Павел Карлович постоял у окна, наблюдая за незнакомым господином. Тот прошел вдоль забора не более семи саженей, повернул обратно и, посмотрев на окно,

вдруг поспешно спрятался за ствол многолетнего вяза.

— Приятное соседство,— сказал самому себе Штернберг.— Очевидно, этот хвост тянется с Брестского вокзала.

Штернберг задвинул занавеску. Он только что вернулся от Витольда Карловича Цераского — директора обсерватории, жившего тут же, во дворе. Кое-что о декабрьских днях в Москве стало яснее.

Цераский — болезненно худой и бледный, с хаотически взвихренными волосами, всегда предупредительный и тактичный, забыв расспросить Павла Карловича о заграничных впечатлениях, принялся рассказывать о пережитом.

— Вот здесь, где мы сидим,— говорил он,— стоял казачий офицер и, знаете, этак игриво помахивал пагайкой. Мои заверения, что у нас посторонних нет, что это обсерва-то-рия, он не слышал, вернее, не слушал. Плевать мне, говорит, обсерватория или консерватория, подайте ключи от всех помещений да велите нашим людям напоить коней. Как видите, послал нам бог защитников.

Витольд Карлович проводил рукою по взъерошенным волосам и смотрел на Штернберга своими по-детски ясными глазами. Эта «детскость» сочеталась у него с насмешливым выражением рта, и порой трудно было определить, чего в нем больше: доверчивой наивности или лукавства.

— Мы отсиживались в обсерватории, как кроты, иные из подвала головы не высовывали,— рассказывал Цераский и, словно забыв про эти слова, поведал о виденном: как пилили на Пресне фонарные и телефонные столбы, затягивали переулки проволокой, строили баррикады, как рабочим помогали женщины и дети.

— Знаете,— признался Витольд Карлович,— на улицы вышел весь народ, мы одни оказались в изоляции и, представьте, чувствовали себя как-то неловко.

Цераский часто вставлял уничижительные слова — «отсиживались», «оказались в изоляции», полагая, очевидно, нескромным упоминать о том, что сам наблюдал орудийные вспышки и по времени, отделявшему их от разрывов, рассчитал, где находилась артиллерия карательного полка. А стояла она совсем рядом, в четырех-стах саженях от обсерватории. Вечером, раздвинув люк, Витольд Карлович следил за набухающим заревом пожаров, обозначившим фабрику Шмита, прохоровские снальни, какие-то дома у Зоологического сада.

Старика, видно, захватил вихрь событий. Человек он был болезненный, часто, ударяя себя в грудь, повторял: «Врачи нашли, что здесь разбитый горшок». Тем не менее полез в декабрьские холода открывать люк на крыше обсерватории. А утром следующего дня — не выдержал, не усидел — оказался свидетелем картины, которая ввергла его в тягостное уныние.

Обыватели грабили полусожженную фабрику Шмита. Тащили трубы, решетки, уцелевшие листы железа.

— Что это? — спросил Цераский детину, уносившего какую-то утварь.

— Дележ, — ответил детина.

— Дележ, — ужаснулся Витольд Карлович, — а что же тогда, позвольте спросить вас, грабеж?.. Ответьте — что?!

Штернберг света в кабинете не зажигал. Он сводил воедино рассуждения присяжного поверенного о котле и горячем паре, рассказ Цераского о пережитом. Постепенно складывалось представление о поведении либеральной интеллигенции в отгремевших событиях. Конечно, пищи для обобщений было маловато, и Павел Карлович подумал, что, во всяком случае, сторонников самодержавия заметно поубавилось.

На заснеженный карниз упал блик света: над соседней крышей показалась луна. Под окном чуть слышно поскрипывали деревья.

По Никольскому все еще прохаживался неизвестный господин.

— Топай, топай, господин с поднятым воротником! — сказал вполголоса Павел Карлович. — Ночь велика!

### III

Господин с поднятым воротником — Клавдий Иванович Кукин — продолжал, притопывая, ходить взад-вперед. Ноги совсем одеревенели. Домотканые шерстяные носки, купленные на Хитровом рынке, больше не грели.

— Чертова баба, — вспомнил Клавдий Иванович старуху, продавшую носки. — Распиналась на все лады, уверяла: будешь, как в печке, батенька. Хороша печка!

Переулок вымер. Ни одного прохожего. После декабра в вечернюю пору улицы пустели рано. За высокими заборами даже собаки перестали брехать.

Дойдя до прохоровской лавки и повернув к обсерватории, Кукин увидел, что в окне второго этажа качнулся и погас свет.

— Ага, задул лампу, — обрадовался Клавдий Иванович. — Все улеглись, сейчас приват-доцент Штернберг проследует на тайное свидание.

Кукин спрятался за толстый ствол дерева и затаился. Как назло, выкатилась яркая и холодная, как ледышка, луна. Мертвенный свет ее лег на утопанные в снегу тропинки, тени деревьев упали на серые стены домов. Все, казалось, притаилось в ожидании. Но калитка не скрипнула, не отворилась; она словно вмерзла в глухой забор. Приват-доцент не вышел.

— Просчет, — обреченно вздохнул Клавдий Иванович. — Холостой выстрел.

Неудачи преследовали его весь день. На Брестском

вокзале Штернберга никто не встречал. Надежда, что от вокзала потянутся важные нити, не оправдалась. В филерские сани приват-доцент сесть отказался. По пути домой никуда не заезжал. Дома занимался неведомо чем. Ну, брал на руки детей, подбрасывал их к потолку, пил чай.

При мысли о чае Клавдий Иванович представил себе приват-доцента за столом, перед ним в стакане чай с золотой долькой лимона, горячие пироги на блюде — такие горячие, что обжигают пальцы, ватрушки, присыпанные сахарной пудрой.

У Кукина свело живот, внутри забулькало, засосало. Ел он бог весть когда, на ходу, самовар в меблированной квартире теперь остыл, хозяйка, конечно, дрыхнет, да и ворота заперты, и придется будить Никона, платить ему гривенник и выслушивать сонное ворчание.

Кукин вышел из-за дерева и по снегу, вызывающе скрипучему, побрел к своим меблирашкам.

Все произошло точно так, как он предполагал. Дворник долго не откликался, потом кряхтел у ворот, кашлял, не мог найти щеколду, бурчал что-то себе под нос, поминная недобрым словом тех, для кого нет утому ни днем ни ночью.

Чай на кухне был холоднее, чем глаза квартирной хозяйки, когда Клавдий Иванович запаздывал с оплатой. Вообще холодный чай — это не чай, так, водичка, пахущая угольками.

Кусок черствого хлеба, завалившийся на подоконнике, сначала вызвал отвращение — от него при свете шархнулись во все стороны рыжие тараканы. Но голод не тетка: Клавдий Иванович аккуратно обрезал ножиком края и, ломтик за ломтиком, отправил его в рот.

Наконец, завершая свой нелегкий, полный злоключений день, Кукин задул свечу и погрузился в скрипучую, не очень теплую постель. Железные пружины продавли-

вали жиденькую перину, фланелевое вытертое одеяло плохо грело. Он подоткнул его под себя, укрылся с головой.

Усталость наконец взяла свое. Кукин заснул.

Судьба не благоволила к Клавдию Ивановичу. Он был совсем мал, когда мать бросила его и отца и укатила бог весть с кем и бог весть куда. Отец, драгунский офицер, весь досуг проводил в картежных баталиях и пирушках, сына отдал под опеку троюродной тетки, злой и привередливой.

Тетка изводила племянника нудными назиданиями. Ее голос обжигал его, как крапива. Он начинал вертеться на табуретке. Тогда тетка больно щипала его или дергала за ухо, приговаривая:

— Слушай старших, Кукин-сын, слушай!

Она никогда не называла Клавдия по имени. Щипая его или дергая за ухо, она получала удовольствие: на сухих щеках появлялось подобие улыбки.

Племянник задумал натолочь стекла и всыпать измельченные осколки тетке в овсяную кашу, которую она ела по утрам и заставляла есть мальчишку. Наверное, он исполнил бы это, если б отец не увез Клавдия в кадетский корпус.

Аракчеевский кадетский корпус размещался почти в центре старого Кремля в Нижнем Новгороде, среди замшелых кирпичных башен. Окна корпуса выходили на Волгу, на раздольные приречные луга и белеющие вдали избы села Кунавина.

У входа в корпус на деревянных лафетах покоились медные пушки времен Александра I. На пушках сверкали таблички с гербами графа Аракчеева — основателя и опекуна корпуса — и его знаменитым девизом: «...без лести предан».

Юный Клавдий не очень интересовался окрестной природой и почтенной старинной, зато любой ценой стремился преуспеть в быстротекущей сегодняшней жизни. Его старания давали плоды. Кукина выделяли на строевой, он легко и быстро взбирался по наклонной лестнице без помощи ног, уставы заучил, как таблицу умножения, постиг искусство мазурки.

Природа дала Клавдию зычный голос. Преподаватель физики после ответов Клавдия, покровительственно поглядывая на ученика, декламировал стихи:

Ослу, скотине превеликой,  
От бога дан был голос дикий.

Все смеялись, смеялся и Клавдий, и довольный преподаватель хлопал его по плечу и ставил завышенные оценки.

Жажда выделиться иногда подводила Кукина. Однажды он донес на товарищей начальству, был разоблачен; ему устроили «темную» — били, накрыв шинелью.

Оправившись от побоев, будущий слуга отечества не понял, что доносить плохо, недостойно, но он хорошо понял, что делать это надо осторожнее и хитрее.

Став старшеклассником, Клавдий примкнул к группе, именовавшей себя «Рыцари «Конкордии»».

На одной из глухих улочек Нижнего Новгорода ютилось в плюгавеньком доме заведение с запыленной вывеской — «Конкордия». Название было непонятным и мнящим. Хозяйка встречала гостей; в большой комнате играл граммофон, угощали пивом, танцевали: молодые барышни уводили клиентов в номера-клетушки и брали с них сущие пустяки.

Нежданно-негаданно грянул гром: один из питомцев аракчеевского корпуса заболел венерической болезнью, и начальство, смотревшее прежде на забавы кадетов

сквозь пальцы, приняло против них крутые меры. Среди непокорившихся рыцарей «Конкордии» оказался Клавдий: поздним вечером он сбежал из казармы и попал в расставленные начальством сети.

Проучившись шесть лет впустую, изгнанный и посрамленный, Клавдий с небольшим чемоданчиком последний раз прошел мимо медных пушек с гербами Аракчеева, чтобы вернуться в Москву и склонить повзвешенную голову перед желчной и вьедливой теткой. Впрочем, едва он устроился писцом в одном из присутственных мест, тетка вытолкнула непутевого родственника на самостоятельные хлеба в постылую меблированную квартиру.

Клавдий Иванович, готовивший себя к широкой и разгульной офицерской жизни, оказался в окружении скрипучих старцев, по-рабски покорных и исполнительных, с утра надевавших паруканники и раскладывавших, как пасьянс, запасные перья. Его же, не блиставшего ни усердием, ни каллиграфией, постоянно оставляли после работы и заставляли раз пять — семь переписывать неважные бумаги, соблюдая интервалы между строчками, следя за нажимом пера и прочими канцелярскими премудростями.

Кукин, не склонный по природе к унынию, отчаялся. В нем накапливалась лютая вражда к перьям, к папкам, дыроколам, к старшему писцу, мелочному и придирчивому, которому он решил проломить череп и бежать куда глаза глядят из распроклятой конторы.

Случай увел Клавдия Ивановича от беды. В тот вечер в печальном раздумье он зашел в трактир Егорова, что подле гостиницы «Континенталь», отведать блинов. С Востока пришло известие о кончине отца. Где-то в Маньчжурии, промотав в карты войсковое имущество, он застрелился. Не то чтоб Клавдия мучили горестные сыновние чувства, просто он острее ощутил свое одиноче-



ство. Надо бы выпить за помни души, но денег не было, и он довольствовался блинами.

Сосед по столу пил водку, уминал круглые, напичгованные рыбным фаршем расстегаи, украшенные ломтиками нежной осетрины. Перехватив завистливый взгляд Кукина, сосед пригласил его составить компанию, хлопнул в ладоши и велел подбежавшему половому принести водки и закусок.

Через час они покидали трактир друзьями, и щедрый сосед, узнав о конторском прозябании Клавдия Ивановича, предложил пристроить его к настоящему делу. Так Кукин попал в зеленоватое здание в Гнезниковском переулке, и железная витая лестница привела его к плотному господину с румяным лицом, длинными русыми волосами и тяжелым, неподвижным взглядом голубых глаз. Звали господина Евстратий Павлович Медников, и ведал он агентами наружного наблюдения в охране.

Первое задание будущему агенту показалось легким: пошататься день-другой по городу и, если встретится что-либо подозрительное, заслуживающее внимания, доложить.

Клавдий Иванович ожил: он расправил плечи, заиграл мускулами, на широком лице зашевелились поздри, как у возбужденного рысака. Отныне он не какой-нибудь пищик, а агент наружного наблюдения!

Итак, началась служба. На Малой Грузинской внимание Кукина привлек длинный, нескладный парень с рыжими бакенбардами, который расклеивал царский манифест от семнадцатого октября 1905 года. Манифест этот напечатали все газеты. Прочитали его, конечно, все, кто умел читать, и каждый по-своему оценил «благодетельная» государя. Почему же опять у листка собираются кучки?

Подожел, слился с группой обывателей. Большие типографские буквы:

**«Высочайший манифест  
Божиею милостию,  
Мы, Николай Второй,  
император и самодержец Всероссийский,  
царь польский, великий князь финляндский,  
и прочая, и прочая, и прочая...»**

В толпе ухмылялись, прыскали. И тут только до сознания Клавдия Ивановича дошел злобредный смысл листовки: на ней была отпечатана кроваво-красная пятерня, а в нижнем углу выделялась приписка: «К сему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку приложил».

Начинающий агент не был изощрен в политике, но слышал рассказы о кровавой репутации генерал-майора Трепова, понял, что крамольный листок — подарок судьбы.

Кукин выбрался из толпы и бросился искать парня с рыжими бакенбардами. Он следовал за ним, как тень, был осторожен, как рысь, и неутомим, как вол.

Вечером он принес Евстратию Павловичу донесение с фамилией и адресом злоумышленника, а из зеленоватого дома в Гнездиновском переулке унес червонец.

Клавдий Иванович стал чаще бывать в трактире Егорова. Вороне, изображенной на вывеске и державшей в клюве блин, он подмигивал, как давней знакомой. Расстегивая ел, макая их в жирную юшку, с толком и расстановкой, как и подобает не случайному посетителю, а бывалому завсегдатаю трактира.

Между тем по Москве растеклась великая смута. Рабочие затеяли волынку — забастовали. Остановились заводы. Особенно бесили Кукина служащие электрических и газовых станций. На улицах по вечерам хоть глаз коли — на вершок от собственного носа ничего не видно. А голоштанникам весело: орут «Марсельезу», аж ушам больно. И попам работенки прибавилось. Во всех

церквях не смолкали проповеди в защиту царя и отечества.

В Гнездиновском переулке собирались обветренные, суетливые филеры, принося тревожащие вести. Агенты знали: пачальник охраны несколько ночей не уходил домой. Шепотом передавалась оброненная им фраза: «Москва — пороховой погреб. Для взрыва достаточно одной искры».

Все чего-то ждали — рокового и значительного. Наконец Евстратий Павлович призвал свое филерское войнство для большого дела.

Шеф не забыл и о скромном существовании Кукина, на долю которого выпало деликатное задание.

Полным ходом шла подготовка к шестому декабря — дню именин государя. Затевались торжественный молебен на Красной площади, монархические манифестации, охота за социалистами, еврейские погромы, избиение интеллигентов.

Клавдию Ивановичу поручалось поднять и привести на демонстрацию Хитров рынок — обитателей ночлежек, налетчиков, карманников, перекупщиков.

— Пусть захватят кистени, — папутствовал Евстратий Павлович, — поразомнутся, позабавятся ребятки, дурь кой у кого вышибут. Но... — шеф поднял руку, — чтоб выглядели благопристойно. Монарха чествуем...

Городовой на Хитровом рынке провел Кукина в чадный, задымленный и шумный трактир «Сибирь», где проматывали краденое и награбленное отпетые выжиги. Сова — так звали главаря за то, что действовал преимущественно ночью, — был польщен просьбой властей и собрал душ пятьдесят «свободных от работы». Компания получилась довольно пестрая, и Клавдий Иванович и Сова чуть поотстали. Агенту не хотелось демонстрировать причастность к этой толпе, то с чрезмерным и небезопасным любопытством «щупавшей» глазами прохо-

жих, то пугливо озиравшейся, будто ее преследовали.

— Попробуем ребятку в деле,— обратился Клавдий Иванович к Сове, указывая на аптеку Циммермана, на дверях которой мелком был начертан крестик. Ночью эти крестики ставили на еврейских квартирах и лавках.

Сова вложил в рот четыре пальца и пронзительно свистнул. Толпа заревела, заулюлюкала, в стеклянную витрину полетел град камней. Зазвенело стекло, внутри заметался кто-то в белом, наверное провизор.

Двое или трое молодцов прыгнули в пролом витрины.

— Фортачи,— объяснил Сова,— пощупают кассу.

До Клавдия Ивановича не сразу дошло, что фортачи — это те, кто пролазят в чужие квартиры через форточки.

По пути встретили студента в форменной шинели, погнались за ним, повалили на тротуар. Студент отбивался, пока не протиснулся к нему с виду щуплый, сутулый, почти горбатый малый. Он вертел на цепи трехфунтовую гирию, раздался хряск проломленного черепа, и толпа, улюлюкая, поплыла дальше.

— Ухайдакал,— сказал Сова, когда миновали недвижимое тело и кровавую лужу на белом снегу.

Опьяненные видом крови и первыми успехами, хитровцы приободрились, зашагали веселее, слились с большой колонной, над которой покачивались портреты государя, трехцветные флаги, хоругви с ликом Христа. Вся эта процессия, набухая и разрастаясь, стекалась к дому генерал-губернатора.

Клавдий Иванович, как всегда при сильном возбуждении, раздувал ноздри, на широком лице ходили желваки. Кого только в толпе не было! Он узнал приятеля, соседа по столику в трактире Егорова. Тот привел, очевидно, охотничьих торговцев: у иных из-под пальто торчали передники, на животе бугрились ножи. «Мясники»,— догадался Кукин.

На балкон приветствовать толпу вышел генерал-губернатор Дубасов. Клавдий Иванович вряд ли сумел бы пересказать его речь. До его сознания долетали обрывки фраз: «возлюбленный монарх», «задушным крамолу». Все кричали «ура!» — громко, истово, и Клавдий Иванович не отставал от других.

Манифестация оборвалась внезапно. Раздался крик:

— Дружинники!

Толпа заколыхалась, как тягучее тесто.

— Дружинники! Спасайся!

Кричал седой мужчина, подняв вверх руку. «Где они?» — хотел спросить Кукин, но людская лавина понесла его, как стремительный поток уносит щепку.

Из переулка выкатилась песня:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Вставай на врага, люд голодный!

Когда Клавдий Иванович, отдышавшись, выглянул из ближайшего двора, генерал-губернатора на балконе как не бывало, на площади валялись растоптанные портреты, брошенные хоругви. Седой, тот самый, что кричал «Спасайся!», хладнокровно срезал с трехцветного флага синие и белые полосы. Осталось красное полотнище...

«Мирная пора» в Москве закончилась. На следующий день, седьмого декабря, ровно в полдень город оглох от мощных гудков заводов, фабрик, локомотивов. Началась всеобщая политическая забастовка, а два дня спустя Москву опоясали, перегородили, вздыбили рабочие баррикады.

Бедный Клавдий Иванович, чего только не испытал он в эту страдную пору! Таскал ящики, выворачивал булыжники, толкался с утра до ночи на баррикадах, запомнил имена, фамилии, клички. Если выпадала свободная минута-другая, он знакомился покороче, записывал адресок, объясняя: «Меня шлепнут — ты сообщишь, тебя шлепнут — я сообщу...»

На Пресне, когда Семеновский полк шарил по домам и дворам, когда расстреливали всех, кто попадал под горячую руку, лежать бы и Клавдию Ивановичу среди штабелей убитых на мерзлом снегу, если б не опознал его знакомый околоточный.

После этого Кукин двадцать часов проспал, не пробуждаясь, на одном боку. Он не слышал, как стучалась хозяйка, предлагая горячий чай, не проснулся даже тогда, когда рыжий таракан прошелся по лицу, шевеля длинными усамп.

На третьи сутки Клавдий Иванович явился к Медникову. Шеф потер пухленькие ручки и, глядя на агента своими неподвижными голубыми глазами (от этого взгляда Кукину всегда было не по себе), сказал:

— Поручаю тебе большую птицу. Адрес: Никольский переулок. Обсерватория Московского университета. Понаблюдай за семьей. В январе из-за границы вернется сам. Ступай!..

Утром Кукин пробудился не от яркого света — солнце не заглядывало в его каморку. Единственное окно выходило на серую, с облупленной штукатуркой стену соседнего дома. Он проснулся с тревожным чувством: не ушел бы куда-нибудь астроном.

Клавдий Иванович заворочался в тесной постели, потянулся так, что захрустели косточки, и открыл глаза.

Надо было торопиться. Мало ли что могло прийти на ум его чернобородому подопечному, изрядно-таки высокому — Клавдий Иванович, пожалуй, едва достанет голову до уха...

Ровно в девять утра Кукин стучался в калитку обсерватории. Ульян ответил:

— Приват-доцент Штернберг ушли.

В ладонь Ульяна упал гривенник.

— Куда ушли — не скажешь, любезный?

— Девицам лекции читать в Мерзляковский переулок.

— Спасибо, любезный! — сказал Кукин, и башмаки его закрипели по снегу мимо знакомого дерева, мимо прохоровской продуктовой лавки, и ноздри раздувались на широком лице в предчувствии охоты и удачи.

#### IV

Астрономический класс на Высших женских курсах был невелик: за десятью столами сидело двадцать курсисток. Голые стены подчеркивали строгость обстановки. Предполагалось, что картины и портреты отвлекают внимание, мешают сосредоточиться.

Основатель курсов Герье, отвергая предложения «одухотворить стены учебных классов», отвечал:

— Господа, у нас не картинная галерея. В свое время я имел удовольствие осмотреть комнаты лицестов в Царском Селе. Строго, как в монашеских кельях.

Войдя, Павел Карлович увидел улыбающиеся лица и ту невысказанную радость встречи, которую лучше, чем слова, выражают позы курсисток, их глаза — неравнодушные, ждущие.

На столе вместо обычного графина с водой стоял стакан янтарного чая. Курсистки знали, что Штернберг сырую воду не пьет. А на подоконнике в маленькой вазочке зеленела сосновая ветка.

Скромную вазочку можно бы и не заметить, но он заметил ее, и не случайно заметил.

Когда-то весной Павел Карлович выезжал с курсистками за город, где проводил практические занятия. Вечером, у костра, зашел разговор о том, кто какие деревья любит.

— Люблю сосну. Люблю ее за то, что придумала колючие иголки. А из животных люблю ежа. Тоже за иголки. Голой рукой его не возьмешь.

Внешне Штернберг, как всегда, казался сдержанно-деловым. И все же, вопреки своим правилам, он не начал лекцию со слов: «Сегодня у нас новая тема...» Он обвел внимательным взглядом класс, словно пересчитывая, все ли на месте, встретился глазами с Варварой Николаевной и, убедившись, что она здесь, сказал:

— Все, кажется, живы-здоровы. Приступим?

Читать курс астрономии на Высших женских курсах Штернберга «совратил» Климент Аркадьевич Тимирязев. Как-то в перерыве между лекциями преподаватели Московского университета затеяли разговор о проблемах женского образования.

— Я в некотором роде фигура историческая, — усмехнулся Климент Аркадьевич. — В начале шестидесятых годов сидел на одной скамье с Богдановой — первой русской женщиной, проникшей в стены университета. Через несколько лет, когда эту вольность пресекли, уже не в России, а в Гейдельберге, в университетской аудитории, я оказался соседом другой русской женщины — Ковалевской.

— Дела давно минувших дней, — вздохнул Петр Николаевич Лебедев, профессор физики, отличавшийся, как и Тимирязев, независимостью суждений. — Поистине дикие нравы: принимать в университет по столь существенному признаку — носишь ты брюки или юбку.

Лебедев когда-то сам прошел через частокол преград и злоключений, прежде чем попал в университет. В университет без гимназического диплома не принимали. Окончание реального и Высшего технического училищ права такого не давали.

Петр Николаевич проработал несколько лет в Берлинском и Страсбургском университетах, защитил диссертацию. Завоевав признание за рубежом, он в конце концов был признан и в своем отечестве.

— Путь в науку увит терниями, для женщин особенно



во. Слава богу,— Лебедев возвел глаза к потолку,— женские курсы возродили!

— И на том спасибо,— Тимирязев сделал несколько шагов и остановился возле Штернберга.— Возродить возродили, но их надо поддержать. Почему бы, например, вам, Павел Карлович, не взять там курс астрономии? А? Подумайте!

Разговор возник стихийно и угас сам собой, но не прошел бесследно: с 1901 года, продолжая преподавать в университете и в частной гимназии Креймана, Павел Карлович начал читать лекции на Высших женских курсах.

Кто-то тогда сказал:

— Начинать новое все равно что строить на пепелище.

Его это не смутило. Он строил на «пепелище», выписывал астрономические приборы, хлопотал о специальном помещении, добился права проводить с курсистками практические занятия в обсерватории университета.

Обычно студенты не очень любят преподавателей обостренно требовательных, педантичных. Скорее симпатии выпадают на долю чудаковатых, забывчивых, рассеянных, либеральных. Штернберг не обладал ни одним из этих качеств. Наоборот. Его внешняя суровость, оттененная хмуро нависшими над глазами бровями, сочеталась со строгостью и педантизмом. Это сразу отметило его ученицы.

Первая курсистка, рискнувшая выйти к столу, была бойкая рыжеволосая девушка с упрямыми, по-монгольски узкими глазами. Она отвечала уверенно, может быть, излишне громко.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал приват-доцент.— Сегодня я воздержусь от оценки ваших знаний. Вы отвечали по теме. А я просил вас раскрыть тему.— Он интонацией подчеркнул слово «раскрыть».— Если применить

к вам житейское сравнение, вы отодрали из ста одежек, составляющих кочан капусты, лишь первые листы. Кочерыжка осталась недосыгаемой.

Другая курсистка — девушка щепетильная, теряющаяся — у доски так разволновалась, что рука с мелком у нее дрожала. Написав несколько цифр, она остановилась, словно позабыв, что пишет и зачем.

Класс притих, ожидая реакции приват-доцента. Он встал из-за стола:

— Вы чем-то взволнованы?

— Нет, нет, — отозвалась курсистка. Глаза ее налились слезами.

— Садитесь к столу, успокойтесь, — попросил Штернберг и, пододвинув листок бумаги, предложил записать формулу. Она сидела в его кресле, он склонился над ней и тихо, не спеша, задавал вопросы. — Вот видите, — сказал Павел Карлович, — у вас получается. В моем кресле вы чувствуете себя увереннее, чем у доски...

Курсистки привыкли к нему, к его требованиям не отвечать по теме, а раскрывать ее, поняли: в нем уживаются строгость и доброта. Когда он снимал пенсне, они видели следы от зажимов на переносице и близорукые большие голубые глаза, вовсе не строгие...

Нередко ученики, во всяком случае на первых порах, следуют за своими любимыми учителями, подражают им. Своего университетского наставника Федора Александровича Бредихина Павел Карлович ставил очень высоко. Ценил его как большого ученого. И... совершенно не понимал как преподавателя.

На экзаменах Федор Александрович не выдерживал долгих церемоний:

— Кто знает на пятерку?

Подымалось несколько рук.

— Кто знает на четверку?

Рук подымалось больше.

— Остальным ставлю тройки,— заявлял Бредихин.— Вы, господа, свободны.

Штернберг понимал, что большому ученому простибельны маленькие слабости. Но сам придерживался иного правила: ученье не развлечение...

Лекция подошла к концу. Рассчитана, спланирована она была, как все его лекции, с математической точностью. Перед звонком он оставлял не более пяти минут, чтобы ответить на вопросы. Так было и на этот раз.

— Вопросы есть?

Поднялась Варвара Николаевна Яковлева:

— Я подготовила конспект публичной лекции. Вы могли бы меня проконсультировать?

— Напомните, пожалуйста, вашу тему.

— Падающие звезды. Болиды. Аэролиты. Определенные высоты падающих звезд.

Павел Карлович вынул из жилета часы:

— Десять минут вас удовлетворяют?

— Думаю, что да.

Класс опустел. Варвара Николаевна под села к столу с тонкой тетрадкой. За эти месяцы она ничуть не изменилась: те же темные косы, собранные в пучок, уверенные черные глаза и небольшой прямой нос с чуть приметной горбинкой. На руке, державшей тетрадку, багровели ссадины.

— Я рада, что вы здесь,— сказала Варвара Николаевна.

«Наверное, строила баррикады»,— подумал Павел Карлович, продолжая разглядывать ссадины на ее маленькой руке.

— Марат и Васильев-Южин арестованы. Шмита истазуют. Аресты продолжаются. С Бутырской тюрьмой есть связь. Как вы? Слежку не замечали?

— Хвост тянется с вокзала.

— Всех «заграничных» щупают. Разнюхали, что мы

покупали за рубежом оружие. От явки воздержитесь. В четверг занятия на обсерватории. Я буду. Кстати, нет ли у вас местечка, чтобы перепрятать оружие?

— Подумаю.

Она поднялась, едва уловимо кивнула. Если кто-нибудь наблюдал за ними, стоя за дверью, он ничего не увидел бы. Лишь Павел Карлович заметил, как на мгновение потеплели ее глаза, мелькнул в дверях пучок кос, застучали по коридору каблучки.

Он вышел из здания, и улица дохнула в лицо морозом. Штернберг применил хитрость. Пройдя пять-шесть шагов, он резко повернулся и направился обратно, словно что-то забыл на курсах. Как раз в это мгновение из цирюльни напротив выскочил господин с озабоченным взглядом, плотный здоровяк, явно ошеломленный тем, что вместо спины своего подопечного увидел его лицо.

Уж очень пристально уставился знакомый незнакомец на приват-доцента, а тот степенно прошел мимо, не удостоив Кукина взглядом, под пение холодно смотрели глаза, черная борода опускалась на отвороты пальто.

Павел Карлович плавным жестом остановил санки и, пока Кукин соображал, как быть дальше, исчез за поворотом.

Санки скользили легко и быстро. Лошадка была сытая и крепкая, только храпела и шарахалась, если на встречу шел, громыхая, трамвай.

— Не обвыкшая, — пояснил извозчик. — В деревне куплена.

Штернберг, остановив санки, сошел возле Пресненской каланчи. На самой ее макушке терпеливо мерз пожарный наблюдатель. Павел Карлович ускорил шаг, потому что стужа пробирала все ощутимее и злее. Может быть, за восемь месяцев заграничной жизни отвык от

русского климата? Во всяком случае, черные шары на каланче не вывешены, а их вывешивают, когда температура опускается ниже двадцати восьми градусов и надо предупредить детей, что занятий не будет.

Прохоровские спальни мрачно темнели. Там экономисты керосин.

Цезарь и Норма, почуяв хозяина, нетерпеливо повизгивали за забором. В коридоре встретила Вега, предупредила:

— У тебя в кабинете гостя.

Софья Войкова, оставив кресло, шагнула ему навстречу. Он узнал ее по белым как лен волосам, по длинному серому платью. В этом платье она приехала из Юрьевца. В нем она и ходила вот уже около двух лет. Менялись лишь пришитые воротнички.

В талии платье стягивал пояс. Обилие складок — раньше их не было — подчеркивало худобу. Лицо изменилось и осунулось настолько, что на улице, пожалуй, Павел Карлович и не узнал бы ее.

— Что с вами?

— Не со мной, — качнула головой Софья. — Арестовали Костю.

— Арестовали? — Штернберг посмотрел на нее колюче и хмуро.

— Ночью, — подтвердила она. — А кроме вас к кому я могу...

Она осеклась. Взгляд его оставался таким же колючим, словно она была виновницей ареста брата. Софья внутренне съежилась в напряженном ожидании.

— Садитесь, — попросил Павел Карлович. — Успокойтесь и рассказывайте все по порядку...

Павлик ахнул от неожиданности. По небу катился огненный шар. Он катился с такой быстротой, что в секунду пересек полнеба и скрылся за деревьями на Садовой улице.

Хлопнув калиткой, Павлик выбежал со двора и бросился к скверу. Он не сомневался: огненный шар зацепился за макушку старого тополя. Выше этого тополя дерева не было. Рядом стоял раскидистый дуб с широкими изогнутыми ветвями, на которых удобно сидеть, как на лавочке. Вокруг дуба — небольшая поляна. Там, наверное, и лежит эта упавшая звезда.

Он не добежал до входа в сквер, продрался сквозь густой кустарник. Упругие ветки оцарапали лицо и одежду, брызнули каплями вечерней росы, но он почти не чувствовал всего этого, перепрыгнул через скамейку, неясно темневшую на пути, и опять припустился изо всех сил.

Огненного шара не оказалось ни на полянке, ни в дальнем, глухом углу сквера, где никогда не сажали цветов, где бурно разрастались травы и колючие будяки с малиновыми набалдашниками.

Обойдя все тропинки, Павлик вернулся домой, огорченный и потерянный.

— Пауль! — удивилась мать, увидев лицо сына в косях царапинах, в мокрой, обрызганной росой курточке. — Где ты был?

— Упала звезда, — ответил Павлик.

— Куда упала? — поинтересовался отец.

— Не знаю, я ее не нашел, — признался Павлик.

— Хм, — хмыкнул отец. Недоброжелательство его сменилось любопытством. — Упала звезда и никаких следов? Ну, не огорчайся! Звезды падают часто...

Отец Павла — Карл Андреевич, подданный герцогства Брауншвейгского, — был купцом. Он владел в Орле домом на Садовой и москательной лавкой. Как и подобает купцу, копейке вел счет и знал ей цену. Однако копейку иконе не уподоблял, не молился на нее. Если попадалось на глаза что-либо нужное, полезное для дела, для себя или для семьи, расходовал деньги не колеблясь.

Мать почитала три «К»: Küche, Kirche, Kinder; почитала не только на словах — было у нее одиннадцать детей, и забот, естественно, хватало.

У отца тоже на досуг времени оставалось мало, тем не менее он ухитрялся подмечать склонности своих наследников и наследниц и незаметно, между делом, подливал масла в огонь: то привезет токарные инструменты, то разложит на столе пестрые книжки, то расставит на рояле ноты — мол, ну-ка, кто быстрее разучит!

В семье музицировали все. Девочки рукодельничали. Мальчики умели паять и клепать, стругать, шабрить, мастерить. Словом, дети не росли белоручками.

Карл Андреевич не забыл, какое впечатление произвела на Павла падающая звезда. Не ускользнуло от его внимания, что сын допоздна засиживается над книжкой. Заинтересовался: над какой? Сипяя обложка, словно золотым песком, усеяна звездами.

«Ага!» — смекнул отец и купил еще несколько сочинений по астрономии.

Спустя некоторое время владелец москательной лавки про себя отметил: «Покупка дала проценты» — сын часами пропадал во дворе, наблюдая звезды.

К рождеству Павел получил подарок — подзорную трубу.

Он отыскал в мамином хозяйстве среди бесчисленных цветных лоскутов кусочек мягкой замши, чтобы протирать линзу трубы, а па металлической оболочке аккуратно нацарапал дату и год — первое января 1880.

Пятнадцатилетний гимназист был не менее счастлив, чем Галилео Галилей, впервые увидевший купол неба через свою знаменитую зрительную трубу.

Павел вычитал в книгах, что Галилей одну из труб установил на колокольне святого Марка. Оттуда можно было наблюдать далекие, невидимые простым глазом корабли, плывущие по Адриатическому морю, и горы на Луне.

С крыши на Садовой открывались Ока, спящие под снегом баржи, плюгавенькие деревянные, иногда каменные, дома, десятка два церквей и соборов с их луковичными куполами и, конечно, Луна, которая прежде казалась плоской, светящейся тарелкой, а теперь предстала глазу по-иному — покрытая долинами, горными грядами, темными пятнами. Из этих пятен, если дать волю фантазии, складывалось смеющееся человеческое лицо.

К весне Павел смастерил устойчивую треногу, стерженек, дабы подозрная труба вращалась, и обсерватория была готова.

Отныне дни тянулись невыносимо медленно. Настоящая жизнь начиналась вечером, едва зажегся на небосклоне серпик Луны. Подзорная труба покорно двигалась: слепяще-яркий серп рос, увеличивался, а остальную часть лунного диска заливал фосфорический свет, тот самый пепельный свет, который Леонардо да Винчи считал отражением земного света!

А где блестящие точки на Луне, похожие на мерцающие звездочки, обнаруженные Галилеем? Великий ученый полагал, что эти точки — вершины высоких гор, освещенные лучами восходящего солнца. Где же они? Неужели зрительная труба, сконструированная в 1609 году, зорче трубы 1880 года?

Более месяца Павел «блуждал» по загадочной лунной поверхности. И однажды, после полнолуния, увидел:



словно сигналы из неведомого мира, мерцают огненные песчинки!..

За месяц до выпускных экзаменов в гимназии юный астроном, проводивший на крыше от зари до зари, простудился, получил пневмонию и слег. Болезнь протекала тяжело. Все-таки Павел поднялся и сдал экзамены.

Лекарь посоветовал Карлу Андреевичу послать сына полечиться в Ялту. Пока рачительный отец прикидывал расходы туда и обратно, да на курс лечения среди праздной и легкомысленной публики, пришло неожиданное предложение. Богатый помещик обратился к директору гимназии с просьбой порекомендовать для сына репетитора, серьезного и скромного. Выбор пал на Павла Штернберга.

— Поезжай, — благословил отец. — Поживешь на вольном воздухе, на помещичьем приварке и заработаешь на дорогу в Москву. Поезжай!

В Знаменском, в усадьбе Леонида Васильевича Картавцева, было действительно хорошо.

Моложавый хозяин сохранил гусарскую выправку и общительный нрав. Хозяйка была хлебосольна и приветлива. Сын Леонид, ради которого пригласили репетитора, оказался учеником хотя и ленивым, но сообразительным. Во время уроков он на лету схватывал суть и до следующего занятия предавался отдыху и забавам, успевая, конечно, забыть все усвоенное накануне.

Румяный, не по годам тучный и медлительный, Леонид был прямой противоположностью сестре — Верочке, Вере Леонидовне, удивительно легкой и изящной.

Первые дни молодой репетитор чувствовал естественную скованность. В тихой барской усадьбе царила суэта: прислуживали проворные казачки, швейцары отворяли и затворяли двери, конюхи выводили под уздцы коней,

взад-вперед ходили гувернантки, аккуратные, искушенные распорядительницы накрывали обеденный стол. А виновники всей этой суеты занимались с утра до вечера главным образом тем, что ничего не делали.

С барышней Павел виделся за столом. Он не подымал на нее глаз, и она, кажется, не подымала глаз на него, однако он каким-то образом разглядел ее тоненькую фигуру, красивые, то ли задумчивые, то ли грустные, синие глаза.

На третий день за завтраком она спросила Павла:

— Скажите, Павел Карлович, вы музицируете?

— Музицирую.

— Вы не согласитесь мне аккомпанировать?

— Сочту за честь.

Рояль сверкал безукоризненной полировкой, отражая многоярусную люстру. Настроен он был лучшим настройщиком из Орла. Пела Верочка романсы и элегии. Голос у нее был негромкий, но приятный.

— Попробуем из Глинки, на слова Баратынского. Нашли ноты?

Ее маленькая нежная рука, не знавшая никакой работы, легко касалась рояля; в голосе не было того разочарования, о котором пелось в элегии, и даже слова «не искушай меня без нужды» произносились, как нечто неопределенно-далекое. И все-таки пела Верочка хорошо.

В августе они расстались. Ему предстояло поступать в Московский университет, ей — возвращаться в Петербург, где она училась в Смольном институте благородных девиц. Ни он, ни она не знали и не могли знать, что встретятся очень скоро.

В Москве на круглых рекламных тумбах пестрели розовые и зеленые бумажные наклейки. Розовые сообщали

адреса квартир, сдающихся внаем, зеленые — адреса комнат в меблированных квартирах. Павел просмотрел зеленые наклейки. Его привлекла комната размером три на четыре, с «отоплением печным, освещением ламповым, самовар два раза в день».

«Это по карману», — решил он.

Карл Андреевич, отправляя сына в Москву, сказал: — Вылетел из гнезда — ты уже не птенец. На хлеб, на жилье сам зарабатывай. За учебу первый год оплачу. Учись стоять на собственных ногах, без родительских подпорок. Крепче будешь!

Квартирная хозяйка показала комнату: койка, стол, два стула, деревянная рама со старым, тусклым зеркалом, лубочная картинка с башнями Василия Блаженного. Предупредила:

— Самовар в восемь утра и в восемь вечера. Хлеб подаем из Филипповской лавки. Из окна виден дом, где жил Дмитрий Владимирович Веневитинов. Моя покойная матушка знавала его. Стихи ей дарил.

«За это, наверное, два рубля накинула», — подумал Павел.

От Кривоколенного переулочка, от здания с окнами на дом Веневитинова, Павел широким шагом прошел на Моховую, поднялся по белым лестницам в приемную и подал прошение на имя его превосходительства господина ректора:

«Желаю для продолжения образования поступить в Московский университет, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство сделать зависящее распоряжение о принятии меня на первый курс Физико-Математического факультета...»

«Зависящее распоряжение» было сделано. Спустя короткое время Павел уже разглядывал себя в зеркале. Форменная зеленоватая тужурка оказалась чуть-чуть

тесноватой в плечах. Он сам переставил пуговицы, весело поблескивавшие золотом. Теперь прохожие и в десяти, и в двадцати шагах от него видели: идет студент!

На тех же круглых рекламных тумбах, где висели паклейки о сдаваемых квартирах, он нашел объявления: «Приглашаем репетитора, хорошо знающего математику»...

Предложения были не очень выгодные. В одном доме платили за урок двадцать пять копеек, в другом — девяносто. Оплата, видимо, зависела от достатка хозяев. Он прикинул стоимость жилья, стоимость обеда и согласился.

Неожиданные огорчения ждали Павла в университете: первокурсники в обсерватории не практиковали. Как же так, жить в Москве, где рукой подать до этого белостенного здания с овальным куполом, и не иметь возможности войти в него, подойти к знаменитому астрографу, нацеленному по ночам в небо?!

Павел не раз прохаживался по Никольскому переулку, провожая завистливыми взглядами людей, перед которыми отворялась заветная калитка.

Подзорная труба, подаренная отцом в Орле, больше не казалась верхом совершенства. Павла влекло в настоящую обсерваторию. Доступ туда мог открыть только Бредихин, ее директор. Павел собирался зайти к профессору, продумал свой разговор от слова до слова, однако не зашел, не хватило духу. Но однажды на лестнице, увидев быструю, легкую фигуру директора обсерватории, неожиданно для самого себя, решился:

— Господин профессор, не считите за дерзость...

— Извольте, извольте без предисловий,— резко прервал его профессор, качнул клинышком бороды. Над правой бровью, словно запытая, обозначилась складка.

Павел изложил просьбу.

Федор Александрович колючими глазками оглядел

статного студента, его новенькую, без единой складочки тужурку и спросил:

— Первокурсник?

— Первокурсник,— печально признался Павел.

Бредихин помолчал, раздумчиво переступил через ступеньку и, махнув рукой, сказал:

— Ладно! Приходите с четвертым курсом...

Наверное, никогда и никто так легко, как Павел, не подымался по винтовой лестнице в башню. Он едва касался железных перил, а высокие ступени словно возносили его к небу, в заветную высоту.

Все было как во сне: вращался купол, в раздвинутый люк, будто в окно, он смотрел на Вселенную!

Каждый предмет в башне был полон значения: стрелялка — ее стерли подошвы многих поколений астрономов; широкие металлические кассеты — в них пластинки с фотографиями звезд; журналы наблюдений — в них записи Швейцера, Бредихина, Цераского...

В открытый люк проникал ночной зимний холод. Зал для наблюдений не отапливался. Телескоп серебрился, покрытый изморозью. Бывали случаи, когда пальцы, сжимавшие шары, переставали сгибаться. А шары эти, или, как их называют, ключи, предназначены для постоянной наводки трубы телескопа.

Приходилось растирать пальцы, притопывать по стылому, выложенному белой плиткой полу и опять становиться к телескопу.

Бредихин будто забыл о новичке. Он вообще студентов не опекал, появлялся среди них внезапно, как всегда, быстрый, куда-то спешащий, подходил к одному, другому и, обронив несколько лаконичных вопросов, брал в рот сигарету. Подразумевалось, что все понимают его вопросы с полуслова, а неприкуренная сигарета означала, что профессор сейчас удалится.

Однажды он остановился возле самого юного своего

ученика, глянул снизу вверх зеленоватыми глазками:

— Ну-с, Павел Карлович, хочу вас проверить — годитесь вы в астрономы или нет? Поедете на вакации в Пулково, чтобы сравнить инструменты Московской и Пулковской обсерваторий, укажете недостатки и хорошие качества тех и других. Отчет представите к пятнадцатому января.

В тоне Бредихина и намек на вопрос — может Павел пожертвовать вакациями или не может, а когда он пробормотал что-то о родителях, ждущих его к рождеству, профессор поморщился:

— Наука не терпит конкурентов. Отныне она ваша мать, ваша невеста, ваша жизнь. Или... — Федор Александрович посмотрел испытующе и развел руки.

На каникулы Павел выехал в Петербург...

Пулковская обсерватория естественно вписывалась в холм, на котором ее построили. На солнце трехглавое здание главного корпуса — все три вращающиеся башни отливали молочным светом. Чем-то это здание было сродни и ночной Луне, и плавающей в лучах солнечного заката Венере, и фосфорическому блеску Сатурна.

Поразил Павла пулковский рефрактор — самый большой в мире. Он не был еще установлен. Стекло объектива поместили в специальную комнату.

Пулково поглотило его, увлекло. Он просиживал допоздна в лабораториях, сопоставлял и записывал расчеты, представляя, как будет вертеть своей аккуратной бородкой Бредихин, приговаривая:

— Ну-с, что у нас получилось? Давайте посмотрим!..

За два дня до отъезда Павел спохватился: надо встретиться с Верочкой, надо хоть бегло познакомиться с Петербургом.

С первых шагов — приятные сюрпризы. Смольный

институт совсем не такой, каким рисовало его воображение. Верочка рассказывала, что в стародавние времена на месте института был Смоляной двор, где хранилась смола для нужд российского флота. Никакого Смоляного двора не оказалось и в помине. Восемь торжественных колонн украшали центральный подъезд, а по широким ступеням, легкая, невесомая, сбежала Верочка в беличьей шубе и беличьей шапочке.

Она повела его просторными петербургскими проспектами, мимо чугунных оград и старинных пушек, мимо фонарей, погруженных в железную оправу, мимо великолепных львов, которых он то ли видел на картинках, то ли встречал в книгах. Ах, да, «с поднятой лапой, как живые, стояли львы сторожевые».

Миновав узорную ограду, остановились у скалистой глыбы, увенчанной Медным всадником. Взыбленный конь напряг мускулистую грудь, на плече и на голове всадника намерзли хлопья белого снега. И Павел, мало и неохотно учивший в гимназические годы стихи, вспомнил:

...Не так ли ты над самой бездной  
На высоте, уздой железной  
Россию подиал на дыбы?

Он глотнул морозный воздух и захлебнулся жгучей струей, и поразился внезапному открытию, потому что стихи всегда воспринимал как нечто отвлеченное, а здесь сама жизнь переплавилась в строчки.

— Вам нравится? — спросил он Верочку и прочитал выплывшую из тайников памяти строфу, глядя то на скалу со всадником, то на спутницу.

Она тоже была возбуждена быстрой ходьбой, встречным ветром, кружащимся снегом, неожиданной встречей; вопрос застал ее врасплох, и она неуверенно ответила:

— Знаете... все-таки грубовато. Уда... на дыбы...

— А какие стихи вы любите?

Она помолчала и вполголоса, совсем тихо, так, что он едва расслышал, прочитала:

Как приятный ручейка  
Блеск на лоне луга,  
Будь вся жизнь ее светла,  
Будь веселость, как была,  
Дней ее подруга.

Павлу опять показалось, что стихи и жизнь — вещи несовместимо разные. Горький осадок, возникший было на несколько мгновений, растворился, исчез; они вышли за ограду, и прямые линии проспектов повели их по Петербургу.

Поземка быстро замела следы возле Медного всадника. Мглистые сумерки поглотили Павла и Верочку. Он держал ее руку, чувствуя сквозь тонкую и мягкую варежку тепло ее пальцев.

Вдоль набережной Невы Верочка повела его в Летний сад. Само название зимою звучало странно — Летний. Высокая решетка, опущенная снегом, утратила обычную легкость: в снежных комьях с внезапными бороздками, проделанными ветром, был свой рисунок, непривычный и загадочный.

Январские метели изменили облик аллей, фонтанов, скульптур. Крылов, стоявший летом на постаменте в окружении своих птиц и зверей, почти осиротел. Белые хлопья залепили звериные мордочки, только лиса умудрилась выглянуть хитро и сторожко.

Под одной скульптурой Павел отковырнул снежную корочку и прочитал: «Добродетель». Он считил еще комок снега, и показалась гипсовая нога. «Добродетелью» была, очевидно, обнаженная женщина.

Павел и Верочка переглянулись и заулыбались беспечно и весело. Им было хорошо и светло в метельный



январский вечер. Это была весна их отношений, а весною все грустное быстро смывают талые воды...

Бредихин разыскал Павла в библиотеке обсерватории. Павел стоял на стремянке, перебирая книги в высоком шкафу, упиравшемся в потолок.

— Ну-ка, спускайтесь на землю!

Спустившись, Павел пытается разобраться, чем возбужден Федор Александрович. В руке у него отчет, двенадцать страниц убористого почерка, расчеты, выводы, раздумья, долгие зимние вечера, ночные часы, украденные у сна. Отчет заключен в самодельную обложку. На обложке надпись: «Сравнение инструментов Московской и Пулковской обсерваторий, их недостатки и достоинства».

— Ну-с! — грозно произнес Бредихин и запрокинул голову — он был ниже Павла — и словно прицелился в своего ученика острой бородкой. — С работой ознакомился, мой юный коллега!

По интонации Федора Александровича никогда нельзя понять — разгневан он или доволен, в похвале нередко таился сарказм. Бредихин как-то по-новому взглянул на Павла и подвел итог разговору:

— Зубы у вас прорезались, Павел Карлович, вполне прорезались. В отчете и обстоятельность и основательность. Отныне я лишаю вас земной жизни. Понятно? Зато дарю вам небо.

«Дарю небо» — в устах Бредихина высшая похвала, своеобразный пароль, открывающий доступ в семью астрономов.

Пришлось «лишиться» земной жизни. Павел стал пробуждаться раньше обычного, выпивал чашку крепкого чая с краюхой ночного, еще теплого филипповского хлеба и шагал из Кривоколенного на Моховую.

На последней лекции он уже высчитывал, сколько минут займет дорога от университета до обсерватории.

В Никольском переулке Павел знал каждую выбоину в тротуаре, каждый бревенчатый домишко с белевшими в окнах тюлевыми занавесками, с горшочками герани.

Во дворе обсерватории его встречал Ульянов:

— О-о, наш полуношник пожаловал!

Павел стремительно взлетал по винтовой лестнице в башню, будто не было позади долгих верст от Кривоколенного до Моховой, от Моховой до Никольского.

Федор Александрович поручил своему ученику заняться Юпитером — «богом неба».

«Бог неба» таил от людей немало загадок. Предстояло изучить и обобщить все, что знали астрономы о нем прежде, и провести самостоятельные наблюдения.

Око телескопа подолгу вглядывалось в диск Юпитера, рассеченный темными полосами и светлыми зонами. На темени планеты гигантским овалом светилось красное пятно. Порой оно было едва различимо, порою казалось беловатым, но чаще красный цвет проступал интенсивно и явственно.

Павел «заболел» Юпитером, забросил репетиторство. Бредихин поручил ему принимать в обсерватории посетителей и проводить экскурсии. Увы, обсерватория «не кормила».

«Прости меня, что я не тотчас же тебе ответил,— писал он сестре в Орел.— Но видишь ли ты, в чем дело: 1-х. У меня чрезвычайно мало времени, а 2-х, не было денег, чтобы купить марок, право, это так и было. Напрасны мои надежды были относительно доходов с моей обсерватории, в Москве стоит ужасно плохая погода, так что посетителей, разумеется, совсем нет...»

Студенческие обеды, стоившие двадцать две копейки, стали не по карману. Пришлось перестроиться: на Кудринской, в извозничьей столовой, давали миску супа и гречневую кашу за четыре копейки.

После обеда он мог пробывать в обсерватории хоть восемь, хоть десять часов. Погода стояла пасмурная, и, сваленный усталостью, он иногда засыпал в двух шагах от телескопа, в старинном деревянном кресле с резной спинкой и широкими подлокотниками.

Кресло было высокое, огромное, рассчитанное на крупного, с Петра Великого, мужчину. Павлу оно было впору. Однажды Бредихин застал его в этом кресле спящим: широченные плечи, большие руки с тонкими длинными пальцами, черная грива густых волос.

У Федора Александровича был обнаженный лоб, редкие, зачесанные назад волосы, и, глядя на Павла, он подумал: в этой гриве и железный гребень прогнется! А пальцы каковы! Родиться б ему музыкантом!

Бредихин постоял, прислушиваясь к дыханию спящего, скосил глаза на стертые подлокотники кресла. Они сверкали, отполированные локтями. Кроме Штериберга, кажется, никто в это огромное кресло не садился. Сколько же часов он ежедневно проводит в обсерватории?..

Словно чувствуя на себе взгляд, Павел проснулся.

— Ну-с, отдохнули? — спросил Федор Александрович и недовольно проворчал: — Перерабатываетесь, перерабатываетесь, голубчик. Так вот, — голос его обрел властные нотки, — оставьте красное пятно на совести Юпитера. Пойдемте попьем чайку.

Они пили чай с домашним вареньем. Потом Бредихин играл на скрипке. Рука со смычком плавала в воздухе. Павел сел к роялю.

С тех пор они часто музицировали вместе. Федор Александрович обычно размягчался, становился домашним, правда, и в музыке иногда проявлялся его своенравный характер. Бывало, понравится ему нота, и он тянет ее два, четыре, шесть тактов, не обращая внимания на недоумение аккомпаниатора, по натуре педантичного и безупречно точного.

А однажды в разгар такого домашнего концерта профессор вдруг положил на рояль смычок и закричал:

— Это Скиапарелли врет, не может, чтобы такая колбаса держалась около Солнца!

— Федор Александрович, опомнись, что с тобой? — испугалась Анна Дмитриевна, жена.

— Скиапарелли врет! — повторил убежденно Бредихин и позвал Павла к столу, заваленному рукописями, журналами, книгами.

Павел и так все понял: Бредихин, водя смычком, думал о своем давнишнем споре с итальянским астрономом Скиапарелли, который тоже занимался кометами и метеорами. Кстати, и Павел, ударяя пальцами по клавишам, поглядывал в окно: кажется, погода разгулялась, в небе появились звезды, и ночью он займется красным пятном Юпитера...

Мостки вздрогнули, качнулись, пароход отчалил, шлепая плицами, унося неяркие огни в бездонную темень Волги. Пассажиры разбредлись, ночь быстро поглотила их, и только астрономы с подсобными рабочими остались на пустынном берегу.

Юрьевец притаился где-то впереди, под темнеющей горою, едва обозначенный редкими, разбросанными огоньками. Под ногами хлюпало. Небо, почти сплошь затянутое облаками, не сулило ничего хорошего.

Можно бы, оставив охрану возле оборудования, скоротать остаток ночи в тепле, но уходить не решились. На пристани астрономов встретил служащий телеграфа Сергей Сергеевич Войков, «любитель небесной науки», как он представился.

Войков держался смущенно и уважительно и был очень доволен, что встретил настоящих астрономов. При-

крывая их от морозящего дождя большим черным зонтом, он встревоженно сообщил:

— В городе беспокойно. Обыватели всполошились. Астрономы, говорят, противогосподнее действо замышляют. Изгоним антихристов, не допустим!

— М-да,— процедил Аристарх Аполлонович Белопольский, назначенный руководителем экспедиции и опасавшийся всяких сюрпризов, способных повредить исследованиям.— В России в моде охота на еретиков. К счастью, у нас на кострах не сжигают, а дрекольем по спине пройти могут. Вы готовы к этому, Павел Карлович?

— Обойдется,— ответил Штернберг.— Полагаю, слухи преувеличены.

От реки тянуло сыростью. Рассвет медленно вытеснял мглу. Она уползала туда, к горе, где просыпался городишко.

Первыми пожаловали пристав с двумя городовыми.

— Охрана,— кивнул пристав на городовых.— Обратились по начальству насчет полуроты солдат. Посулили.

На берегу вырастал лагерь: небольшую территорию окружили штакетником, распаковали аппаратуру. Штернберг прикрепил к фотогелиографу деревянный ящик с четырьмя объективами разной светосилы.

— Гелиограф как будто и не путешествовал, в образцовом состоянии,— порадовался Павел Карлович. Он сам его упаковывал, пеленал, как младенца.

— Было бы что снимать.

Белопольский хмуро поглядывал на низкие тучи, на толпы зевак, собиравшиеся у штакетника.

— Вы пессимист, Аристарх Аполлонович.— Штернбергу не хотелось верить в неудачу экспедиции.— Пессимист и мастер повсюду находить темные пятна.

Белопольский наконец улыбнулся; намек насчет пятен был ему приятен. Недавно он защитил диссертацию «Пятна на Солнце и их движение» и получил степень магистра.

— Между прочим, вы тоже специалист по пятнам, — парировал Аристарх Аполлонович.

Оба весело рассмеялись. Штернберг перед самым окончанием университета был удостоен золотой медали за свою студенческую работу «О продолжительности вращения красного пятна Юпитера».

Между тем толпа у штакетника росла и вела себя все более воинственно. Городовые покрикивали:

— Поддай назад! Не велено!

— А загубить нас велено? На всевышнего руку подымать велено?!

Когда Бредихин поручил Штернбергу собираться в Юрьевец, на полное солнечное затмение, он сказал:

— Ну-с, оборудование не подведет, не подвело бы небо.

Сам Федор Александрович тоже выехал на Волгу и прислал малоутешительную телеграмму: сплошная облачность!

Пожалуй, в самом выигрышном положении оказался химик Дмитрий Иванович Менделеев. Он обосновался в Клину и решил подняться на воздушном шаре. Его облака не пугали.

Белопольский еще в дороге разбередил память всякими примерами и случаями, когда экспедиции подолгу готовились, совершали большие путешествия, чтобы расположиться в удобном для наблюдений месте, а в последний момент небо заволакивали тучи, и все рушилось. Однако никто не полагал, что экспедицию может сорвать враждебность населения. Особенно растревожило обывателей появление иностранных астрономов, их непонятная речь, их непривычный облик. Бельгиец Нистен был одет по-спортивному легко, немец Фогель ходил подчеркнуто важно в светло-сером костюме в клеточку. На фоне светлого костюма несколько неожиданным казался теплый темно-бордовый шарф, затейливо повязанный на шее

берлинца. Увешанный объективами, Фогель, если ему приходило в голову кого-либо заснять, бесцеремонно наводил на встречаемых аппарат. Люди шарахались в стороны.

— Чего зеньки повывупляли, чего ждем?! — кипятился невысокий старичок с фанатически горящими глазами. — Трубы на бога нацелили, а он сметет нас, как пыль, в тартарары низвергнет!

— Детей не жалеют, антихристы! Гнать их!

Павел Карлович старался не смотреть на толпу. Знал: взгляды возбуждают, они — как хворост в огонь. Если и вскидывал глаза, то мельком и вроде бы на прибор смотрел: вот женщина в сером платке, и лицо кажется серым, усталым, на руках ребенок; вот старичок, пробившийся к штaketнику, озлобленный, лоб наморщенный, волосы спутаны. Вся разноликая толпа в брожении. Люди, много людей. Оставили свой кров, домашние дела, поднятые суеверным страхом. Как-то раньше, в круговороте научных забот, не замечал пикого: университет, обсерватория. А как рядом живут, чем живут люди, не задумывался. И чему удивился? Темноте? Дикости? Юрьевец — городишко глухой, кондовый. Разве в Москве не так же? В обсерватории старший дворник Соколов, который у Бредихина колесо крутит, когда надо люк в куполе раздвинуть, тоже телескопа боится. Федор Александрович предложил как-то Соколову на звезды посмотреть. Тот опасливо замотал головой:

— Чего мне смотреть в трубу? Это не наше дело. Звезду небесную господь устроил, значит, нам не для чего соваться, греха на душу набирать. Нет уж, увольте, смотреть не буду.

Да что Соколов! В Знаменском Павел Карлович прогуливался с Верочкой по яблоневоу саду. На горизонте огненная точка прочертила небо и растворилась в темноте.

— Ой, — вскрикнула Верочка, — видели? Звезда упала. Война будет!..

В ночь на седьмое августа 1887 года Юрьевец почти не спал. В окнах мерцал свет, обыватели отбивали поклоны, просили всевышнего не карать их, смиростивиться.

Ученые тоже нервничали. Правда, отношение господне их не занимало, тревожили облака, тревожила неизвестность. Мало ли существовало случайностей, способных перечеркнуть долгие недели подготовительной работы? Заест, допустим, кассетная крышка, и съемка солнечной короны окажется под угрозой. Ведь полное затмение продлится всего две с половиной минуты!

Тяжелый удар обрушился на Фогеля. Вечером, накануне затмения, он отправился во двор, в домашнюю баньку, оборудованную под лабораторию. Там сушились свежеприготовленные пластинки. Потолок бани был земляной. При хлопанье дверью земля осыпалась на желатин пластинок. Они словно покрылись бородавками.

Подчеркнуто важный Фогель так сник, что даже изменил своей аккуратности и забыл повязать на худой и жилистой шее темно-бордовый шарф. В лагерь астрономов он пришел подавленный, отрешенный, безучастный: мол, чего ждать от затмения? Все кончено...

Гонимые ветром, неслись облака. Бледное пятно солнца, выныривая из ватной пелены, словно бежало по небу, старалось догнать облака.

Теперь для Павла Карловича вокруг ничего не существовало — только бы не ослабевал северный ветер, только очистил бы небо! Уже метроном отсчитывал секунды. Уже расчехленные телескопы уставились туда, где пряталось солнце.

Огромная толпа, опоясавшая живым кольцом штaketник, обморочно притихла, замерла в роковом ожидании. Солнце выглянуло в просвет, брызнуло слепящими лучами и снова окуталось облаками. Оно показалось минуты



через две: верхний край диска словно срезали острым ножом.

— Господи, началось! — вырвалось из толпы. — Началось!

Темнело! На золотой солнечный шар наплывал черный диск. Над землей, как холодный вздох, пробежал ветер. Сквозная просвечивающаяся сумеречность опускалась все ниже, размывая краски, сгущаясь.

Наконец солнце исчезло, стало темно, по спинам прошел озноб. Лишь удары метронома будто отталкивали что-то надвигающееся и страшное.

Когда выглянула светящаяся корона солнца, когда дрогнул, отступая, серый мрак, толпа облегченно качнулась, зашевелилась:

— Господи, помиловал!

Павел Карлович опустил веки, давая глазам отдых, открыл их, встретился взглядом с Белопольским.

— Снимков пять-шесть получим? — спросил Аристарх Аполлонович.

— Получим, — кивнул Штернберг, вспоминая просветы в облаках, которыми он воспользовался.

— Ну и слава богу, — сказал Белопольский. На лбу его поблескивали бисеринки пота.

Люди, стянувшиеся к лагерю астрономов со всей округи, негромко переговариваясь, расходились. Они ждали чего-то большего, страшного и теперь испытывали разочарование.

«Любитель небесной науки» Сергей Сергеевич Войков пригласил астрономов к себе на завтрак.

— Заодно город покажу, — пообещал Войков.

Он провел гостей по Георгиевской — одной из главных улиц Юрьевца, протянувшейся параллельно Волге, потом постояли, любуясь горбами холмов, сползающих к речному берегу.

У пристани, где раскинулся базар, где хаотически гро-

моздились амбары и тесно жались друг к другу лотки, шла бойкая торговля. Над неразберихой базара возвышалась Благовещенская церковь.

— Поглядите на нашу красавицу! — не без гордости сказал Сергей Сергеевич.

Церковь действительно была красивой. Все пять куполов ее, покрытых изразцовой черепицей, отражались в Волге и, казалось, покачивались в колышущейся воде.

Празднично светлая, играющая красками церковь беспощадно подчеркивала серые одежды крестьян, заполнивших базар, убогих слепцов, просивших милостыню.

На базаре, забывая соседей, горячо заманивал прохожих истовый зазывала:

— Люди добрые, не проходите стороной! Сбитень горячий пьют подьячие!

Отведали сбитень. Он был действительно горяч, струил аромат пряностей и подожженного меда.

Немного побродив и сбросив груз пережитого, пришли на завтрак к Войкову. Ели картошку в мундире, которую хозяин называл «барыней», — такая она была крупная, круглая, настоящая барыня. Соленые грузди похрустывали на зубах.

В деревянном домике с низким потолком было тесно и темновато. На стене барометр, овальный портрет Коперника; на этажерке закопченные стекла — видно, Сергей Сергеевич заготовил их больше, чем оказалось дерзнувших наблюдать затмение.

Войков подливал гостям чай, все говорил, говорил о солнце, о страхе обывателей перед силами природы, возторгался фотогелиографом. Помянул господина Короленко, известного литератора, который приехал в Юрьевец, пожаловал на телеграф и вручил ему, Войкову, телеграмму для передачи в «Русские ведомости»: «Очерк будет».

Павел Карлович слушал и почти не слышал, он ожил лишь тогда, когда Войков привел своих детей — близнят Костю и Софью. Софьюшка была кругла, как яблоко, волосы — чистый лен. Костя от нее мало отличался: тоже кругленький, тоже белобрысый.

— Сам в ученье не преуспел, а для них соберу денег, пошлю на астрономов учиться. Возьмете? — спрашивал Сергей Сергеевич.

— Присылайте, если затмения не боятся, — пошутил Павел Карлович, посадив Софью на одно колено, а Костю — на другое.

Уже на пароходе, засыпая под плеск воды, Штернберг силился вспомнить, о чем его спрашивали перед уходом дети, но вспомнить ничего не мог: в ушах стоял стук метронома и крики толпы, напиравшей на штaketник.

Павла Карловича, вернувшегося из Юрьевца в Москву, ждал сюрприз: ему, «оставленному при университете для приготовления к профессорскому званию», выделили комнату в обсерватории. В Кривоколенном он увязал тяжелую стопку книг, уложил в небольшой чемодан вещи. Хозяйка повздыхала: жилец был смирный, спокойный и платил аккуратно.

Штернберг спустился по лестнице и там, где она сворачивала в подвал, задержался: зайти или не заходить?

В подвале жила семья рабочего. Ни имени-отчества, ни фамилии его Павел Карлович не знал и вообще с соседями знаком не был. Бывало, встретится в коридоре или во дворе, кивнет и идет своей дорогой.

Однажды прибежала жилища из подвала: помогите, сын умирает.

На койке умирал мальчик. Его бескровное лицо слилось с подушкой. Пульс вздрагивал, словно натянутая нить под кожей ниточка. Еле-еле. Вот-вот оборвется. И рука,

бессильно расслабленная, холодная, была как неживая.

— Доктора,— сказал Павел Карлович,— я быстро!

Напротив, рядом с домом Веневитинова, на подъезде поблескивала медная табличка с выгравированной фамилией врача. Врач выслушал ходатая стоя:

— Благодарствую за приглашение, но я в этом сарае уже бывал. Беснадежно...— Он покачал головой: мол, чем тут поможешь, медицина бессильна — и добавил: — Кстати, мой визит остался без вознаграждения. Честь имею...

Доктор вяло кивнул, давая понять, что разговор окончен...

Павел Карлович в подвал не спустился: к чему беречь раны? Он навсегда покидал Кривоколенный переулок и, выйдя из подъезда, не оглянулся; ничего не связывало его с этим домом. Но у окна, уходящего в землю, задержался, запоминая облезлую раму, обрызганное дождевыми потеками стекло. Где дети? На дворе их не видно, а мать, наверное, возле опустевшей койки сына, возле плоской подушки с неглубокой вмятиной.

Свинцовой тяжестью налились ноги Павла Карловича. Ему захотелось прислониться к щербатой стене, глубоко вздохнуть, однако и дыхание стеснила непонятная тяжесть.

Мимо него по переулку спешили прохожие, прокатилась, покачиваясь на рессорах, карета с семейным гербом на черной дверце; и никому не было дела до этого подвального окна, до этой судьбы, оборванной в самом ее начале, до мальчика, для которого в огромной Москве не нашлось ни врача, ни лекарств, ни койки в больнице...

Перебравшись на Пресню, в обсерваторию, Павел Карлович, казалось, и вовсе отрекся от суетной земной жизни. Ничего не занимало его, ни о чем не хотел он ни читать, ни слушать, все было лишним, тягостным, обременительным, все, кроме двойных звезд, далеких светящихся точек, связанных между собой силами взаимного

тяготения. Никто до него в России не производил фотографических наблюдений над двойными звездами. И стеклянная пластинка, погруженная в ванночку с проявителем, была для него живым существом, способным рассказать миру о неразгаданном, неизученном, безмерно удаленном от Земли и землян. И даже в эту пору, когда Павел Карлович нередко не узнавал знакомых и кивал незнакомым, временами им овладевало странное состояние. Он выходил на овальный балкон с чугунной оградой, охватывающий, словно пояс, купол обсерватории, и вдруг останавливался в глубокой растерянности и начинал всматриваться в знакомый пейзаж. Сверху открывались приречные долины, Москва-река, деревянный помост и бабы с подоткнутыми юбками, полощущие белье. Текла, отражая пасмурное небо, стальная вода, блеклое пятно солнца силилось пробиться сквозь тучу, и тревожный рассвет в Юрьевце оживал в памяти, и чудилось, будто дрожит хлипкий штакетник под напором толпы, и старичок со спутанными волосами рвется к ненавистой трубе, нацеленной в небо.

Эти видения-воспоминания были так навязчивы, так прилипчивы, что он, желая стряхнуть их, надевал пиджак и отправлялся из обсерватории на улицу. Сначала ему казалось, что улица, с ее прохожими, с каретами на мягких рессорах и лихими пролетками, отвлекает. Однако на смену одним видениям приходили другие, едва ему на глаза попадались окна, уходящие в землю, рамы с облупившейся краской — эти норы людской нищеты.

Павел Карлович убыстрял шаг, с Девятинского переулка сворачивал на Новинский бульвар. Но подвалы были везде — слепые, забрызганные окна, словно провалившиеся в землю вместе с людьми, которым па земле не хватило места.

Штернберг не мог понять, что с ним происходит. Побочные мысли, ни прямо, ни косвенно не связанные с

его научной работой, отвлекали, завладевали сознанием. И даже в университете — в этом храме науки — не хватало былой сосредоточенности и академической тишины, в самом воздухе носились бактерии споров.

На физико-математическом факультете малейший спор теперь разгорался в полемику, сталкивались полярные, непримиримые взгляды.

Декан, человек консервативный и богатый, отдавал предпочтение внешней стороне дела. Всегда. О чем бы ни заходила речь. Как-то, проводив взглядом студента в форменной тужурке, который принес в профессорскую ведомости, он невзначай обронил:

— Извольте посмотреть, как дисциплинирует студента форма! Мы хоть и ворчим на реформу покойного Александра III, однако ж и она не лишена бесспорных достоинств.

Декан сидел за массивным столом, заставленным тяжелым чернильным прибором и многочисленными статуэтками. У него отекали ноги, и он заказал себе овальный пуфик, обшитый красным бархатом. Положив на пуфик ноги, обутые в просторные желтые башмаки, декан любил разглагольствовать о талдомском башмачнике, который по особому заказу шил ему ботинки.

«Отечные ноги и талдомские башмаки — вот круг его научных интересов», — язвил Тимирязев.

— Не лишена! — еще раз повторил декан, словно убеждая в этом самого себя.

— Как же, как же, — немедленно отозвался Лебедев. — Форма дисциплинирует. Я допускаю, что в недалеком будущем университетская дисциплина сможет соперничать с полицейской. Добавьте к этому, что предписанные императором студенческие мундиры, сюртуки и фуражки с околышами, пальто с гербовыми пуговицами

да удвоенная плата за слушание лекций оградили университет от народа, на благо коего он служит.

Декан отмолчался. Павел Карлович про себя отметил справедливость суждений Лебедева. Не пришли в свое время отец денег — из-за гербовых пуговиц, да околышей, да удвоенной платы пришлось бы расстаться с «храмом науки».

— Вам п-п-пуговицы не нравятся? — Штернберг услышал Тимирязева. Иногда он тянул слова и заикался и лишь по мере воодушевления недостатки речи исчезали. — И м-м-мне не нравятся. А ректор, которого не выбирают на совете, а назначают, вам н-н-нравится? Так любого М-Молчалина можно назначить. Знай прислуживай, с-служить не обязательно. А нравственное растление ученых вам н-нравится?

Тимирязев, высокий, изящный, легко возбуждающийся, уже не сидел за столом, а ходил по комнате.

— О каком растлении вы ведете речь? — отозвался декан, сняв с пуфика ноги в знаменитых башмаках.

— Извольте, поясню, — обернулся к нему Климент Аркадьевич. Глаза смотрели задиристо. Он перестал заикаться. — О том самом растлении, когда ученый норовит угадать выводы свободной науки, чтобы оказаться в непременном согласии с воззрениями ее бюрократических оценщиков.

— Благодарю за ценные разъяснения, — декан тоже встал из-за стола и отложил в сторону ведомости, до этого занимавшие его внимание. — Позволю себе напомнить, платформа нашего разговора не ученые, а студенты.

— Студенты? — Тимирязев сделал паузу. — Студенты у нас за-кре-по-ще-пы.

Разбив слово на частицы и выговорив их с ударениями, Климент Аркадьевич продолжал:

— Закрепощены по-школярски обязательными лекциями, хропческими экзаменовками и перезкзаменовка-

ми, притупляющими и учащих и учащихся. Может быть, так и надобно, если университет превращается в фабрику дипломированных чиновников?

— И что вы полагаете предложить взамен? — недоуменно спросил декан.

— Экзаменационная чехарда требует коренной реформы или скорее искоренения... Что же до лекций, то выражу убеждение: свободное слушание лекций — одно из условий высокого уровня преподавания. Заметьте, в Венеции, в Падуанском университете, сенат установил правило: за каждую лекцию, на которую пришло меньше шести студентов, профессор платил штраф в десять лир. Неплохо придумали падуанцы, правда?

Лебедев раскатисто расхохотался.

— Вы жестоки, Климент Аркадьевич, — сказал он. — Этак вы большую половину наших коллег разорите.

Возвращаясь домой, Павел Карлович рассеянно смотрел перед собой. У него, привыкшего к точным расчетам и четкой научной логике, все перенуталось, смешалось, причудливо соединилось: умирающий мальчик в Кривоколенном переулке, крики суеверной толпы на берегу Волги, колющие реплики Лебедева и Тимирязева, экипажи с фамильными гербами, в которых иные студенты подкатывают к ступеням университета.

На память пришел давний случай. На практике под Москвою, в Крылатском, студенты как-то спросили Бредихина: верно ли, что наука и политика тесно связаны?

— Наука есть наука, политика есть политика, — ответил Федор Александрович, качнул головой и насупился.

— Так-то оно так, — не унимались дотошные студенты, — а вот ваш протест, напечатанный в «Молве», когда сорвали избрание Менделеева в академию, политика или наука?

Бредихин неожиданно ответил:



— Понимаете ли, Джордано Бруно отстаивал учение о бесконечности Вселенной и множественности миров, словом, изучал небо, а сожгли его на земле...

Внешне жизнь Павла Карловича текла гладко и благополучно: в обсерватории — научная работа, в университете и на женских курсах — лекции, дома — Верочка Картавцева, покинувшая наконец Знаменское.

Когда Верочка закончила институт благородных девиц, а Павел Карлович университет, их желание объединиться под одной крышей натолкнулось на препятствия. Леонид Васильевич Картавцев напомнил дочери о том, что отец Павла — выходец из какого-то герцогства Брауншвейгского, орловский купчишка; он напомнил, что дворянское древо Картавцевых уходит корнями в глубину веков.

В Знаменском Павла встречали со сдержанной вежливостью. Его с утомительной настойчивостью водили в гостиную, показывая портреты дальних и близких предков, румяных и бледных, с перстнями на холеных пальцах.

К Верочке зачастили женихи. Она замкнулась, ушла в себя. Отцовское упрямство столкнулось с твердостью дочери. Коса нашла на камень.

Прошло время. Имение Леонида Васильевича начало угасать. Рошу, в которой помещик, его дед и прадед били влет вальдинепов, пришлось продать. И еще кусок из владений родового дворянина отщипнул молодой заводчик — ему попался песчаный карьер. Дела шли все хуже и хуже. И Картавцев, то ли чувствуя надвигающийся закат дворянских гнезд, то ли сломленный упорством дочери, благословил молодых...

Квартирка, ухоженная Верочкой, казалась уютной, хотя в маленькие оконца свет проникал скупо, потолки были низковаты. Высокий и крупный, длинноногий, Па-

вел Карлович не мог прохаживаться по своему кабинету: с третьего шага упирался в глухую стену. Прежде почему-то теснота так остро не ощущалась. Прежде, до избрания Бредихина в академию и отъезда в Пулково, и потолок был «озвучен». Федор Александрович, живший этажом выше, раз-два в неделю, иногда чаще, отбивал каблуком: трам-та-та-там. Это означало: Бредихин приглашает на чашку чаю или музицировать. Играл он одухотворенно, пытался что-то найти и открыть в музыке и однажды сказал:

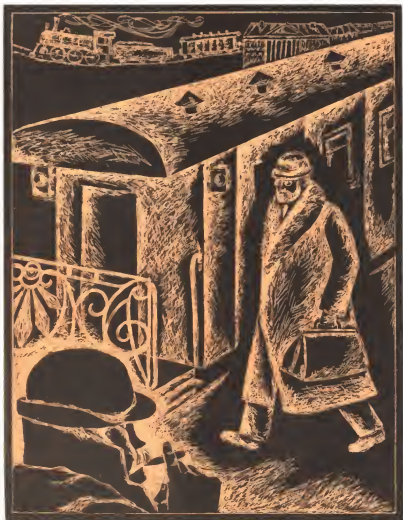
— Мне кажется, музыка излучает такой же свет, как луна.

Теперь Бредихин был далеко. О нем напоминала его последняя работа «О вращении Юпитера с его пятнами», лежавшая на столе. По титульному листу стремительно пробежали неровные, угластые буквы: «Учепику и соратнику с верой в его будущее»...

Да, завтрашний день представлялся надежным и ясным. Как бы в подтверждение утренняя почта принесла большой конверт с казенными штампами. Распечатал:

«Под высочайшим покровительством  
Всепресветлейшего, державнейшего  
великого государя  
Николая Александровича,  
императора и самодержца всероссийского  
и проч., и проч., и проч.

Императорский Московский университет сим свидетельствует, что окончивший курс с дипломом первой степени Павел Шгернберг, по надлежащем испытании в Физико-Математическом факультете сего Университета и после публичного защищения написанной им диссертации под заглавием «Широта Московской обсерватории в связи с движением полюсов», определением Универси-





тетского Совета, 10 ноября 1903 года состоявшимся, утвержден в степени Магистра астрономии».

Выписка о решении университетского совета пришла с опозданием на год. Павел Карлович повертел ее в руках, задержал взгляд на круглой печати с распластавшим крылья остроклювым орлом.

«Под высочайшим покровительством...» Штернберг, взглянув на дату и на имперского орла, поймал себя на мысли: прежде наверняка не обратил бы ни малейшего внимания на хищную державную птицу, на черепашую нерасторопность университетской канцелярии. А сейчас все у него обострено, ошетилено, вздыблено.

Началась душевная смута давно, может быть, в Юрьевце. Она томила неясными предчувствиями, ожиданиями чего-то несбывшегося и неминуемого.

Ожидания не обманули. Как-то осенью, после лекций в Мерзляковском переулке, его догнала курсистка Варвара Николаевна Яковлева.

— Извините,— сказала она,— мне не хотелось при всех обращаться к вам со столь необычной просьбой...

Он замедлил шаг и, не подав виду, что несколько озадачен внезапным обращением на улице, ответил:

— Рад буду помочь вам.

— Просьба у нас такая,— твердо сказала Варвара Николаевна, не теряя времени на вежливые предисловия.— Мы готовим рекомендательный список книг для рабочих. Вы не посоветуете нам книги по астрономии?

Они шли медленно, ее голова доставала ему до плеча, глаза настойчиво и решительно следили за его глазами. Едва скрытая властность таилась в этой молодой курсистке, мягко ступавшей по тротуару.

— Так что вы скажете?

Она смотрела в упор, прямо, как бы требуя ответа, не допускающего отказа. Павел Карлович мешкал: не все было ясно. Почему Варвара Николаевна говорит не от

собственного имени, а подчеркивает: «Просьба у нас...», «Мы готовим». Кто это «мы»? Почему книги предназначаются рабочим? И с какими другими книгами будут содействовать астрономические?

— «Мы» для вас пока это я, ладно? — улыбка смягчила решительное выражение ее лица. Он уловил чуть заметное ударение на слове «пока». — Почему для рабочих? Именно для рабочих?

Варвара Николаевна молча прошла несколько шагов. И, не ответив, сама обратилась с вопросом:

— Вы когда-нибудь видели, как живут рабочие? В прохоровских спальнях бывали? Нет?

Она качнула головой, словно подтверждая, что в прохоровских спальнях он не бывал и вообще о рабочих знает мало.

— Они строят дома, а сами живут в бараках; они ткнут ткани, а носят отренье; они добывают уголь, но дрожат от холода; они пекут хлеб, а досыта не едят...

Варвара Николаевна не повышала голоса. Ему почему-то захотелось возразить на какой-либо из ее доводов, но возразить было нечем.

— Чтобы продлить существующее положение, — продолжала она, — рабочим внушают: нынешний порядок неизменен. Их дурманят религиозными баснями, держат в плену суеверия. Мы... — она опять сказала «мы», — решили развеять этот дурман. Надо помочь рабочему познать явления природы, законы развития общества. Тогда он непременно изгонит тех, кто не дает ему жить по-человечески...

Они расстались на Новинском бульваре. Палые листья зашуршали у нее под ногами. Она исчезла так же внезапно, как появилась.

Пахло прелью осеннего увядания. Небо, опрокинутое в лужи, сверкало промытой синевой. Желтый кленовый лист с тонкими прожилками плавал в воде.

По аллее бульвара в низкой деревянной коляске, ст-  
талкиваясь руками о землю, катился безногий солдат,  
должно быть вернувшийся из Маньчжурии. Колеса ос-  
тавлиали на земле неглубокий след.

«Так вот она какая, моя курсистка...»

Он свернул к Никольскому, думая о решительном  
взгляде своей ученицы, о той убежденности, с какой она  
говорила, и почти у самого дома вдруг вспомнил, что  
они не условились, где и когда встретятся.

Спустя пять дней она догнала его после лекций в  
Мерзляковском переулке точно так, как в первый раз.

— Я не очень поторопилась, придя за списком? —  
спросила Варвара Николаевна.

Он передал ей список: «Рассказы о земле и небе»  
Иванова, «Общедоступная астрономия» Фламариона,  
«О том, что видно на небе» Клейбера, «Астрономическое  
вечера» Клейна.

Яковлева протянула ему сверток.

— Захотите — почитаете на досуге.

Книгу, запеленутую в «Русские ведомости», он раз-  
вернул дома. Она была монументальна, заметно потрепа-  
на и одета в самодельный картонный переплет. Он пере-  
вернул корочку и прочитал:

**Das Kapital.**  
**Kritik der politischen Oekonomie.**  
**Von**  
**Karl Marx.**  
**Hamburg**  
**Verlag von Otto Meissner.**  
**1894**

Павел Карлович полистал книгу бегло, проглядывая  
отчеркнутые ногтем места, останавливаясь на карандаш-  
ных пометках. Видимо, эти страницы прошли через мно-

жество рук: пометки делались синим и черным карандашами, два-три листа оказались прожженными. Кто-то курил, уронил, очевидно, трубку и просыпал чадящий табак.

Штернбергом овладело удивительное чувство — чувство сопричастности с теми незнакомыми людьми, которые склонялись над этой книгой раньше, и он погрузился в чтение. Когда оторвался от «Капитала», за окном стояла ночь. В лампе нервно прыгало пламя: кончался керосин.

Над крышей соседнего дома висела луна. Ее затянуло тучей. Чуть дальше, левее, пролегла широкая светлая полоса — Млечный Путь.

Павел Карлович представил себе эту полосу, приближенную телескопом, состоящую из бесчисленного множества звездочек, которые лежат так близко друг к другу, будто они слились.

«О наблюдениях совсем забыл».

Он читал несколько недель. Иногда не все было ясно, он возвращался к прочитанному дважды и трижды, пока не раскусывал твердый орешек и не добирался до его ядра.

Научные доводы Маркса, как ступеньки, уводили все дальше и дальше. Мысли Павла Карловича, еще вчера расплывчатые, подобно пластинке, опущенной в проявитель, прорисовывались, обретали четкость. Никогда ни один ученый не властвовал над ним так беспредельно. Никогда ни один ученый не подкреплял свои выводы так неопровержимо.

Прирученный всей своей жизнью к аналитическому мышлению, Штернберг с неутолимой жадностью впитывал прочитанное. Он подумал вдруг, что к восприятию Маркса его подготовила астрономия — наука о небесных телах. Ведь именно они, астрономы, испокон веков взрывали каноны, опровергали догмы, доверяли лишь анализу, опыту, наблюдениям.



Николай Коперник сокрушил многовековое астрономическое наследие, вернул Земле ее настоящее место, низвел ее до рядовой планеты, обращающейся вместе с другими вокруг Солнца. Мятежная правота Джордано Бруно привела его на костер инквизиции. Галилео Галилей за упорное стремление к истине расплачивался долгими годами мучительных преследований.

Не словам, а фактам, не догмам и догадкам, а исследованиям, научной логике со студенческих лет доверял и Павел Карлович.

Непобедимая правота Маркса захватила все его существо. В эти дни и в эти ночи ничего, кроме книги, одетой в самодельный переплет, испещренной пометками, посившей множество следов общения с людьми, для него не существовало. Уставая, он откидывался на спинку кресла, закрывал глаза, давая им отдых, и думал: как поздно порою мы постигаем главное...

Особых перемен в Павле Карловиче никто не замечал. Даже Вера Леонидовна решила: увлекся очередной проблемой, замкнулся. И когда это кончится?

А он ходил возбужденный: «Какая несокрушимая логика у этого Маркса...»

Он смотрел на окружающее и видел то, что прежде ускользало от его взора. Даже эти хмурые корпуса Прохоровской мануфактуры... Сколько лет он наблюдал их с крыши обсерватории!

Стены и стены. Выросли на Пресне и стоят. Лишь теперь он понял, как купеческая фабричка вымахала в такую громаду, как набухали денежные мешки у самого Прохорова... И каков будет финал. Может быть, совсем недалекий...

Варвара Николаевна о книге, отданной несколько месяцев назад, не напоминала. И встретились они не скоро.

— Спасибо,— сказал он, когда встреча наконец состоялась.— Я предвижу в моей судьбе крутые перемены. Спасибо!

И протянул ей тяжелый сверток в газетной бумаге.

В обсерватории не было принято говорить о политике. Само собой разумелось, что взгляды и убеждения — личное дело каждого. Это неписаное правило немного расшатала русско-японская война.

— Читали? — спрашивал Цераский Штернберга, разыскивая на карте тонкую змейку реки Шахэ, близ которой произошло сражение.

— Читал, — угрюмо кивал Павел Карлович.

— Куропатки командует, чего же боле? — сокрушенно тряс головой Цераский. Фамилию генерала он делил на две части и вместо «т» произносил «д».

Однако события на востоке докатывались далекой, глухой волной. О них говорили как о старой, затяжной ране, которая поет, гноится, но к которой привыкли.

Весть о Кровавом воскресенье ворвалась в Москву по-иному.

— Убитые на Дворцовой площади! — кричали мальчишки — разносчики газет.

— Долой самодержавие! — призывали прокламации, наклеенные на рекламные тумбы, на стены домов, на трамваи.

На фабрике Прохорова протяжные гудки извещали рабочих о начале стачки.

Цераский обеими руками сжимал голову, лицо его было бледнее, чем обычно, глаза, всегда по-детски ясные, выражали испуг и смятение.

— Объясните, объясните, пожалуйста, — говорил он возбужденно, — как это в мирных людей — из винтовок, в детей, в раненых, а убегающих — пашками!

Он закрывал руками глаза и съеживался, словно сам ждал страшного удара.

Ассистент обсерватории Сергей Николаевич Блажко, узколицый, с острой бородкой, как бы удлиннявшей и без того вытянутое лицо, поводил плечами и повторял:

— Гунны... Гунны... Настоящие гунны.

Штерибург стоял, не проронив ни слова. В его яростно сжатых руках, в сомкнутых губах, в лице, обрамленном черной бородой и тоже казавшемся черным, обозначилась решимость. Он оставил своих коллег, так ничего и не сказав, и только половицы заскрипели под тяжелыми шагами, и гардины качнулись, задеты плечом Павла Карловича.

Он зашагал по Никольскому переулку, по Новинскому бульвару, думая о том, что сейчас, в эти дни, пассивность и нейтральность — это подлость, что сегодня же или, на худой конец, завтра он встретится с Яковлевой, пусть свяжет его с теми людьми, которых она представляет. Кажется, впервые Павел Карлович и понял и ощутил одновременно, что он не сам по себе, не просто один из многих живущих под луною; он ощутил себя частицей России, с которой стряслась беда: в лицо ее сыновей опричники государя плюнули кровавым свинцом...

Новинский бульвар белел снегом. На мостовой пересекались санные колес. «Да, да,— решил он,— надо разыскать Варвару Николаевну. Медлить нельзя ни минуты».

В обсерватории разговоры о Кровавом воскресенье не возобновлялись. Цераский исходил для Штерибурга многомесячную поездку в Германию, Австрию, Францию и Швейцарию. Обращаясь к ректору, Витольд Карлович писал:

«Хотя магистр г. Штерибург после многолетних занятий астрономией должен и может считаться отличным специалистом, но современный ученый ни в

коем случае не может обойтись без личного ознакомления с состоянием науки за границей».

Деньги отпустили. Цераский наставлял коллегу:

— Всасывайте все лучшее, как губка.

Перед самым отъездом Яковлева передала Павлу Карловичу:

— С вами хочет встретиться Марат, секретарь Московского комитета. Вот адрес.

Визитная карточка была отпечатана в типографии:

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧЪ  
ШМИТЪ

тел. 80—05

Новинский бульваръ, д. Плевако, кв. 23

Марат — Виргилий Леонович Шанцер — энергично вышел из-за стола навстречу Штернбергу, задержал в своей руке его руку.

— Наверное, удивлены, что я принимаю вас в квартире фабриканта? Чего не бывает! Фридрих Энгельс тоже был сыном фабриканта. Впрочем, Шмидт ваш студент? — Виргилий Леонович отпустил руку Штернберга и, усаживая его в кресло, продолжал: — Здесь сравнительно безопасно да и удобно.

Он указал на шкафы с книгами, справочниками и снова поднял на гостя внимательные круглые глаза. В них таилось что-то домашнее, доброе, и это ощущение доброты усиливали по-ребячьи пухлые губы, не скрытые, а только окаймленные усами и короткой черной бородкой.

На столе, за который он сел, царил хаос: исписанные листки, влажные гранки, вырезки из газет, тонкая металлическая линейка.

«Тонет в делах», — подумал Павел Карлович, с трудом представляя, как Виргилий Леонович ориентируется среди такого бумажного хаоса.

Марат тоже изучал Штернберга. Все ему, думал он, отпущено щедрой мерой: высок, широк в плечах, волосы

копной, борода немыслимо густа, губы сомкнуты — не разомкнешь. Молчалив. Собран и сдержан.

— Я рад, что вы пришли к нам,— сказал Виргилий Леонович.— Наше дело притягивает все больше сторонников. Вот и фабрикант порвал со своим классом...

Виргилий Леонович оперся подбородком на руку, о чем-то задумавшись. Шевельнулись пухлые губы, лицо показалось усталым.

«Глаза красные. Спит, наверное, меньше меня»,— отметил Штернберг.

— Теперь колесо событий завертится в десять раз быстрее прежнего,— сказал Марат.— Девятого января последние иллюзии и вера в самодержавие были расстреляны.

Он провел правой рукой, словно отбрасывая в сторону все, что наслаивалось до Кровавого воскресенья.

— Революционный вал будет расти. После заграничного вояжа вы попадете с корабля на бал — в самую гущу батальей. Однако до этого еще надо дожить... А впрочем, доживем, должны дожить! — он тряхнул головой.— Вернетесь — вместе помозгуем, какой взять вам участок. А сейчас запоминайте явки в Германии и Швейцарии...

Виргилий Леонович, назвав адреса, попросил повторить их. Потом сказал:

— Я где-то читал, что звезды первой величины видны невооруженным глазом.

— Мы видим звезды до шестой величины,— уточнил Павел Карлович,— всего до трех тысяч звезд.

— Прекрасно! — улыбнулся Виргилий Леонович.— Но я трех тысяч, наверное, не вижу. Окуляры мешают.

Постучав по роговой оправе своих очков, он продолжал:

— Я вот к чему. Вы человек приметный, и должность у вас приметная. А охранка прочесывает Россию густым гребнем. Вы должны вообрать весь наш опыт конспирации

и помножить его на точный расчет, на какой способен ученый. Между прочим, и за границей есть всевидящее око и всеслышащее ухо. Оберегайтесь!..

Не все предсказания Марата сбылись. По возвращении из-за границы встретиться с ним Штернберг не смог: Виргилий Леонович был за решеткой. Баталии в Москве отгремели. Январский снег едва прикрывал руины фабрики Шмита, обожженные стены прохоровских спален.

Охранка вела охоту за Павлом Карловичем. Но что это, интуиция, профилактика или у агентов в руках ниточка, которая ведет по следу?

Иные действия охраны не объяснишь, их истинную подоплеку не разгадаешь. Разве в истории с Константином Войковым все ясно? Почему его арестовали не сразу после восстания, а спустя несколько недель?

Он вдруг вспомнил Сергея Сергеевича Войкова, вспомнил белобрысо-светлую Софьюшку, сидевшую у него на колене в то утро после солнечного затмения.

Штернберг прошелся по кабинету, опустил в кресло рядом с Софьей. Она по глазам поняла, что он сейчас далеко-далеко.

Так он сидел, ей показалось, очень долго, пока наконец не обернулся, как бы говоря: я готов вас слушать.

## VI

### РАССКАЗ

### СОФЬИ ВОЙКОВОЙ

Была полночь или, может, перевалило за полночь. Я, кажется, задремала. Сквозь дрему слышу: бьют копыта, тонают, рядом топают, под окном. Снег,

удары глухие, и все же слышно, ночью каждый звук слышен.

Заскрипела калитка. Она у нас противно скрипит, как телега песмазанная. Потом в коридоре сапоги затопали. — Вона пхняя дверь, с того краю.

Голос дворника — заискивающий, подобострастный — я сразу узнала.

Забарабанили в дверь, загрохали так, хоть в белье выбегай. Пока одевалась, пока Костя глаза тер, взломали дверь: впереди околоточный, за ним полицейские, дворник и еще какой-то в штатском.

Взломали дверь, а войти некуда. Да вы ведь не знаете: мы после вакаций вернулись из Юрьевца и в «Ляпинке» решили не поселиться. Мужская «Ляпинка» на Большой Дмитровке, женская — в Замоскворечье, так мы с братом раз в неделю виделись. И условия там тяжелые. Конечно, спасибо купцу Ляпину, бесплатную крышу студентам дал, да жить под этой крышей не всякий может. Деревянные перегородки до потолка не доходят, жильцов в каморках полно, один поет, другой кашляет — оглохнуть можно.

Словом, решили мы с братом не жить больше порознь. Сняли комнату на Козихе, дешевую, маленькую, главное, чтоб вместе быть.

Так, значит, взломали полицейские дверь и видят: у одной стены кровать, у другой стены кровать, посредине столик, в углу кресло на трех ногах, пружины вздулись, вот-вот обшивку прорвут. Полицейские и войти не могут, двоим в тесноте не разойтись.

— Здесь живет Константин Сергеевич Войков? Ордер у нас на обыск и на арест господина Войкова.

Это околоточный объявил. И пошли шарить по комнате. Все перевернули. Несчастное кресло кинжалами истыкали. На столе учебник анатомии Зернова лежал — на Марьинских курсах нам выдали. Так околоточный

вертел его и слева направо, и справа налево, и переворачивал, и тряс, и на свет посмотрел. Ничего не нашел. Перелистал учебник, открыл страницу со скелетом:

— Кости изучаете, барышня?

Потом к портрету Коперника придрался.

— Кто будет? — набычился околоточный.

— Великий астроном, каноник вармийский, — ответил Костя.

В общем, ничего они не нашли, да ничего у нас и не было, кроме трехкопеечного ситного хлеба и банки груздей из Юрьевца. Обида душит: вещи в комнате вверх дном перевернуты, из кресла железные пружины вылезли. А что ищут? Вчерашний день? Ветер в поле? Пусто у нас.

Увели Костю. Зацокали копыта. Выбежала: карета с решеткой, два драгуна верхом за каретой. Как преступника какого повезли... Извините, пожалуйста, — Софья вдруг прервала свой рассказ. — Я, бестолковая, с конца начала. Вы ведь за границей были, что тут делалось, не видели. А мы в сентябре с вакаций возвратились в Москву. Вроде бы все по-старому, и храм Василия Блаженного на месте, и Пресненская каланча на месте, а что-то переменялось, и люди переменялись — суматошнее стало, беспокойнее, все чего-то ждут.

На заводах стачки, на фабриках стачки. В пекарнях тоже стачки. Вы такое хоть раз наблюдали, когда все бастуют? О, это надо увидеть! Раньше я думала, что вся власть у тех, кто живет на Арбате, на Остоженке, в особняках, во дворцах, ездит в каретах. На деле получилось другое. Объявили рабочие стачку — все замерло. Воду не качают. Хлеб не выпекают. Газовые фонари, как бельмы у слепого. Даже поезда не ходят. У кого же настоящая власть получается? У рабочих. А у них ни кола ни двора. Вот и поднялись, забастовали. И пошло: в церквях молебны, проповеди против крамолы. Москва, сами зна-



ете, не зря златоглавая, вся в церквах: у Спаса бьют, у Никона звонят, у Старого Егорья часы говорят...

Во дворе университета с утра до ночи митинги. Никогда такого не бывало. Раньше и речи какие-то другие были — гладкие и равнодушные. В одно ухо входят, в другое выходят. Оратор то ли говорит, то ли резину жует. А тут не речи, а лава раскаленная. Глаза у ораторов горят, руки в кулак сжаты, голос, как колокол!

Мы с Костей в политике не разбирались. Стал он приносить домой газету «Московские ведомости». Читаем, читаем — ничего не понять! Газета вроде бы церковная или студенческая, не поймешь какая, а против студентов пишет. И против рабочих. И против интеллигентов. Твердит одно: монархия, православие, законность.

Однажды Костя вернулся на Козиху поздно — я уж волноваться начала. Опасно стало ходить по улицам: то охотнорядцы на студентов нападут, то казаки пагайкам волю дадут. Пришел, сияет: я, говорит, в «кошащем концерте» участвовал. Подались, говорит, студенты большой толпой к Нарышкинскому скверу, на сквер окна редактора и окна «Московских ведомостей» выходят, и давай пищать, выть, улюлюкать, свистеть что есть мочи, а потом полетели в окна гнилые огурцы, мороженая картошка, тухлые яйца.

И показывает листовку: верхом на осле — монах, голова листком «Московских ведомостей» прикрыта, в одной руке — крест, в другой — воззвание: «Бей интеллигенцию! Бей крамольников!»

— Поняла? — спрашивает Костя.

— Ничего не поняла, — отвечаю.

— Какая ты непонятливая, — удивился он. Оказывается у осла была голова редактора «Московских ведомостей»...

Ну что я вам скажу, не сразу Костя в событиях разо-

брался, о себе уж и вовсе не говорю. Я после занятий в Марьинской больнице сиделкой подрабатывала.

Зачастил Костя в университет на митинги, книжки политические где-то добыл.

А меня уму-разуму научил один случай. Дежурила я в Марьинке. Ночью в перевязочную врач вызвал:

— Поможете. Тяжелого привезли.

Поглядела я на «тяжелого» и обомлела. Спина на рубленую котлету похожа. Живого места нет. Кожа перемолота, в крови вся.

Врач командует, какие инструменты подавать, а я словно оглохла, ничего не слышу, смотрю на парня, страшно, и глаза отвести не в силах.

Дней десять выхаживала его. Выходила. Он мне и рассказал все. Казаки били за то, что креста не было. Стегали, пока из сил не выбились. Бросили парня на аемлю, думали насмерть аабили. Ночью добрые люди подобрали. А ведь этим исполосованным студентом и Костя мог оказаться. И любой другой мог оказаться. Что ж, они всю Россию распластать под нагайками задумали?!

Стала я немного разбираться. А в Москве каждый день что-нибудь случалось: одно аукнется, другое откликнется...

С Трубецким — вашим ректором университетским — апааете что приключилось? Не знаете? Ничего не слышали?

Я от Кости все новости узнавала. Приехал он как-то домой сияющий.

— Откуда это ты такой радостный? — спрашиваю.

— С похорон.

И рассказал мне историю про ректора Трубецкого. Поехал Трубецкой в Петербург насчет каких-то студенческих прав договариваться. Не от хорошей жизни поехал: кипел университет, как котел. А в Петербурге сочли его защитником «смутьянов». Царь, конечно, его не

принял. Тонтался он в приемных у начальства, гнул спину. Тренов, кажется, тоже припять его отказался. И хватил ректора удар. Гнул, гнул спину и сломался, умер прямо в приемной. Вот какое бывает!

Привезли тело Трубецкого на Моховую, в университет. Царь подобрел, прислал венок с надписью: «Доблестному гражданину». Студенты царскую ленту сожгли, Костя все это своими глазами видел. На похоронах «Марсельезу» пели. Так что «доблестный гражданин» и в гробу вздрагивал...

«Веселое» наступило времечко: утром митинги, днем митинги, вечером митинги. Голова кругом идет. Собирали деньги на оружие. Нам говорили:

— Ну-ка, курсистки, бросайте пятаки на последнюю бомбу, уж она-то взорвет самодержавие!

Костя на что тихий был, никогда ни во что не вмешивался, и тот в дружину записался. Револьвер — один на десятерых. Соберутся — и айда в Сокольники, там в лесу тир устроили.

У нас, на «Ляпнике», под кроватями тяжелые ящики появились. Кто-то попросил: пусть полежат до поры.

И пришла пора. В Марьянку три курсистки с Высших курсов приехали: берите, говорят, бинты, вату, йод. Восстание. Без вас не обойтись!

Одна из них — старшая, глазастая, чернобровая, очень властная — по всей Москве нас распределила. И меня спросила:

— Где хотите быть?

Я чуть не сказала — все равно где, а потом подумала: наверное, Костя поближе к обсерватории будет. И попросилась на Пресню.

— Идите на фабрику Шмита, — велела старшая. — Представьтесь Михаилу Степановичу Николаеву.

Дорога знакомая, дело утром было, но в тот день не попала я на фабрику Шмита. Иду гляжу, что делается в

городе! В центре все войсками забито, как на войне. На Тверской улице, на Страстной площади — пушки, костры, артиллеристы у огня греются, казачьи сотни туда-сюда снуют.

А подальше от центра — другая Москва: колонны с флагами, с красными лентами, с плакатом: «Вставай, подымайся, рабочий народ!»; в первых рядах оружие — у кого револьверы, у кого берданки, у кого пики, видно, из железных оград выточили. Над шеренгами — песня:

Ведь не пять их и не десять,  
А уж тысячи встают,  
У Ванюхи-то не месят,  
У Алехи не пекут...

Иду, слушаю песню и не пойму: то ли калачники, ба-раноchnики, словом, пекари поют или другие подхватили: эти слова все распевали. И вообще народу на улицах видимо-невидимо. Откуда толпы такие высыпали?

На перекрестках баррикады колючей проволокой опутаны, настоящие крепости, а где еще только строятся. Иду, меня окликают:

— Эй, барышня, ты за людей или за царей?

— За людей! — отвечаю.

— Тогда ступай к нам, подсобляй! Видишь, пот глаза застит.

У меня вроде бы свое задание есть, и отказаться неудобно: все трудятся, на опрокинутые повозки бревна сваливают, бочки выкатывают, ворота рушат.

Мальчишки к баррикаде снег сгребают, женщины из колонок воду носят: ледяная броня будет!

Убегалась я с ними, жарко стало. Тут и вечер спустился. В декабре рано вечереет. Главный, тот что спрашивал меня — за людей я или за царей, ужинать пригласил. Отказаться язык не повернулся. Голодная была, с утра во рту ни крошки.

Ночевали все в одной большой комнате, прямо на

полу устроились. Кто спал, кто не спал. Ночные патрули входили и выходили. Дружинники переговаривались. Я закрыла глаза, а сама не сплю, слушаю. Один про свою Марину все вспоминал: ушел на фабрику — и как в воду провалился. Третьи сутки из дому... Другой о солдатах спрашивал: выступят или не выступят? С нами или против нас? Слышал брожение у солдат, офицеры их обезоружили, как ненадежных, заперли в казармах... Третий раз мечтался: кабы оружие нам, не отсиживались бы за баррикадами.

Миповала почь. Утром на фабрику Шмита подалась. Разыскала Николаева.

— Откуда сама? — спрашивает Михаил Степанович.

— С Марьинских фельдшерских курсов.

— Хорошо, — говорит, — вовремя. Где драка, там и кровь. Идем на Малую Грузинскую брать участок. Не боишься?

— Не знаю.

— Привыкнешь! Пошли, ребята!

С ним человек пятнадцать. Маузеры, винчестеры под пальто спрятаны. Михаил Степанович — начальник шмитовской дружины, лихой командир, из-под шапки кольцами волосы выбиваются, тонкие усы кверху закручены.

Двигались не гуськом и не строем, рассыпались по обеим сторонам улицы тройками, пятерками. По свистку Николаева осадили участок — кто к окнам бросился, кто к дверям. Городовой у входа сам шашку отстегнул:

— Берите, берите, господа!

Начальство тоже не сопротивлялось. И пристав, и околоточный револьверы отдали, шашки отдали. Пристав и кошелек на стол выложил: только, мол, не убивайте.

— А это возьми назад! — Николаев ткнул маузером в кошелек. — Без службы останешься — пригодится.

Как-то быстро все получилось и без выстрелов. Наши,

видно, такого легкого исхода не ожидали. Стали бумаги, протоколы из столов, из шкафов выгребать — и в печку.

Я в сторонке стояла и наблюдала. Уж очень мне околоточный не понравился. Вытянулся, руки по швам, а глазки хищные, кошачьи, зеленые. То на одного глянет, то на другого; вижу, запоминает и смотрит так, как удав на кролика, и слюну глотает, первничает, кадык ходит. Как заноза застрял у меня в памяти. Чужало мое сердце: зря его, хищного, отпустили.

На обратном пути наперерез нам казаки выехали. Из-под косматых папах глядят, сигнал подали: «Разойдись!» А у наших свой сигнал. Раз — и залегли за тумбы, попрыгали в провалы подвальных окон, за выступами стен притаились.

Казаки не заставили себя ждать: защелкали пули по стенам. Горнист заиграл, кони заплясали. Ну, думаю, изрубят нас в куски, ахнуть не успеем.

Тут дружинники огонь открыли. Знаете, здорово эти маузеры бьют. Как грохнут — в ушах отдается. После мне рассказали, что маузеры для рабочих сам Шмит закупал, что это не какие-нибудь смитвессоны или бульдожки — это оружие серьезное. И стреляли шмитовцы метко.

И представьте, не стали нагаечники судьбу испытывать, повернули коней. Из окон на них табуретки, ведра полетели, кто-то фикус в горшке сбросил.

На том и кончился бой.

Остальные дни я в перевязочной работала. На фабрике Шмита одну из контор приспособили. Хорошо, опытный фельдшер попался: я, сами знаете, медичка зеленая. Навыки, конечно, есть, а начнет раненый кричать, зубами скрипеть — у самой дух заходится.

Фельдшер наставлял меня:

— Ты не больным, а раной занимайся. Пусть покричит, ему легче будет.

Когда-то я про Дарью Севастопольскую читала, про первых сестер милосердия, ходивших на бастионы. Читала, и сердце от восхищения замирало!

Читать — одно, самой пережить — другое. Пережила, как видите, втянулась. Человек ко всему привыкает. И я стала привыкать. Правда, от запаха крови мутило немного. Почувствую, что мутит, выбегаю на минутку свежим воздухом подышать. Раз выбежала — слышу стопы, несут на посылках кого-то, лоб, лицо — в бинтах. Увидела волосы льняные — все оборвалось во мне: Костя!

Обозналась я. Похож, да не он. Но с той поры предчувствие беды не покидало меня: где он?

Пока работаю, некогда думать. А прилягу отдохнуть — лезут в голову всякие мысли, одна другой мрачнее. К тому времени вообще обстановка ухудшилась. Поползли слухи, что в других районах Москвы восстание подавлено.

Слухи подтвердились: стали к нам прибывать дружинники с Тверской, с Палихи, с Миусской. Словом, остались мы одни — Пресня.

Забегал в перевязочную Николаев. Усы, как всегда, закручены, пальто распахнуто, косоворотка видна. Скомкал в руке шапку, оглядел нас быстро:

— Раненых — и легких, и тяжелых — всех вывезти. Завтра, паверное, жарко будет.

— Почему «жарко»? — спросил фельдшер.

— Гости из Петербурга прибыли. Каратели, — Николаев шагнул к двери и, надевая шапку, добавил: — Сегодня, кажется, пятница, а по субботам баня...

Вечером мы прочитали воззвание штаба пресненских дружин: «Мы пачали, мы кончаем...»

Признаться, не верилось. Днем дружинники пятифунтовые гири бросали, тренировались во дворе фабрики. Фугасы начиняли. Оружие чистили. А ночью такая тишина легла, будто конец света наступил. Ни звука. Странно

мне стало. Испугалась тишины, будто одна я в живых осталась. Блажь, конечно, понимаю, но ничего с собой поделать не могу, страх не проходит, руки холодные, как ледышки. И вдруг в тишине выстрел треснул. Одиноким, обреченным какой-то. И опять стихло.

Когда все началось — не скажу, боюсь соврать. Одно ясно: ночь стояла. Со стороны Дорогомиловского моста пушки ударили, с Ваганьковского кладбища тоже загремели, еще откуда-то. И пошло.

Как разорвется снаряд — в окнах светло от огня, тени по стенам мечутся, трясется все, дребезжит, звенит. Бежать хочется, в подвал спрятаться нельзя, вдруг раненых привезут. Фельдшер спичкой чиркает, лампу опрокинул, керосином запахло.

В себя пришли, когда залпы слышали. Раз залпы, значит, держатся наши. Как там, кто кого одолевает — понять невозможно, перепалка жаркая, отчаянная, то ближе выстрелы, то дальше. Или это только кажется? Сидим в перевязочной, как на острове. Так до первого раненого. Он сам к нам добрался.

— Пеленайте бинтами, — кричит, — мне обратно надо.

Ранений у него пять или шесть было, но не тяжелые; а он молодой, запальчивый такой, горячий. Рвался на баррикады, едва успокоили.

От него все и узнали. В городе, значит, война закончена. «Городом» мы Москву называли. Есть, мол, решение Московского комитета: восстание свертывать, сохранять людей и оружие, с понедельника выходить на работу. Из Петербурга Семеновский полк прибыл. Головорезы, звери. Сам царь их благословил.

Помните, я говорила про ночной выстрел? Тот выстрел не случайный был, не шальной. С него все началось. Наш дружинник с церкви Девяти мучеников семеновцев заметил. Он и поднял тревогу.

Главный бой завязался у Горбатого моста. Семеновцы



в темноте пушки выкатили, хотели ударить прямой наводкой, смести баррикаду. Выкатить пушки выкатили, а сверху на них, с чердаков, горящую паклю сбросили, да из всех окон, из всех подвалов, из всех дыр в заборах как ударили! Мало кто из них убежал; а кто уволок ноги, забыл и про орудия, и имя собственное.

Захватили дружинники пушки, забегали вокруг них — стрелять-то никто не умеет. Пока топтались, пока приноравливались, очухались семеновцы, из пулеметов стегали. Пришлось бросить трофеи.

Все это раненый рассказал. Там и его изрешетило. А что потом было, ничего толком не помню. Знаю, что передышки не было, палили со всех сторон. Начались пожары. Из-за дыма, из-за разрывов, из-за потока раненых я счет времени потеряла. В окне показалось солнце — сквозь клочья дыма пробилось. Так и не поняла я — утро это или вечер?

Руки двигались механически, спину ломило, губы липли — кровь, что ли, при перевязке в лицо брызнула.

Перевязочную покинули, шатаясь от усталости. Команда была. Вокруг все горело. На фабричном дворе штабеля древесины занялись. И красное дерево, и карельская береза — все пылало. И корпуса фабрики уже огонь лизал. Добежали до ворот, ворота, как заколдованные, стоят, на воротах вывеска: «Фабрика мебели Шмита. Повстанчик двора его величества».

Только и осталось, успела я подумать. Взрыв отшвырнул меня от ворот, оглушил, в ушах заломило.

Прижалась я к стенке, лицо, руки, пальто — все в воде. И внизу хлюпает. Не сразу сообразила, что от пожаров снег тает, с крыш льются потоки, а пламя разрастается, гудит, пожирает фабричные корпуса.

Откуда-то дружинники вынырнули. Впереди — Николаев, маузер наготове держит. Лица у всех закопченные, злые, и всего-то их человек двадцать, может, тридцать.

Неужели, подумала я, с этими маузерами они против пушек стояли?! Вот эта горсточка против массы карателей?!

Прошли шагов сто, остановились, оглянулись на фабрику. В том самом корпусе, где перевязочная была, рухнула крыша, полетели, корежась, огненные стропила, и сразу словно осела коробка здания.

Поверите, как повернулись спиной к фабрике, так внутри все угасло, силы меня оставили, и безразлично стало: куда идти, зачем идти. Апатия наступила. И странно было, на Прохоровской мануфактуре — Николаев туда нас привел — суетились, торопились, смазывали оружие, уносили куда-то закапывать. Для чего, не понимала я, если восстание проиграно?

Встретил нас пачальник пресненских дружин. Звали его Седой. И действительно был он седой, только брови черные.

— Выводи людей, — сказал он Николаеву. — Выход один остался: через Москву-реку, по льду. — И дал им в провожатые мальчишку, широколицего, с вихрами пестриженных волос. Петром все его называл.

А нас, медицину, предложил здесь спрятать. Прятали нас женщина, — видно, прохоровская. Сначала в школу повела, говорила, что директор сочувствующий. Но обстановка переменилась, и директор переменился. Дверь не отворил, из-за двери ответил: «Заварили кашу, сами расхлебывайте».

Пошли к присяжному поверенному. Впустил. Добрый, с бородкой, как у Тургенева.

Ну да все это уже неинтересно. Одним словом, выжила — вот и все. Бросилась Костю искать. Дома, на Коопхле, нет. Решила в обсерваторию пойти. У заставы, вижу, обыскивают прохожих, осматривают, в документах роются, избивают кого-то. Приблизилась и сразу узнала околоточного с кошачьими глазами, которого из участка на

Малой Грузинской отпустили. Тогда он вытянулся в струнку, только кадык ходил, да глазки бегали, а тут по-валил прохожего и ногами, ногами его. Тот свернулся калачиком, голову руками прикрывает, а околоточный все в голову целится сапожищем.

Искала Костю и в Суцевской части. Во дворе там большой сарай, туда отовсюду мертвых свозили. И детей, и женщин, и дружинников, и недружинников. Люди свалены, как дрова. Иные смерзлись. Другие лицом вниз брошены. Я одного, в студенческой куртке, повернула, чтоб в лицо заглянуть, а лица нет — кровавое месиво, красно-синее все.

Не нашла Костю. На четвертый день сам появился. Не зря меня там, на Пресне, всякие предчувствия насчет Кости мучили. Был он на Миусской баррикаде, перешел на Пресню, хотел в обсерватории отсидеться, но не бросать же товарищей. Подались в Дорогомилово; там их драгуны и взяли, голубчиков. Засадил в сарай, часового приставили. На счастье, в сарае оказались лопата и грабли. Сделали подкоп, бежали. Мы уж надеялись, пронесло. С того дня месяц прошел. И вот нынешней ночью явились...

До этой минуты Павел Карлович слушал молча, не задавая вопросов. Привычка мыслить логически побудила его представить себе то, чего не коснулась Софья.

Месяц после восстания Константин был на свободе. Значит, о его участии в восстании не знали? Или его оставили, чтобы нащупать, с кем он связан? Или кто-нибудь выдал? Или допустил неосторожность, неосмотрительность?

— Вы ничего подозрительного вокруг Кости не замечали? — спросил Павел Карлович. — Он не высказывал никаких опасений?

— Как вам сказать, — ответила Софья. — Когда на Миусской баррикаду строили, с ним столбы пилил

один малый. Незнакомый этот и предложил: «Давай на всякий случай адресами обменяемся. Меня убьют — ты сообщишь. С тобой что приключится — я привет передам. Есть у тебя кто?»

Костя дал адрес. И тот свой адрес оставил. Еще п боев не было, а новый приятель исчез куда-то.

— А вы по его адресу справлялись? — нахмурился Павел Карлович.

— Костю не пустила, а сама ходила. Ложный адрес.

Возвращалась домой Софья Войкова необычным путем. Идти через калитку, выводящую в Никольский переулок, Павел Карлович не посоветовал. Он сам повел ее через двор к заметенному снегом саду обсерватории. Намело такие сугробы, что деревянные лавочки скрылись под снегом.

Штернберг шел впереди, глубоко проваливаясь. Софья — след в след — едва поспевала за ним. Цезарь и Норма прыгали сбоку.

Было светло, как бывает в лунные вечера. Снег светился по-вечернему загадочно, отдавая голубизной. Возле рябинки, от которой начинался спуск к Москве-реке, остановились. На ветках не адело ни одной ягодки. Разграбили, очевидно, клесты.

— Отсюда доберетесь? — спросил Павел Карлович.

— Доберусь, — кивнула Софья.

Она еще не понимала, зачем Павел Карлович ведет ее кружным путем, почему он отмалчивается. Надо же что-то делать, надо спасти Костю из тюрьмы. Постепенно облегчение, наступившее после того, как она излила душу, сменилось тревогой.

— Хорошо, что вы пришли, — сказал наконец Штернберг. — В беде не оставим. А вы...

Он не успел предупредить об осторожности, посоветовать Софье, чтоб не приходила в обсерваторию одна, а с курсистками Высших курсов, когда по четвергам у них практика. Цезарь громко залаял, прыгая возле какого-то бугорка. Норма тоскливо и жалобно завывала.

Бугорок ничем не привлекал к себе внимания. Мало ли их, оставленных артиллерийским обстрелом в декабре 1905-го здесь, на открытом спуске к реке? Павел Карлович хотел уже прикрикнуть на Цезаря, продолжавшего лаять, как вдруг понял: перед ним человек. Труп замело, лишь изогнутая, выбеленная морозом нога торчала из снега, и длинный шнурок выползал из башмака кривым ледяным червяком...

## VII

Вера Леонидовна сначала слышала приглушенные голоса в коридоре, потом щелкнул упругий язычок замка, заскрипели деревянные ступеньки. Софьины шаги были легче и быстрее, его тяжелее и медленнее, с паузами: наверное, останавливался, чтобы зажать спичку — подъезд не освещался.

Выйдя из подъезда, они не свернули к калитке, а направились в глубину двора. Это уж было совсем ненормально.

Оконное стекло холодило лоб. Из темной комнаты хорошо просматривался заснеженный, освещенный луною двор. Выбежали Норма и Цезарь. Павел Карлович потрепал их по шерсти; они рьяно запрыгали, разбрасывая снег.

Куда же все-таки муж ведет Софью?

Вера Леонидовна познакомилась с Софьей и Константином Войковыми года полтора назад, когда они приехали из Юрьевца в Москву на учебу. Пока они оформля-

ли бумаги и приворавливались к новой жизни, устроили их у себя, в угловой комнатке.

Когда Вера Леонидовна поинтересовалась, поправи-лась ли Москва, Константин ответил: «Да»; Софья кивнула: «Конечно». И больше от них не добились ни слова.

Свой деревянный чемодан — один на двоих — они оставили в коридоре, в комнату занести постеснялись. Маленький железный замок, как черный жук, висел на стальных ушках. Вера Леонидовна впервые видела самодельный, свежеструганый чемодан. У нее вырвалось:

— Какой необычный чемодан!

И Софья, и Константин страшно смутились. Дома, собирая детей в дорогу, обсуждали: покупать чемодан в магазине или заказать соседу, опытному столяру? Решили заказать. Обошлось наполовину дешевле.

Поняв смущение гостей, Павел Карлович поспешил им на выручку:

— Да, добротный чемодан. Мастер мастерил, сразу видно. Не отец ли?

«Какая милая провинциалочка,— подумала Вера Леонидовна, разглядывая чистое Софьино лицо, так легко покрывающееся румянцем смущения, ее льняные волосы и серое платье с белым пришитым воротничком.— Непременно буду опекать ее».

Но опекать ни Софью, ни ее брата не пришлось. Скоро они поселились в общежитии, в гости приходили редко. Иногда Павел Карлович приводил из обсерватории Константина попотчевать чаем. Константин, став студентом, сохранил прежнюю робость и неразговорчивость, а если и говорил, то только с Павлом Карловичем о фотографировании двойных звезд или о чем-нибудь в этом роде. Будто других тем на свете не существует...

Сегодняшний приход Софьи был неожиданным и необычным. Она пришла без приглашения, сама — встревоженная, бледная, исхудалая. Прежде без брата никогда

не приходила. О чем они проговорили два или три часа? Конечно, если б дома было по-иному, падо бы накрыть стол, пригласить гостью к чаю. Обычно Павел говорил: «Верочка, угости нас чем-нибудь». А теперь... теперь он стал бессловесным. И Софья ушла, забыв попрощаться...

Лунная дорожка, высветленная в снегу, обрывалась за углом сарая. От деревьев и зданий падали во двор ко-  
сые тени.

Ей захотелось оторваться от оконного стекла, чтобы не видеть этот двор, эту лунную дорожку, эти следы, уводящие в заброшенный сад обсерватории. Но она не шевельнулась: там, в темени спящей квартиры, жило одиночество.

Вера Леонидовна не знала, не могла ответить самой себе, когда и как это случилось, когда возникла трещина, разъединившая их?

Давным-давно в Знаменском, в ночь под рождество, она загадала: быть или не быть им вместе? И долгие годы верила — быть! Ей казалось, что сама судьба заботится об этом. Лениость родного брата заставила отца пригласить репетитора. Верочкина страсть к пению заставила ее спросить Павла, не музицирует ли он?

Встречи у рояля, долгие летние прогулки со временем, возможно, забылись бы. Хотя легко ли забыть, как виртуозно ходили его пальцы по клавишам рояля?

В саду, у круглой клумбы, росла сосна. Над аллеей свисала ветка с удивительно большой чешуйчатой шишкой. Никто из Верочкиных знакомых, навещавших Знаменское, не могли дотянуться, ни допрыгнуть до ветки и сорвать шишку. Самолюбивый юнкер — сын помещика, жившего по соседству, — разгонялся и прыгал раз пять. Кончиками пальцев он лишь задевал ветку.

— Виктóр, вам надо еще расти,— кольнула Верочка юнкера.

Павел легко подпрыгнул и сорвал шишку.

Верочка думала: всегда и во всем судьба на его стороне.

Даже его появление в Петербурге, когда Бредихин послал студента-первокурсника в Пулково, она не считала простой случайностью.

Их уговор — закончив учење, быть вместе — чуть не разрушил отец. Но Верочка тоже была из рода Картавцевых, и отец не переупрямил дочь.

Первое время после просторной барской усадьбы комнатки в Никольском переулке казались клетушками; после неторопливой и праздной жизни в Знаменском, где томительно тянулись часы от завтрака до обеда и от обеда до ужина, занятость Павла ошеломяла. Рано утром он спешил на лекции в университет, оттуда на женские курсы, в обсерваторию, вечером и ночью наблюдал звезды.

Поначалу Вера Леонидовна взялась оборудовать «семейное гнездо». Что это за дом, если окна без штор, полы без ковровых дорожек, нет ни столовой, ни чайной, ни кофейной посуды, да и ставить ее некуда. А кабинет мужа меньше, чем комната горничной в ее родном доме!

В Смольном институте обучали хорошим манерам, учили сервировать стол, принимать гостей. Что ж, забыть все это?!

Ее хозяйственные заботы он принимал благосклонно и спокойно. Обрадовали его спиртовка на трех ножках и новый синий кофейник. Еда на спиртовке грелась быстро и бесшумно, а кофейник, закипая, мелодичным свистом оповещал: пожалуйста ко мне!

Некоторые новшества он встречал сдержанно. Заметив, например, в углу икону, мерцавшую тусклой позоло-



той, Павел Карлович постоял перед ней так, будто до этого никогда икон не видел, и, ничего не сказав, припаялся приколачивать шторы.

Позже Вера Леонидовна научилась понимать состояние мужа. Он почти никогда не вмешивался в ее дела. Но если по его лицу пробегала тень, если он замыкался и пытался чем-либо отвлечься — чинил карандаши или уходил колоть дрова — значит, недоволен.

Она тоже бывала недовольна. Взял, например, и прибил книжные полки в гостиной. Они, конечно, нарушили парадность, а он никак не желал понять, что, если в кабинете книги уже не вмещаются, их просто не следует покупать.

Он вообще относился к книгам не так, как должно к ним относиться. Вера Леонидовна и сама была не прочь полистать на досуге хороший роман или пьесу. Павел же обкладывался книгами как крепостной стеной, едва видимый за столом. Из томов торчали хвостики закладок. Он что-то увлеченно выписывал, иногда зачитывал вслух и сам себе бормотал:

— Нет-нет, так не пойдет!

Вера Леонидовна деликатно входила в кабинет, надеясь, что само ее появление напомнит ему, что пора обедать и что помимо книг существуют она, дом, город с его театрами и концертными залами. Он подолгу не замечал ее присутствия, а увидев, как-то рассеянно восклицал:

— Ах, Верочка! Ты скучаешь? Я скоро...

И опять погружался в свои книги с хвостиками закладок.

В первые два-три года после ее приезда из Знаменского по воскресеньям он аккомпанировал ей, она пела.

Вера Леонидовна с детства привыкла: ее музыкальность признавали все. В Смольном ни один вечер не об-

ходиллся без ее пения. И в усадьбе родителей, после звачного обеда, отец обыкновенно говорил:

— Тенерь я позволю себе угостить вас пеннем Верочки...

Однажды на ее святая святых пала тень. Ну, бросил бы эту тень какой-нибудь человек случайный, которому медведь паступил на ухо. Было бы полбеда. А если горькую, оскорбительную фразу произнес он, Павел, ее муж, музыкальный до кончиков пальцев?!

Штернберги в тот вечер ждали в гости присяжного поверешного с супругой, живших по соседству, в Никольском переулке.

— Чго бы мне им спеть? — спросила Вера Леонидовна.

— Весь твой репертуар они слышали раза по три, — ответил Павел Карлович.

— И ты думаешь, им неприятно будет послушать меня еще раз?

Он пожал плечами и сказал:

— Знаешь, я стал замечать странную вещь. Иногда мы исполняем, скажем, Глинку. Все правильно. Все соответственно нотам. А Глинкой даже не пахнет.

Он говорил «мы», но ей отчетливо послышалось «ты».

Она вскинула глаза, всем корпусом подалась назад, словно ожидая нового удара, и выжидательно замерла, еще надеясь, что он возьмет свои слова обратно.

Он промолчал...

В их дом проник холодок разлада. Впрочем, не тогда, раньше. Когда он еще аккомпанировал ей. И не замечал, что Глинка у нее — не Глинка.

Больше всего на свете, кажется, Павел хотел приобщить ее к астрономии. Когда-то, еще в институте благородных девиц, и потом дома, в Знаменском, да и тут, в Москве, Верочке и самой профессия звездочета представлялась романтической и возвышенной. Она читала, что при

королях, епископах и князьях жили астрологи, влиятельные и мудрые, умевшие по расположению планет предсказывать судьбы людей, важные события в жизни народов и государств.

Попытка заговорить об этом с Павлом не увенчалась успехом.

— Астрологи — чистейшей воды шарлатаны, — сказал он. — Большинство из них, не угодив своим властителям, кончали карьеру в петле.

— Но были же и счастливички, были же и светлые головы?

Верочка не могла так легко расстаться с тем призрачным миром, который создала в своем воображении.

— Были и счастливички.

И Павел Карлович поведал притчу об астрологе, жившем при Людовике XI и предсказавшем смерть одной придворной дамы. Когда эта дама скончалась, король решил расправиться с самим астрологом и повелел страже ждать условного сигнала.

Едва звездочет переступил порог монаршей опочивальни, король обратился к нему с вопросом: мол, знает ли он, сколько времени ему самому осталось жить?

Астролог не пал духом, бодро ответил, что звезды ему подсказали, будто он должен умереть за три дня до смерти его величества.

Король, разумеется, не решился казнить астролога, более того, всячески оберегал его драгоценную жизнь.

Так один шарлатан обманул другого...

Непочтительный топ Павла о людях знатных не понравился Верочке, да и непонятно ей было, как уживается в муже пренебрежение к звездочетам с восторженной влюбленностью в свою астрономию. Как увлечению он рассказывал ей о башне, где стоит телескоп, как нетерпеливо вел по крутой, винтовой лестнице, подымавшейся к этой башне, с каким воодушевлением крутил тяжелое

колесо, раздвигая люк. Он подвел ее к трубе, похожей на пушку, и сказал:

— Сейчас ты увидишь чудо!

Приникнув к окуляру, она долго всматривалась в небо, всем существом своим пригготовленная к чему-то необычному. И действительно, ее поразили бесчисленная россыпь звезд, неясные контуры гор на огромной и близкой Луне и та мерцающая пестрота, та бурная жизнь, которой до краев наполнено мироздание.

Павлу хотелось показать Верочке как можно больше. Он наводил трубу на планеты:

— Смотри, этот тоненький полумесяц — Венера. Такой ты наверняка ее не видела. Запоминай. Не зря же древние дали ей имя богини красоты.

Верочка смотрела, а через несколько минут он показывал ей Сатурн и не менее восхищенно комментировал:

— Видишь сатурново кольцо? Какое зрелище!

Картина открывалась волшебная: рядом с огромным шаром изгибалась блестящая небесная лента.

Еще несколько раз Вера Леонидовна подымалась в башню, но постепенно ее любопытство стало угасать. Далекие светящиеся точки утратили для нее интерес. Ну, какая разница — Меркурий самая близкая к Солнцу планета или не самая близкая?

После третьего посещения башни она смотрела в телескоп, пожалуй, из вежливости. Глаза больше задерживались на старинном кресле с резной спинкой, на белой метлахской плитке, устилавшей пол, такой подходящей для кухни с ее светлыми обоями.

А для него вся жизнь была заключена в этой башне.

С утра, едва пробудившись, он разглядывал небо и пытался предугадать, каков будет вечер, сумеет ли он вести наблюдения? Ему и в голову не приходило, что ясный вечер хорош и для прогулки!

Она возненавидела звездные вечера, покатый купол





обсерватории. Не мужу, а дворнику Ульяну, обычно крутившему в башне колесо, сочувственно кивала, когда тот рассуждал о погоде:

— Что пам погода? Нам только и вздохнуть, когда па небе тучи пойдут. Хоть бы дождя господь дал, вот уж другая неделя не заболокает совсем...

Не заболокает, не заболокает... Что оно означает, это словечко? Не заволакивает, что ли?

Было такое: ходил он как туча, что-то не ладилось с трубой телескопа, какие-то колебания мешали наблюдать, мешали фотографировать. Засел он с механиком за работу, приходил усталый, руки — в машинном масле, даже волосы пахли машинным маслом. И вот однажды вечером — безоблачным, лунным — она легла в постель и распустила волосы. Дети давно заснули. Хотелось и ей закрыть глаза и заснуть. Сразу. Без ожиданий. Без раздумий. И вдруг заскрипели ступеньки. Она узнала его стремительные и тяжелые шаги. Он переступал через две, через три ступеньки. И, ворвавшись в комнату, вывалил ей на одеяло темные, мокрые стеклянные пластинки:

— Вера, Верочка, смотри! Это Сатурн! Все три кольца. Какая четкость! А это планетарные туманности. Ты видишь? Ты понимаешь? Отрегулировали! Наладили!

Он держал керосиновую лампу так, чтоб ей удобно было разглядывать пластинки. Она щурилась, смотрела на влажное стекло и, проверив, не осталось ли на пододержальнике пятен от темных пластинок, спросила:

— Туманности? Ну и что? Ложился бы лучше спать.

— Спать?

Он растерянно отступил, не веря своим ушам.

Верочка сладко зевнула, небрежно сдвигая пластинки на край постели. На пальце сверкнуло колечко.

Павел Карлович недоуменно следил за ее рукой, за

пластинками: они напользали одна на другую, царапались.

Поникший, пошел к двери. Она хотела окликнуть его, но не оклинула, да и вряд ли он обернулся бы...

Тени от деревьев во дворе стали короче. Снег потемнел. Лик луны затуманило облачко. В башне обсерватории загорелся свет, а внизу, у крыльца, задрал головы, расселись Цезарь и Норма.

Вера Леонидовна отошла от окна. Под ногами, как живая, скрипнула половица.

### VIII

Курсистки приезжали из Мерзляковского переулка в обсерваторию по четвергам.

Около десяти утра старший дворник Соколов медленно пересекал двор, неся длинную палку, на конце которой, напизанная на гвоздь, горела свеча. Лицо его было степенно и непроницаемо, как у жреца. Он входил в аудиторию, подтягивал кольцо; струя газа успевала качнуть огонек свечи, и тут же вспыхивала люстра.

— Теперича пожалуйте,— говорил Соколов курсисткам, толпившимся в коридоре. Он уносил палку так же важно, как и вносил, хотя палка была грубооструганная, а фитиль погашенной свечи дымился и вопял.

Павел Карлович появлялся точно в пазначенное время, не опережая звонка и ни на секунду не опаздывая, стремительно проходил вдоль столов и подымался на кафедру. По пути он успевал объять взглядом всю аудиторию и, конечно, заметить Варвару Николаевну, сидевшую, как правило, у окна. Если на столе возле нее не было ни тетрадок, ни учебников, а цестрела обложка журнала «Путеводный огонек», значит, встреча необходима.



После лекции курсистки переходили в башню, где они практиковались у приборов, а у Варвары Николаевны был повод отлучиться: в обсерваторской библиотеке она подбирала пособия для всего курса. Поручение это мог бы дать ей Павел Карлович своей властью. Однако он поступил по-иному. Кандидатуру Яковлевой предложила одна из однокурсниц.

В библиотеке Варвара Николаевна застала Софью Войкову. Она заметила ее еще утром, когда Софья возле церкви примкнула к их группе и вместе вошла в калитку обсерватории. «Молодец», — отметила про себя Яковлева.

Софья тоже теперь узнала ту глазастую, чернобровую курсистку, которая приезжала к ним в Марьинку в первый день восстания.

— Здравствуйте! — сказала Варвара Николаевна. — Я принесла вам весточку от брата.

Она отвернула манжет кофты и достала свернутую трубочкой записку.

Костя писал плохо отточенным карандашом, буквы были неотчетливы, но знакомые завитушки над «б» и «д» выдавали его почерк, его руку. В записке не улавливалось ни хандры, ни подавленности. Весточка пересылалась, видимо, через надежного человека. Тем не менее Константин писал эзоповским языком:

«Прежде всего, прошу обо мне не беспокоиться. Наш покровитель, знакомый тебе по встрече в Юрьевце, прислал мне деньги. Они скоро понадобятся.

Пока отдыхаю. Кое-чему учусь. Отдыхает нас тут страшно много. Отдыхающие продолжают прибывать, так что меня переведут в другой санаторий, подальше от этих мест. Впрочем, долго отдыхать я не собираюсь, начинается надоедать.

Приметы быстрого перевода? Перед отправкой в другой санаторий измеряют лоб, плечи, нос, рост, череп, бе-

рут отпечатки пальцев, фотографируют в профиль и анфас.

Не уверен, что успею прислать фотокарточку. Скоро сам увижу портрет Конерника».

В библиотеку вошел Шгериберг.

— Карточки подвигаются? — спросил он Софью, перед которой лежала стопка библиографических карточек. — Поторапливайтесь!

Яковлева наблюдала за ним: степенный, строгий, отрешенный от всего, кроме науки, приват-доцент стоял возле Войковой. Потребность в конспирации вошла в плоть и кровь.

Потом он остановился у стола с пособиями по астрономии, заговорил с Варварой Николаевной. Она отвечала тихо; Павел Карлович слушал, не присаживаясь, молча кивая.

Минут через десять он ушел, предупредив Софью, чтобы на Козихе не задерживалась, подыскивала новую комнату.

Варвара Николаевна принесла неутешительную весть. Арестована группа дружинников-прохоровцев, оборонявших Пресню. Поместили их в полпцейскую башню Бутырской тюрьмы. Один из них — Лозневой на допросах начал проговариваться. А он знал, что тайник с оружием находится в церкви на Смоленском рынке.

Собственно, потребность перепрятать оружие возникла давно, но не удавалось найти надежное место. Теперь же промедление почти неизбежно вело к потере маузеров, винчестеров, фугасов, спрятанных под аналом.

В обсерватории кое-что припрятать, безусловно, можно было. Цераский последнее время болел — не зря он называл свою грудь «разбитым горшком», — ключи от всех помещений перешли к Павлу Карловичу. Одна-

ко, как незаметно привезти оружие, выгрузить, спрятать? Все служащие обсерватории живут тут же, во дворе, каждый шаг — на глазах. А по переулку шастают филеры!

Павел Карлович давно привык к мысли, что любую задачу можно решить, если не опустить прежде времени рук, если помозгуешь как следует.

На столе попалось на глаза извещение о прибытии на Брестский вокзал ящиков с астрономическими приборами из Германии. Ящики? С приборами? Павел Карлович еще ясно не представлял себе, какая связь может существовать между оружием, спрятанным в церкви, и ящиками, лежащими в станционных пакгаузах, но он начертил на клочке бумаги: X=? И словно почувствовал облегчение.

— А что,— рассуждал он,— если оружие привезти на вокзал, если с вокзала его отправить в обсерваторию одновременно с астрономическими приборами, а выгрузку поручить надежным людям...

На бумаге появилась новая строчка: X=вокзал.

Вывезти оружие Московский комитет поручил пресненским большевикам. Они выбрали опытных боевиков, которые хорошо знали церковь на Смоленском рынке и окрестные улицы.

Штернберг по предварительному плану должен был лишь подготовить место для оружия. Но он решил ознакомиться со всеми деталями операции.

До встречи с боевиками Павел Карлович побывал возле церкви на Смоленском рынке.

В предвечерние часы рынок был безжизненно пустын. Валялись обрывки газет, капустные листья, разбитые ящики, шелуха семечек.

Возле церкви Штернберг обнаружил пеньки двух спиленных фонарных столбов. Столбы, очевидно, пошли в декабре на баррикады. Взамен двух старых поставили один новый.

«Фонарь будет мешать», — Павел Карлович прошел дальше, желая проверить, нет ли еще каких-либо помех вблизи церкви. К счастью, помех не оказалось. Не было даже постоянного поста городских.

Явочная квартира размещалась в часовой мастерской. У входа в изрядно осевший одноэтажный дом, сложенный из давно побуревших бревен, — щит:

«А. А. РУБИНШТЕЙН.  
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ЧАСОВ  
ВСЕХ СИСТЕМ МИРА».

За стойкой сидел невысокий старичок, с луной в правом глазу, и ковырял в часах тонкой, как волосок, отверткой.

— Здравствуйте, — приветствовал мастера Павел Карлович. — А часы фирмы Мозер принимаете?

Старичок продолжал копаться в механизме, будто не расслышал вопроса.

«Тик-так, тик-так» — неслось отовсюду. Наконец мастер поднял голову, улыбнулся, и от глаз его разбежались глубокие лучи морщинок.

— Мозер так Мозер, — нараспев, как говорят в Бессарабии и в южных губерниях Украины, произнес старичок. — Почему нет?

Хозяин мастерской отложил в сторону лупу, вышел из-за стойки и повел Павла Карловича через полутемные, заставленные сундуками, комодами и диванами узкие комнаты. В последней горела керосиновая лампа и сидел здоровяк с квадратными плечами — сидел в кожанке, в кроличьей шапке и чадил сигаркой.

Штернберг обратил внимание на запасной выход — дверь, выведившую, очевидно, во двор, и на то, что дверь эта массивна, обита толстым слоем войлока, снабжена крепкими железными засовами.

— Эрот, — представился Павел Карлович. После возвращения из-за границы ему дали партийную кличку.

— Ангел,— ответил здоровяк в кожанке.

Эта кличка никак не вязалась с обликом сурового могучего мужчины, с виду мастерового, под которым заметно проседал старый, с выцветшей обшивкой диван.

У Ангела был продуманный план вывоза оружия:

— Ключ от церкви есть. Сам слесарил. Пробовали. Ребят подобрал надежных. Кобылка сытая будет. И возница свой — парень не промах. Насчет места? Хотели в Сокольниках зарыть, в чаще-гуще. Да вот беда — заржавеет. Маузеры не смазаны, не успели. Что скажешь ты, товарищ Эрот?

«С этим можно дело делать,— подумал Штернберг, отдавая дань спокойной уверенности Ангела.— Внешне — увалень, движения медлительны, как у тюленя, а за всем за этим, наверное, динамит таится. И сила. Ручищи, как совковые лопаты».

Павел Карлович поделился своими соображениями: оружие переправляем в обсерваторию, днем надо «отремонтировать» фонарь возле церкви, чтобы ночью не зажегся; хорошо бы проследить, когда, в какие часы конные патрули Смоленский рынок проезжают.

Условились, как перегружать ящики на Брестском вокзале, как сопровождать их до места назначения.

Штернберг собрался уходить, Ангел остановил его жестом: из комнаты, где работал старичок, послышалось мелодичное «ку-ку» стенных часов.

— Посетитель,— объяснил Ангел.

Переждали. Ангел вышел в дверь, обитую войлоком. Павел Карлович, миновав полутемные проходные комнаты, задержался возле старого мастера:

— Спасибо за ремонт.

— Вы платите, мы ремонтируем,— понимающе кивнул старичок.— Как-никак гарантия на целый год. Мозер так Мозер.

И от глаз его опять разбежались добрые лучики морщинок.

Утро выдалось хорошее. Даже ленивое мартовское солнце выглянуло из-за крыш.

Возница, внешне безучастный ко всему происходящему, кормил кобылу овсом. Она аппетитно хрумкала, обнажая крепкие желтые зубы.

Санки, на которых привезли оружие на вокзал, были прикрыты толстым брезентом, припорошенным снежком. Теперь на эту подстилку грузчики укладывали аккуратные ящики, расцвеченные немецкой железнодорожной маркировкой.

— Полегче, полегче, — командовал возница, поглаживая кобылу. — Не дрова грузите.

Павел Карлович, закинув руки за спину, прогуливался невдалеке, иногда поглядывал на грузчиков: «Все? Закончили?»

Наконец ящики уложили, перехватили их грубым канатом, чтоб не ерзали.

— С богом! — сказал Павел Карлович, расплатившись с грузчиками и благословляя возницу в дорогу.

Впереди, метрах в ста от саней, двигались два боевика. Павел Карлович, намеренно отставая, шел сзади, не выпуская сани из поля зрения. По другой стороне улицы шагал Ангел в своей вытертой кожанке и кроличьей шапке.

Когда большая часть пути была преодолена и санки выезжали из длинного, как коридор коммунальной квартиры, переулочка, на углу внезапно показались драгуны. Офицер рукой что-то показывал всадникам.

«Двенадцать голов», — насчитал Павел Карлович.

Боевики остановились, ожидая сигнала Ангела. Возница опустил руку в карман шубы. Ангел хотя и продол-

жал идти, но не сводил глаз с Павла Карловича и как бы спрашивал: как быть?

Малейшая невыдержанность и горячность могли погубить дело. Штернберг ничем не выдал беспокойства: он шел размеренно, закинув руки за спину, невозмутимо глядя перед собой.

Сани медленно сближались с всадниками. Офицер, гарцевавший в голове своего отряда, наклонился к ближайшему коннику и что-то сказал ему.

Штернберг сохранял то внешнее спокойствие, при котором нервы натянуты, как тетива. Он скользнул взглядом по противоположной стороне улицы: Ангел жадно затягивался, сигарка сбилась в угол рта, правая рука утонула во внутреннем кармане кофакки. В голове пропеслось: «Сейчас начнется».

Но ничего не началось. Сани мирно разминулись с драгунами. Холеные копы, помахивая хвостами, процокали по булыжной мостовой.

Верный своему правилу, Штернберг не оглянулся.

## IX

В филерской было шумно, душно, многолюдно. Кое-кто курил, дым медленно и неохотно расплывался по большой — метров в шестьдесят — комнате с низким, давящим потолком. Посредине стоял огромный дубовый стол.

Филеры держались обособленно — паверное, потому, что были они разного возраста — от зеленых юнцов до замшелых старцев, разных профессий, разного образования и уровня, чаще всего неудачники, па чем-то споткнувшиеся. Жизнь не сложилась, вот и причаливали к маленькому островку — двухэтажному зеленоватому дому в Гнездиновском переулке.

Возможно, потребность держаться обособленно дикто-

валась еще и родом запятий, необходимостью все замечать, оставаясь незамеченным, вовремя появляться, где надо, и вовремя исчезать.

В лицо Кукин знал многих, но более близких знакомств не заводил, ревниво следя за успехами и неудачами филдерской братии.

Ровно в двенадцать часов почи появлялся в дверях Евстратий Павлович Медников. Комната разом затихала.

Евстратий Павлович — среднего роста, широкий в кости — молча оглядывал собравшихся. Его спокойные голубые глаза оставались почти неподвижными. По ним никогда нельзя было прочесть настроения Медникова: они не отражали ни радости, ни гнева и существовали как бы сами по себе.

— Крючок! — окликнул Медников.

Сгорбленный старикашка, за что и получил кличку «Крючок», отделился от стены и протянул записку — отчет о своих наблюдениях. Старик продавал газеты возле гостиницы «Континенталь». Крючок запоминал лица, одежду, часы появления нужных людей. Если они подходили к киоску и переговаривались, записывал обрывки фраз.

Откинув русые волосы, сползавшие на лоб, Евстратий Павлович положил записку на дубовый стол и вызвал следующего.

Кукин следил за происходящим, ничего не упуская. Как много бы он отдал, чтобы научиться читать мысли непропицаемого Евстратия Павловича. Но это, видно, никому не было дано. Одни выходили к нему, натянуто улыбаясь, заискивающе заглядывая в глаза, другие, отдав отчет, окаменело ждали вознаграждения или порицания, третьи прятали в карман деньги и отходили к спасительной стене.

— Звонарь! — вызвал Медников.

Клички он давал очень метко, и они, как клеймо, ос-



тавались надолго, если не навсегда. Звонарь как раз отличался неудержимой говорливостью.

— Тридцать рублей паездил,— Евстратий Павлович покачал головой, не отрываясь от отчета.

Звонарь согнул спину и наклонил голову, чтобы не казаться выше своего начальника:

— Тридцать рублей...

Медников вытянул из тугого бумажника одну за другой три красненьких. Звонарь провожал глазами каждое его движение, как провожает собака кусок мяса, предназначенный ей, но еще находящийся в руках хозяина.

— М-да, м-да,— сказал немногословный Евстратий Павлович, медленно уложил красненькие обратно в бумажник и, неожиданно развернувшись, хрюнул кулаком в правую щеку Звонаря.

Звонарь сильно качнулся, пощупал языком зубы и, опасливо следя за рукою Медникова, клятвенно зашептал:

— Не буду, Евстратий Павлович, больше не буду!

Кукин причмокнул от удовольствия — такую звонкую затрещину схлопотал Звонарь.

Торжество было бы безоблачным и полным, если б Клавдий Иванович не вспомнил, что и в своем отчете он приписал две поездки на извозчике.

«Как он все это вынюхивает? — Кукин покосился на ширококостную фигуру Медникова, на жидкие волосы, прикрывавшие короткую розовую шею.— Нюх у него собачий!»

Звонарь уже не первый раз нарывался на зуботычину. Недели две назад он бог весть что насочинил в отчете, сам же пьянствовал в доме терпимости на Цветном бульваре со знаменитой Полковницей. А у Евстратия везде свои глаза и уши...

«Не умешь — не ври,— взбадривал себя Клавдий Иванович.— Ну как проверить, ехал ли я от Мерзляков-

ского переулка до Пресни в санках или пешком отпра-  
вился в трактир Егорова?»

Утешения почему-то не помогали. Во рту першило. Язык стал шершавым, как наждак. Ладони противно вспотели.

Когда Медников вызвал Клавдия Ивановича, огромный дубовый стол почти сплошь устлала бумажки, исписанные каракулями филеров. Было часа два ночи.

— За студента,— сказал Медников, протягивая червонец.— Новое есть?

У Кукина не хватило духу произнести «нет». Этот почти квадратный человек с короткими руками, чуть изогнутыми, как рычаги, стоял устрашающе близко.

— Стараюсь,— прошептал Кукин. Он, подобно другим агентам, оказавшись лицом к лицу с Медниковым, не то что терял голос, но почему-то переходил на шепот.

— Лучше старайся!

Евстратий Павлович обдал его холодом бесстрастно-спокойных глаз и обернулся к новой жертве...

Расходились филеры глубокой ночью.

«Сколько нас! — удивился Клавдий Иванович.— На всех вокзалах, во всех гостиницах, каждое приметное лицо под нашим надзором!»

Агенты разбредались, за редким исключением, поодиночке. Крючок засеменил в сторону Тверской. Звонарь, с поднятым воротником, заложив руки в карманы, ни с кем не заговаривая, куда-то спешил.

«Сегодня на правой стороне не заснешь,— ехидно подумал Кукин.— Поворочаешься. Или ты опять к Полковнице?»

Клавдий Иванович миновал Скобелевскую площадь и, оставив позади чугунного генерала, скачущего на чугунном коне, остановился на распутье. Идти в свои унылые «меблировки» страх как не хотелось! Не хотелось пререкаться с сонным Никоном, зажигать зловонную кероси-

новую лампу и смотреть, как мечутся вспугнутые рыжие тараканы. Куда же податься?

В трактир Егорова, в «низок», где сидят в шубах, где пылает раскаленная печь, где обжигаяще крепкая водка и расстегаи с аппетитной юшкой? Или на Цветной бульвар, в трехэтажный дом с красным фонарем, к томи-тельно-молчаливой Катке, гибкой, вертлявой, сладко постанывающей в его объятиях и потом плачущей — по-детски открыто, навзрыд, громко и безутешно?!

Клавдию Ивановичу будущее рисовалось очень смутно, да он и не задумывался о нем до тех пор, пока однажды не застал Медникова за странным занятием. Шеф сидел у себя в кабинете за американским столом-конторкой и рисовал. Набросав снопы, поднявшиеся пирамидкой, густо обведя черным грифелем прозрачные крылышки и колючие ланки пчелы, Евстратий Павлович посмотрел на агента:

— В гербах кумекаешь?

Кукин неуверенно пожал плечами. Когда-то, учась в кадетском корпусе в Нижнем Новгороде, он видел на медных пушках таблички с гербом графа Аракчеева и с его девизом «Без лести предан». На этом его знакомство с гербами обрывалось.

— Не кумекаешь,— заключил Медников. Он опять склонился над листом, карандаш легко ходил в его руке, на бумаге быстро выросли стены, крыша, появились окна, изгибаясь, по белому листу побежала аллея.

«Вот ты о чем!» — догадался Клавдий Иванович. Он уже слышал, что у Медникова под Москвой есть особнячок, небольшое именье с коровками, бычками, уточками и прочей живностью. Управляет хозяйством жена Медникова. Орден Святого Владимира, полученный Евстратием Павловичем за работу в охранке, давал ему права

потомственного дворянина. Дело дошло до герба: снопы, пчела с прозрачными крылышками...

«Выбился в люди,— думал Клавдий Иванович,— выбился. И что его вознесло? Грамотей он не ахти какой, полицейским надзирателем служил, да вот не затерялся. Наверное, носом землю рыл, попал на глаза начальству. А внимание начальства, как дождь в засуху».

И Кукин решил: надо выбиваться! Не век же мерзнуть под чужими окнами, гоняться за тенью. Хорошо, если не впустую бегаешь, а если впустую? Сколько он за этим проклятым бородачом носится?! И что выбегал? Шиш с маком!

Не пустил ли Евстратий его по ложному следу? Не ломится ли он в открытую дверь? Ну какого рожна приват-доценту в революции падо? Был бы замешан в чем, было бы рыльце в пушку, не ходил бы гоголем и в глазах бесенята поселились бы. Уж он, Клавдий Иванович, знает, его не проведешь. И оглядываться научился бы — разве удержишься, чтобы не проверить — следят за тобой или не следят? А этот ни разу и головой не повел! Нет, что-то тут не так.

Признаться, и уследить за ним мудрено. Обсерватория за пятью замками, за заборами. На улице за ним тоже попробуй угнаться! Вскочит в санки — и ищи-свищи. И так всегда получается: взмахнет приват-доцент рукой — лихач к нему, а вторых сапок поблизости нет, вот и остается Клавдий Иванович с носом. А куда спешит, куда несется? Конечно, к жене, она у него статная, гордая, не из простых. Также ходит поднимая голову.

Попытался Кукин за нею понаблюдать. Говорят же: муж и жена — одна сатана. Может, куда записку понесет или прокламации? Полдня за нею как тень следовал. В посудном магазине все чашки перебрала, на свет смотрела, не понравились.

Саксонские, фирма «Розенталь». «Хорошая фирма,—

говорит, — но мне пужны китайские, тонкие, чтоб просвечивались, как папиросная бумага».

В шляпочный магазин зашла. И так и этак шляпки примеряла, в зеркало смотрелась. Лицо смуглое, матовое, глядит строго — царица!

Продавщица вьюном возле нее, уж очень ей шляпку продать хотелось — не взяла. На такую не угодишь. Небось дома этих шляпок не меньше, чем в магазине.

Увязался за ней Кукин и в церковь. Сначала не знал, конечно, куда это жена приват-доцента ни свет ни заря вырядилась.

Рань была, стынь. Снег, как стекло, хрустел. Вышла Вера Леонидовна из калитки, небыстро пошла. Его, Кукина, шаги услышала, оглянулась. У него сердце запрыгало: ну, Клавдий Иванович, будет, кажется, удача.

Только подумал так — она в церковь по ступенькам: топ, топ.

«Со следа сбивает, — смекнул Кукин. — Меня не поведешь на мякине».

Раздала Вера Леонидовна сирым нищенкам новость сколько гривенников и пятиалтынных, в храм вошла. И Клавдий Иванович — в храм. Протиснулся между богомолками, чтоб жена приват-доцента на глазах была.

Церковный хор тянул плавно и благостно, под ликами святых горели свечи, дьякон, не уставая, кадил, запах пахучего ладана щекотал поздри. Потом пресвитер молитвы читал, началось причащение. Вера Леонидовна испила церковного вина, и Клавдий Иванович из золотой ложечки отведал, губы омочил и кусочек просфоры на языке повалял.

Словом, отстоял три с половиной часа литургии и не солоно хлебавши опять перед калиткой обсерватории оказался. Она, приват-доцентша, за самовар, наверное, села, а ты, Кукин, церковной просфорой удовольствуйся,

благо дает ее священник ровно столько, сколько воробью надо, так что не объешься...

И опять Клавдий Иванович в дураках остался. И поспать не поспал, и поесть по-людски не поел, и мерзнуть мерз, как пес бездомный. А награда — дырка от бублика. Кукиш с маком.

Пойти бы к Евстратию Павловичу, надоумить: мол, зря время на приват-доцента теряем, не переключиться ли на кого другого? Э, нет, Евстратия учить — в фонарях ходить да зубами от голода клацать. Не потерпит.

Последние дни он совсем взбеленился. Под носом у охраны из церкви Земледельческой школы на Смоленском рынке оружие увезли. После восстания рабочие под аналоем спрятали. Как Евстратий дознался — неизвестно, может, кто из арестованных проболтал. Приехали: аналой разворочен, оружия нет, следы от сапог, окурки растоптанный...

Собрал Медников филеров, процедил сквозь зубы:

— Я вас, бездельники, без соли съем. Водку жрать отучу. Дрыхнуть без пробуду отучу...

Всем придумал задания. И Кукину придумал: через три дня положить ему, Евстратию Павловичу, на стол карточку приват-доцента Штернберга.

Расчет был точный: Вера Леопидовна к обедне пошла, не скоро вернется, сам публичную лекцию в университете читает, афиши на Моховой развешаны. Остались дети с няней. Дети мал мала меньше, няня простовата с виду. Расправил Кукин плечи, приосанился, постучался в калитку.

Ульян узнал посетителя, посочувствовал: опять ни хозяина, ни хозяйки.

— А детишки дома? — осведомился Клавдий Иванович.

— Детишки дома, — подтвердил Ульянов.

В прихожей у Штерибергов все повторилось: ах, ах, как жаль, что разминулись, да что поделаешь, на нет и суда нет, побуду с детишками.

Детям назвался дядей.

— Не узнаете дядю? — удивился Клавдий Иванович. — Нехорошо, нехорошо. Вот пожалуй папочке...

Дети дичились. Кукин — чужой, неуклюжий, не снявший пальто — стал на коленки, схватил резиновую лягушку с выпученными зелеными глазами и громко прокричал:

— Ку-ку, ку-ку!

Сценка произвела впечатление, дети заулыбались. Девочка с бантом в волосах сказала:

— Дядя, лягушка — это не кукушка, она квакает.

— Она все умеет, — защитил лягушку Клавдий Иванович. — Ученая.

— Дядя, ты из Знаменского приехал? Тебя Леня зовут?

— Леня, Лепя, — обрадовался гость, опустил на пол лягушку и вытащил из кармана пальто петушка на палочке, самый почитаемый детьми леденец. Пока Кукин ползал по полу, палочка сломалась, но девочка не очень огорчилась и, с превосходством посмотрев на сестру, засунула голову петушка в рот.

Заняв детей леденцами, «дядя» огляделся и, не обнаружив в комнате ничего, кроме игрушек, пожаловался: ох как не везет, приехал в Москву на один день, ни папу вашего, ни маму не увижу. Соскучился. А карточки у них есть? Есть! Так чего ж вы сидите, несите сюда!

Кукин устроился на низкой детской табуретке, ноги пришлось вытянуть. Альбом, одетый в кожаный переплет, открывался видами Знаменского, усадьбой, сценами охоты с борзыми. Клавдий Иванович первые страницы перелистал, не разглядывая, а дети не понимали его

торопливости, хотели обо всем рассказать: это дедушка на охоте, у него много собак, и стрелять он умеет.

— Да, да,— кивал «дядя Лёня»,— перепрыгнем дальше.

Любимая мамина карточка, где она маленькая, а сидит на большой белой лошади, не заинтересовала «дядю», и другая карточка, где папа маленький, во втором классе гимназии, в куртке с золотыми пуговицами, тоже оставила гостя равнодушным.

— Перепрыгнем,— предложил он.

Наконец фотография понравилась. На ней был не только папа. В центре сидел невысокий седой, как лунь, старикашка, рядом с ним стройная женщина, с круглой брошкой на черном платье, и какие-то мужчины, все во фраках, с черными баутиками вместо галстуков.

— Компания интересная,— сказал «дядя Лёня» и попробовал погтем края фотографии.

На следующей странице папа стоял у телескопа — высокий, с широко открытыми глазами, в расстегнутом пиджаке, из которого выглядывала жилетка и большой узел галстука.

Гость впился глазами в карточку, стал поглаживать ее, водить пальцем по папиному лицу, по черной бороде, пробормотал:

— Паша, как живой!

Дети переглянулись. И в эту же минуту карточка словно сама отделилась от плотного листа альбома, мелькнула в руке «дяди Лёни» и исчезла в его кармане. Он поспешно захлопнул, не долистав, альбом, взглянул отчужденно на детей и скороговоркой проговорил:

— Привет папочке! Привет мамочке!

В коридоре «дядя Лёня» столкнулся с цыней — Матрешой Алексеевной.



— Подождали бы наших,— попросила она.— Я чайку согрею.

— Спешу! — отрезал Кукин, глядя через нянину голову на дверь с металлической задвижкой.

— Спешит как на пожар,— пробурчала няня.— Разучились люди жить спокойно.

## Х

Она проспунулась от щедрого света, заливавшего комнату, от птичьего чириканья за окном. И, открыв глаза, шурясь от солнца, долго чему-то улыбалась. Если б ее спросили «чему?», она и сама не ответила бы. Просто было хорошо и светло на душе, и солнечные блики играли на никелированной спинке кровати, и даже на полу была солнечная дорожка — не сплошная, а затейливо-полосатая, потому что лучи, пройдя сквозь пучки обнаженных веток, дробились и ломались.

Не одеваясь, в длинной, почти до пят, ночной сорочке, босиком, она пробежала по солнечной дорожке до окна. Внизу, во дворе, снег размяк, истаял, лишь в тени остались рыхлые, грязновато-белые пятна, а в ямках поблескивали веселые лужицы. На берегу такого метрового озера стоял воробышек и, запрокидывая голову, пил капли весенней воды.

Ноги почували холодок, она на цыпочках добежала до зеркала и, улыбаясь самой себе, сказала:

— Варя, весна!

Правая щека еще была примята после сна, темные волосы двумя ручьями стекали на плечи, — на ночь она расплетала косы, а днем собирала в пучок.

Весна!

Варя разбежалась и плюхнулась в постель. Запели

матрасные пружины, ее мягко качнуло, и ощущения необыкновенной легкости и близкого детства проснулись в ней. Детство действительно ушло не так уж далеко — шел двадцать второй, а ей порою казалось, что оно, как маленький островок в океане, затерялось уже в глубинах памяти.

Возле кровати еще стоял продавленный стул с сетчатой спинкой, сплетенной из морской травы. У стула была своя история, и уводила она в Варино детство.

Их было в доме двенадцать — темпо-вишневого цвета, легких, с плетеными спинками стульев, один из которых Варя продавила. Добрая, покладистая мама грустно вздохнула. Отец взорвался:

— Коленками?! Почему коленками?! На нем сидеть полагается, а ты коленками!

Он принес узкий кожаный ремешок и выпорол Варю. Удары были несильные, но обида раздирала сердце.

— Вот чем садись! Вот чем садись! — приговаривал отец, опуская с размаху ремешок. — Тридцать лет служил стул, ты в пять минут его продавила. Коленками!

Закончив порку, отец спросил:

— Поняла вину?

— Поняла.

Он смотрел на нее не мигая, в упор. Она не опускала сухих глаз.

«Не боится меня, ничуть не боится, — отец повертел ремешком. — У-у, бесенок!»

Варин твердый характер проявился рано. Ей не было двенадцати, когда деревянные качели со всего маху ударили по переносице. Кость хрястнула. Варя зажала нос рукой. Сквозь пальцы сочилась кровь, окровавилось светлое платье.

Хирург вставил ей косточку из кроличьей лапки. Все обошлось. С годами появилась чуть приметная горбинка,

лишь подчеркивавшая правильные формы ее прямого носа.

И еще был случай, поставивший ее над всеми не только девочками, но и мальчишками двора. Устроили состязания. Поджигали паклю: кто дольше выдержит, не побоятся огня.

Варя стояла окаменелая, вытянув длинную худую руку. Огонь уже жег ее пальцы, резко запахло паленой кожей. И не выдержал кто-то из мальчиков, стоявших рядом, зажал паклю в пятерне, погасил...

В доме Яковлевых уклад был суровый. Отец — Николай Николаевич — потомственный золотолитейщик, работавший на заводе, завел точно такие порядки, какие царили при деде. Слово отца — закон. Если отец за стол не сел — не смей! Голоден не голоден — не смей! Хочешь выйти из дому — спроси разрешения. Хочешь привести подружку — опять же обратиться к отцу; он разберется, следует тебе с ней водиться или не следует. Из очень богатой семьи — пехорошо: чему там научишься? Бездельничать? Лень лелеять? Деньгами швыряться?

Бедные — не ровня тебе. Отец как-никак золотолитейщик, зарабатывает больше иного мастера. Помнить это надо и свое достоинство блюсти.

Уходить из дому разрешалось до шести часов вечера, по воскресным дням — до восьми. Нарушишь порядок — пеняй на себя! Отзвенели восемь ударов в гостиной, остановилась малая стрелка на восьмерке — будь любезна предстань пред очи отца и отчитайся, как на исповеди.

В наизидание Николай Николаевич рассказывал о своем детстве. С малолетства помогал отцу в мастерской. С утра — в гимназии, днем — у отца в подручных ремеслу обучался.

Окончил гимназию и пошел не в контору, на завод. И отцу половину жалованья выплачивал: и за содержа-

ние, и за учење в гимназии. С зеленой поры узпал, почем фунт соли. И выбился в люди...

Строг был Николай Николаевич. Но жесткая власть — палка о двух концах. Слабого, у кого хребет жиденький, ломает. Сильного раззадорит, толкнет на противоборство.

Ни Варя, старшая, ни Кока, младший, не стали покорными. Колю дома называли Кокой, потому что в детстве он не выговаривал «л». Внешне — толстепький, забавный, тихий. О таких говорят: «В тихом омуте черти водятся».

Успехи в гимназии у него действительно были тихие, зато дела — громкие. Закончилось все тем, что провел он бикфордов пшур к столу учителя химии, взрывом изломало ящик, стекла вышибло в классе, учитель начал заикаться. Коку выгнали из гимназии.

Отец сказал:

— Не смог учиться с людьми, сам учись. Даю тебе три года. Из дому — ни шагу. Сдашь экстерном — прощу, не сдашь — своими руками задуш, никчемный разбойник.

Другой, наверное, не выдержал бы такого режима. Николай выдержал. Отшельническая жизнь выковала у него кремневое упорство. И конечно, не справиться бы ему без помощи Вари.

Варя училась блестяще: словесник пророчил ей литературное будущее, математик называл ее Софьей Ковалевской. С шестого класса у нее настолько созрело пространственное воображение, что она доказывала теоремы, не прибегая к рисункам.

В шестнадцать лет Варя закончила с золотой медалью гимназию и поступила на Высшие женские курсы. Но гораздо раньше, еще гимназисткой, воображением девушки завладел Рахметов. Подражая ему, она закаляла волю, готовила себя к испытаниям, спала на железной сетке.

Анна Ивиповна, мать, войдя однажды поздно вечером

к дочери, крестясь, понятилась к дверям. Варя спала на жестких пружинах, подложив под голову согнутую руку, а матрац, одеяло, подушки громоздились рядом.

В ту пору Варя занималась с малограмотными рабочими на чугунолитейном заводе. Начались эти занятия, можно сказать, случайно: попросил ее студент Щепкин подменить его недели на две, он куда-то уезжал. Сам Щепкин учился в Московском университете, а в женской гимназии вел драматический кружок. Там и познакомилась с ним Варя. Человеком он был увлекающимся, во всем подражал своему великому однофамильцу, старался даже играть те же роли, что и Михаил Семенович Щепкин, — Фамусова, городничего, Подколесина. В свободные вечера вездесущий студент успевал вести общеобразовательную школу у рабочих.

— Проведете не больше двух занятий, — сказал он Варя, — трудностей не предвижу, речь идет о начальной подготовке.

После этого разговора студент как в воду канул: не появлялся ни в гимназии, ни в рабочем общежитии, а Варя после двух занятий провела и третье, и четвертое, и пятое... Учила она простейшим вещам — грамоте, арифметике, естествознанию.

Иногда молодую учительницу просили написать какое-нибудь прошение или жалобу на мастера. Так Варя узнала о штрафах, о тяжком быте и тяжком труде своих учеников.

Бескомпромиссно-справедливая, деятельная по натуре гимназистка стала выплывать в жизнь рабочих. Постепенно и они прониклись к ней доверием и однажды пригласили прийти вечером.

— А что будет вечером? — поинтересовалась Варя.

— Собирается наш кружок, — ответили ей, — поговорим о своих делах, прочитаем свои книжки.

Строгий режим, установленный в доме Яковлевых,

лишал Варю возможности уходить после шести. Пришлось применить хитрость. После ужина, попрощавшись с родителями, она легла спать, а потом через окно в Книжной комнате спустилась по дереву во двор, ушла на занятия революционного кружка.

Через несколько месяцев Варя с головой погрузилась в новую жизнь. В канун Первомая ей дали первое опасное поручение — размножить листовку.

Прислушиваясь к шагам в соседней комнате, тревожно выводила она тушью большие печатные буквы. Каждое слово — а слова были необычные, сильные, яростные — подмывало повторять вслух, произнести во весь голос:

«Царское правительство хочет, чтобы мы, русские рабочие, смиренно сидели в своих вопиющих подвалах и казармах, не мешая господствующим классам прожигать в распутстве и роскоши трудовые наши гроши! Но из могучей груди русских рабочих все громче и громче раздается крик протеста против наших эксплуататоров и их жестоких охранителей!..»

С шестнадцати лет ее величали Варварой Николаевной. Ее убежденная решимость притягивала к ней людей. Брат Кока подчинился ей беспрекословно. Религиозная мать после заутрени в старой коляске развозила по Варинскому заданию прокламации. На Высших женских курсах не без основания шутили: «У нас на курсах один мужчина, и тот Яковлева».

Все чаще за чаем она заводила недозволенные разговоры с отцом. Сначала хитрила: спрашивала такое, что Николай Николаевич почесывал затылок, пожимал плечами. Потом говорила сама.

Когда каратели полковника Мина задушили на Пресне сопротивление, когда задымили трубы заводов, когда Варя и Кока — исхудалые, осунувшиеся — возвратились домой, отец не расспрашивал, где были, что делали. Дель или два спустя, за чаем, набывчившись, спросил:

— Ну что, положили вас на лопатки?

Он не злорадствовал, хотя говорил «вас». Смутно было на душе, хотелось дознаться до истины, до которой дочь, может быть, уже дозналась.

— Нет, не на лопатки,— сказала она.— Побить побили, а на лопатки не положили. За битых, отец, двух небитых дают. Теперь мы научимся драться... Коль надо — научимся...

Варя оделась быстро. Она не любила, как выражался отец, «лелеять лень».

«В один день надо вместить два дня»,— говорила она брату.

Сегодня, в воскресенье, как будто бы и спешить было некуда, но у Вари на воскресенье что-то замышлялось. Три-четыре минуты — и она одета. Собранная по натуре, Варя давно приучила себя к порядку.

Анна Ивановна, привыкшая всех опекать, если выпадала досужая минутка, проверяла у мужа, у Вари, у Коки, все ли пуговицы на месте, не болтаются ли на последней нитке.

Варе мать не пришила ни одной пуговицы. Откроет шкаф, проверит — все аккуратно. И не было случая, чтобы платье оказалось неотутюженным, брошенным куда попало — на спинку кровати, на стул. Устала, трижды устала — все равно вещи развесит, разложит по своим местам.

Даже дома, среди своих, не причесавшись после сна, не застегнув халат на все пуговицы, не подняв его, не выйдет умываться.

У зеркала Варя не задерживалась, глянет мельком — и в путь. Было у нее два платья, правда платья из добротного материала и сшиты по ней, строго и точно, в талии суживались, облегали. И сапожки плотно обтекали чуть полноватые ноги.

Прощалась с отцом, с матерью, предупредила — «к вечеру буду», — теперь не отчитывалась, выросла, — Коке рукой помахала. Вышла из дому — весна, солнце, смотреть больно.

Возле магазина мехов Варя остановилась. На полке распластались песцы — пышные, с дымчато-голубоватыми спинами, с роскошными хвостами; серебрились чернобурки, скаля острые зубы, сверкая угольными шариками глаз.

Варя сделала вид, будто любит мехом, будто прикидывает, пойдет ли на воротник? На самом деле ее привлекла зеркальная витрина. Постоишь пять-шесть минут и все увидишь: кто позади, кто сбоку, кто идет, кто стоит. Не привести же на свидание филера!

Может быть, «свидание» — громко сказано и не очень точно. Ведь получилось это случайно. Была Варя у Штернберга, передала все, что надо, «Рабочую библиотеку» показала — вышла все-таки книжечка, для которой подбирал он сочинения по астрономии. Вспомнили свой первый разговор на улице, полистали книжку. Маленькая, а каких только рекомендаций не вместила! Тут и Маркс, и Энгельс, и Лафарг, и Бебель, и Дарвин, и Тимирязев. У писателей тоже подобран «пороховой» материал: «Конец Андрея Ивановича» Вересаева, «В учении» Мамина-Сибиряка, «Ванька» Чехова, «Наборщица» Немировича-Данченко, «Мытарство» Подъячева, «Трое» Горького, «Под праздник» Серафимовича, «За веру, царя и отечество» Ивана Вольного...

Павел Карлович, книголюб онытный, подержал книжку в руках несколько минут и все разглядел: и цену — пять копеек, доступная, и объем, и оглавление, и издательство с будоражающим названием — «Колокол». Фамплии составителей вслух прочел. Произнеся Варину фамилию, поднял на нее глаза. Она сидела рядом, собранная, спокойная, но лицо ее показалось ему непомерно усталым.



— Вы верите в интуицию? — спросила она.

— Я верю в эксперимент, — ответил он.

— А я верю. На днях меня арестуют.

— Что за вздор! — разозлился Павел Карлович. — Вы просто смертельно устали, Варя!

Он впервые назвал ее Варей. Он всех на курсах называл по имени и отчеству. И вдруг — Варя.

— Устала? — переспросила Варя, как бы сомневаясь в его словах. Но она действительно устала. В группе пропагандистов Московского комитета на свободе остались единицы. Приходилось работать за двоих, за троих, организовывать помощь заключенным, ездить на явки, торопиться с завода на завод, из общежития в общежитие.

Беседы проводить было нелегко.

— В декабре одолели нас. Что же делать теперь? — спрашивали Варю.

— Учиться драться. Вооружаться.

— Когда же мы выберемся из трущоб? — спросили Варю в общежитии трамвайного парка.

Что можно было ответить? Она сказала, что правительство «позаботилось» об этом: в Бутырской тюрьме строится новый корпус. Поэт даже стихи посвятил стройке. И прочитала наизусть:

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,

Что ты там строишь? Кому?

— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,

Строим мы, строим тюрьму.

На нарах тогда зааплодировали, хотя на собраниях такого рода не принято аплодировать, а минуту спустя вбежал дозорный, стоявший у входа в подъезд, и предупредил: «Полиция». Кто-то из рабочих растянул гармонь, негромко и хрипловато запел: «Зять на теще капусту возил...»

Варю увели чердаками. В каком-то полутемном дворе с трудом отбились от дворника. И опять пробирались переулками...

Она тряхнула головой, словно хотела отогнать тревожные мысли. За спиной зацокали копыта. В зеркальной витрине, отражавшей лица прохожих, показалась веселая лошадиная морда. Лошадка приближалась, задорно потряхивая мохнатой гривой.

Варя села в экипаж. Высокие колеса монотонно забарабанили по булыжной мостовой. Мелькнули песцы, чучело бурого медведя и пушистохвостая белка.

Заметив крайнее Варино переутомление, Павел Карлович предложил ей: «Если не возражаете, давайте в воскресенье уйдем на природу, уйдем от шума городского. Вам надо отдохнуть». — «Надо», — согласилась она.

И вот оно, воскресенье, залитое солнцем, с вызывающе ярким свечением снега, который осел, но не сошел, оберегаемый морозными утренниками. Позади Воробьевы горы, позади последняя зеленая дача, обнесенная дощатым забором.

Лес вплотную подступил к проселку.

«Я опередила его», — печально подумала Варя. И тотчас же, словно получив от нее сигнал, раздвинув ельник, выглянул Павел Карлович. Он специально пришел пораньше, побродил по Воробьевым горам, посетовал, что не захватил подзорную трубу. Но и без трубы порадовался обзору: вокзалы, как на ладони, дороги просматриваются.

После Декабрьского восстания Штернберг поневоле воспринимал любую местность как возможное поле боя...

— Варенька, давайте сразу углубимся в чащу, — предложил он. — В этом лесу не водятся ни филеры, ни провокаторы. А зайцы пусть бегают, лисицы пусть хитрят! Знаете, я брожу здесь минут тридцать и мною овладело

языческое преклонение перед землей, солнцем, ветром, лесом. Хотите, я поговорю с ними?

И, не дожидаясь согласия, он сложил рупором широкие ладони и прокричал:

— О-го-го-го-го-о-о!

— О-о-о-о,— отозвалось эхо, далеко и могуче, и, цепляясь за коряги и ветки, затухая, покатилося по весенним перелескам.

На высоких макушках деревьев под дневными лучами солнца оттаивала наледь, большие капли и хрупкие ледышки падали в снег. Под деревьями он был будто в оспе — весь иссечен мелкими дырочками.

На полянах часто встречались следы зайцев, порою следов было так много, что поляна казалась утопанной. Богатырские сосны, опустив ветви-крылья, образовывали зеленые шатры.

— Чем не шалаш? — Павел Карлович указал на разлапистую сосну, игольчатая крона которой падежно могла укрыть от дождя и снега. А Варя, заметив разбросанные под сосной шишки, подумала: «До чего похожи на рассыпанные патроны».

Вошли в березовую рощу. От обилия белостволья рябило в глазах. Березки сбрасывали скрученные витки старой кожицы. Белизна их была ослепительна, даже снег не мог конкурировать с ними.

Свернули к проселочной дороге, на которой стояли развалы. На соломе сидели мужик в потрескавшемся древнем полушубке и солдат с костылями, в мятой шинели.

Поздоровались, спросили, куда путь держат.

— В Брѣхово,— не очень охотно ответил мужик.

— А земляк из Маньчжурии?

— Японцам погу оставил.

Мужик отвечал отрывисто, через силу, смотрел испод-

любя, недружелюбно. Солдат здоровой ногой касался земли, культю положил на солому.

Штернберг и Варя опять свернули в лес. Встреча с крестьянами напомнила ему недавнюю сценку, разыгравшуюся дома...

Отчужденность между ним и Верой росла. За столом при детях они обменивались двумя-тремя малозначащими словами. Поэтому он удивился, когда Вера постучалась в кабинет, приблизилась к столу и остановилась, упрямо сжав губы, что обычно обнаруживало внутреннее возбуждение.

— Вот, читай! — протянула она листок.

Это было письмо от Леонида Васильевича Картавцева. Резко склоненные буквы и сильный нажим пера выдавали первозподность. Без привычных вступлений и расспросов он сообщал, что крестьяне сожгли две соседние усадьбы и, хотя он, Картавцев, не сидит сложа руки, все может случиться.

Павел Карлович, не произнеся ни слова, возвратил Вере письмо.

— Почему ты молчишь? — закричала она. — Может быть, ты заодно с разбойниками?

— Успокойся, не горячись, — он встал. — Разберись, кто разбойники, кто ограбленные. Если крестьяне жгут усадьбы, значит, стало невмочь...

Варины саночки с чуть заостренным носком оставляли пиящный след. Рядом, проваливаясь в вязком снегу, ложились отпечатки его башмаков. Шли молча, погрузившись в раздумья.

— Приняли нас за бар. Волками смотрят, — сказал наконец Штернберг.

Она тоже думала о мужике и солдате, которые, наверное, еще провожали их взглядами: как они поведут себя, если снова разгорится...

Привал устроили на опушке, уселись на березе, опрокинутой буреломом.

— Вы о духовной пище не позаботились? — спросила Варя. — А я позаботилась.

Она вынула из плетеной сумочки небольшой томик и протянула Штернбергу.

— О-о, — удивился он. — «Полное собрание речей императора Николая II». Где вы добыли?

— Доступно для каждого истинного патриота, — ответила Варя. — Цена пятнадцать копеек.

— Так, так, — заинтересовался Павел Карлович. — Книгоиздательство «Друг народа», Санкт-Петербург. Хорошо придумано, прекрасно.

— А у вас портрет светлейшего монарха есть?

— Каюсь, не обзавелся.

— А я обзавелась. В случае обыска меня защитит сам государь, — улыбнулась Варя.

Она погрузила руку в сумочку и вынула плотную картонную открытку, на которой государь был в форме солдата, в начищенных сапогах, с широкой скаткой, патронной сумкой на ремне. Винтовку с примкнутым штыком держала изнеженная рука со страшно оттопыренными пальцами.

В облике государя все было ordinarily: глубокие залысины на лбу, борода, усы, тусклые, неодоухотворенные, словно из матового стекла, глаза. Выделялись и запомнились черные, высокие, старательно начищенные сапоги.

— Мне эта карточка знакома.

— Не сомневаюсь, — согласилась Варя. — Она долго висела в одной из комнат на курсах. После мукденского конфуза, когда треть русской армии погибла, курсистки карточку сняли. А я вот ее сохранила. Венчепосцы всегда правы, войны проигрывают солдаты, пу, на худой конец, генералы.

— Что же, храните, авось пригодится. Все равно мне

повезло больше: я, можно сказать, видел живого государя.

Он действительно видел живого государя. В 1896 году, перед днем коронавания Николая II, в обсерваторию из университетской канцелярии пришла бумага на имя Цераского. Она уведомляла, что директору и всем подведомственным ему лицам падлежит принять участие во встрече его императорского величества и достойным образом выразить свои верноподданнические чувства.

Стараниями властей на улицы Москвы народу было скликано великое множество. Толпы набухали, как вода в половодье, и дабы «чего-нибудь не вышло такого», горожан оттеснили от проезжей дороги двумя линиями солдат и двумя шеренгами истинных патриотов.

Когда грянули фанфары, когда по Белокаменной прокатился звон колоколов, толпа пришла в движение. Пришли в движение и солдаты, оттесняя горожан к стенам домов. Тщедушного Цераского прижали к плитам особняка. Штернбергу отдавили ноги. И все же благодаря высокому росту он разглядел не только всадников в синих мундирах, покачивавшихся на конях, но и торжественный кортеж, и самого монарха...

— В данном случае,— Варя кивнула на книгу,— лучше один раз прочесть, чем пять раз увидеть.

— Пожалуй,— согласился он.

— Начинайте!

Павел Карлович, сохраняя подчеркнутую серьезность, поблескивая стеклами пенсне, начал:

— «...в этих речах, лично монархом произнесенных, раскрывается перед нами вся мощь творческого духа державного вождя народа, широкий размах его начинаний; в них должны мы искать выражение его заветных желаний, стремлений, его государственных идеалов, его неуспящих забот и сердечного попечения о благе отечества».

Предисловие было длинноватым. Автор настойчиво

внушал: невозможно понять духовный облик государя, не познакомившись с «драгоценными перлами красноречия державного оратора...».

— Переходите к перлам,— попросила Варя.

— Пожалуйста. Перл первый. «17-го января представители дворянств, земств и городов собрались в Николаевском зале... Его величество произнес следующие слова:

«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств».

— Вся речь?

— По существу вся. А вот не менее лаконичная, произнесенная в столице Польши:

«Я очень рад, что в первый раз вместе с императрицею приезжаю на пребывание в Варшаву; с особым удовольствием принимаю ваше подношение».

— И все речи начинаются словами «Я рад...»?

— О, нет, вы просто невнимательны. Во втором случае «Я очень рад». Кроме того, вовсе не эти слова наиболее почитаемы государем.

Павел Карлович с монотонной торжественностью прочитал:

— «...Я поднимаю бокал в честь наших сотоварищей доблестной французской армии...»

«Пью за здоровье лейб-гвардии Семеновского полка, моей конной батареи и всего корпуса пограничной стражи».

Он листал книгу, пробегая глазами по «я рад» и «я пью», наконец нашел описание приема в Царскосельском дворце в декабре 1905 года. Царь принимал комиссию от «Союза русского народа». О причинах смуты «на святой Руси» разглагольствовал некий Баранов, от извозпромышленников выступал Борисов.

— Читаю слово в слово,— предупредил Павел Карлович.— Слушайте и запоминайте!

«За сим государь спросил:

— Кто вы?

Борисов ответил, что он извозопромышленник и что извозопромышленники употребили все старания удержать извозчиков от забастовки.

На это государь спросил:

— И удалось?

— Удалось.

На это его величество опять сказал:

— Передайте извозчикам мою благодарность; объединяйтесь и старайтесь!»

Штернберг захлопнул книгу.

— Как хорошо, что это издано. Монарха поймали с поличным, увековечили его афоризмы, пригвоздили к печатному листу. Вы подумайте, сейчас, в начале XX века, над Россией маячит коронованное чучело, косноязычный недотепа, венценосный дурак!

— Ти-ше,— прошептала Варя, грозя пальцем.— Говорят, в Петербурге за слово «дурак» препровождают в полицию. Это намек на его величество...

Они снова углубились в лес, бродили довольно долго, пока Павел Карлович не остановился возле сосенок с обглоданной корой. Между ними темнели глубокие провалы лосиных следов.

— Прозевали лосей,— огорчилась Варя.— Давайте догоним!

Он пошел впереди, она за ним, по следу. Но там, где он делал шаг, ей приходилось делать два. Варя старалась не отставать, все более загорааясь азартом быстрой ходьбы.

Лоси, выбирая маршрут, не позаботились о своих преследователях: спускались в низины, где снегу было по пояс, где густо щетинился кустарник, взбирались по откосу оврага.

— Фу, сдаюсь,— Павел Карлович приложил к лицу платок, утирая лоб, и остановился у расщепленного молнией дуба.— Лосей не догнать.



Дуб раскололо пополам, обнажив белую сердцевину ствола, однако он, очевидно, не сдался: на широко раскинутых черных ветках держались ржавые, скрюченные, истрепанные ветром листья.

— Нынешней осенью крона еще жила, — сказала Варя.

Павел Карлович тайно, не выдавая себя, любовался ею: она стояла в распахнутом пальто, беспечно запрокинув голову. Шарф сдвинулся, обнажив гладкую шею. Лицо, тронутое мартовским солнцем, было свежо и молодо. Приоткрытый рот светился белыми зубами.

Миновав расщепленное дерево, взобрались на пригорок, очищенный от снега, робко зеленевший пучками прошлогодней травы. С пригорка увидели ручей и спустились к нему. У берега лед побурел, намок, стал ноздреватым. В центре, негромко булькая, буравила путь упругая струя.

Лоси перешли ручей вброд и скрылись на противоположном берегу. В ледяных лунках, пробитых копытами, поднялась свинцово-темная и густая вода.

Варя нарвала ивовых веток с бугорками пушистых почек и протянула их Штернбергу:

— Через неделю будет букет.

Подойдя к лункам, она вдруг замкнулась, долго разглядывала следы и, кивнув в сторону, куда скрылись лоси, сказала:

— Конспираторы они неважные, а все-таки ушли...

## XI

Его вывели на прогулку в тюремный двор. Он шел плохо, боясь упасть. После смрада одиночки свежий воздух оглушил, сдавил виски, кружил голову.

Снега на плитах не осталось, а тогда, дней семь назад, когда его еще выводили, был снег. На облезлой за-

падной стене — светлое пятно. Туда достает солнце. И когда он, двигаясь по кругу в цепочке арестантов, доходит до западной стены, солнце несколько секунд касается лучами его лица.

Лозневой сделал два или три круга, не подымая глаз. Перед ним перемещались чьи-то ноги, он видел задники с ободранной кожей, мятые, будто жеванные, брюки.

«Кто это передо мной?»

Посмотреть Лозневой не решался, потому что чувствовал на себе спрашивающие взгляды. Он и сам научился разговаривать глазами. Глянешь — и все ясно: да, били, да, мучили, но... держусь. И зачем его вывели на прогулку со своими, с той камерой, где он сидел?

Моноotonно шаркают по плитам подошвы. Кто-то кашляет. Кашель сухой, трескучий. И опять — шарк, шарк, шарк.

Идущий впереди закидывает назад руки и вздергивает ладонью. Этот жест мог означать одно: сообщи, что у тебя?

«Я не предавал!» — хочется крикнуть Лозневому, чтоб услышал весь двор. Но вместо крика губы торопливо шепчут:

— Я сказал, что оружие в церкви. Я не сказал, в какой церкви. Я больше не мог...

Шарк, шарк, шарк. Цепочка арестантов движется по кругу. Услышали? Кажется, нет.

— Я не сказал, в какой церкви, — отчаянно повторяет Лозневой и прислушивается. В обоих ушах звон. И чем больше он прислушивается, тем явственней звенит тонкая натянутая струна. — Меня били по ушам. Я ничего не слышу.

Он безнадежно смотрит под ноги. Мелькают стоптанные башмаки с ободранной кожей на задниках.

Прогулка закончена. Цепочка арестантов втягивается в проем тюремной двери. Одиночка. От окна до двери — три шага. Окно размером в обычную форточку очень

высоко, под самым потолком. Откидной стол с выцарапанной на нем шахматной доской. Откидная койка.

После карцера, после каменного мешка, где шесть суток ему не давали спать, не так уж плохо. Там, если он закрывал глаза, надзиратель шпынял в бок, прыскал в лицо водой.

И без конца допросы. Ничего не добившись, следователь тихо говорил:

— На сеанс волейбола и сеанс футбола.

Четверо здоровенных мужчин, окружив его, дубасили кулаками, толкали из стороны в сторону. Он не мог упасть: стояли тесно, на расстоянии согнутых рук. Это был волейбол.

Футболом завершалось. Били ногами, лежачего...

— Арестованный, к следователю!

Это его. Громыхнула тяжелая щеколда. Заскрипела окованная дверь. Сейчас все начнется сначала. Все, все, как уже было, а может, еще хуже, чем было. Лишь по ночам мысли уносили его из камеры. По ночам Лозневой пытался представить тех, с кем защищал баррикады. Прохоровские спальни горели. На лице Седого плясали отсветы пожара. Он командовал:

— Укладывайте оружие! Укладывайте оружие! Смазать уже не успеем!

Седой верил, что оружие пригодится. А разве он, Лозневой, не верил, когда прятал ящики под аналоем? А позавчера не выдержал, сказал про церковь. Он мечтал об одном — отоспаться. Отоспаться, а там хоть потоп, хоть виселица. От него не добьются ни слова. Его и не спрашивали, дали воды. Увели в камеру с койкой. Часа четыре он проспал. Ему приснилось, что рушится тюремная стена. Он вскочил, застонал от боли: руки, ноги, бока — все ломило и жгло...

— Позавчера вы очень устали, — тихо говорит следователь. — Мы не спросили, в какой церкви оружие.

Следователь всегда говорит очень тихо. Его шуршащий шепот, как змея, ползающая по сухим листьям. Он вежлив. И от этой вежливости так страшно, что начинает тошнить.

— Да, в церкви,— кивает Лозневой.

— В какой церкви, я прошу вас уточнить,— следователь смотрит не мигая; на лице его появляется подобие улыбки, но это не улыбка, а нечто другое — у рта, слева и справа, образуются две неглубокие трещинки.

Он сидит перед столом, нога закинута за ногу. На столе все тот же графин с водой и прозрачный стакан. Когда Лозневого пытали жаждой, следователь часто наливал себе полстакана воды и отхлебывал маленькими глотками.

Лозневой слушал, как, булькая, льется вода из горлышка графина. В глазах у него темнело, горло сдавливал спазм.

— Что ж, забыли, в какой церкви? — трещинки на лице углубляются. — Ничего, вам помогут...

Следователь дважды щелкает пальцами:

— Взбодрите память господина Лозневого. Сеанс волейбола и сеанс футбола.

Лозневой срывается со стула, растопыренной ладонью пытается отгородиться от истязателей и быстро, будто его кто-нибудь может опередить, выкрикивает:

— На Смоленском рынке, на Смоленском рынке...

Его опять уводят в камеру. Сосед за стеной упрямо выстукивает: «Кто ты? Кто ты?»

Приносят полутеплую баланду. Вкуса он не чувствует. Глодает. Надо отдавать миску.

«Кто ты? Кто ты?» — допытывается сосед.

Ночь проходит без сна. Все болит. Жестко. Стыло. Знобит, трясет как в лихорадке. А завтра — прогулка, тюремный двор, глаза товарищей...

Он заснул под утро. Его стащили с лежака и повели в ту голую комнату — без шкафов, без столов, без стульев, — где избивали пакауне. Он свалился под ударами на пол, мучительно корчась и слясь понять: за что? В его потрясенном мозгу смутно всплывали слова: «Вот тебе оружие! Вот тебе!»

Когда его облили водой и поволокли в комнату следователя, он чувствовал себя раздавленным, словно по нему проехала телега. Что-то случилось со зрением: все вокруг было неясно, расплывчато, подернуто туманом. В висках навязчиво и беспощадно отдавался стук: «Кто ты? Кто ты?»

«Кто я?» — ужаснулся Лозневой.

Раньше его били и ничего не могли выбить, ни слова, и за стеной были товарищи, а теперь нет никого, и нет его самого, Лозневого. Выпал стержень, на котором все держалось, — и воля, и дело, и жизнь.

К нему обращается следователь. Слова шуршат, как бумага: о чем он? Не видно лица с острыми трещинками у рта, не видно графина с прозрачным стаканом.

— Фамилии, адреса, клички, — наконец слышит Лозневой. — Или...

Нет, никаких «или»! Сейчас щелкнут сухие пальцы и ворвутся истязатели. Он сжался, втянул шею в туловище.

— Фамилии, имена, клички...

И Лозневого словно прорвало. С судорожной поспешностью он называл, называл, называл имена и фамилии. Причастных к тайнику с оружием и непричастных. Его трясло, ему не хватало дыхания, а он говорил... Говорил даже тогда, когда голос сорвался и в горле заклокотало, как в водосточной трубе. Лозневой внезапно обмяк и неживой массой пополз со стула. Из рта хлопьями вытекала пена, он дернулся всем телом и затих.

## XII

Из распахнутых дверей москательной лавки разило керосином. Входили и выходили люди, несли стеариновые свечи, дешевое мыло, банки. В лавке однообразно хлопал насос — приказчик в темной куртке и клеенчатом фартуке качал керосин.

Штернберг отошел от лавки. Дома в этом глухом, со щербатым тротуаром, переулке тесно жались друг к другу, во дворах кричали петухи, покачивалось на веревках белье.

Он вынул из жилета часы: Ваповский опаздывал.

Павел Карлович ни разу еще не встречался с Вановским, хотя слышал о нем много лестного.

— Человек — огонь, — говорила о нем Варя. — Шутка ли — один из девяти делегатов Первого съезда РСДРП. Профессиональный военный, подпоручик.

— Кремневый человек, — отозвался о нем секретарь Московского комитета Виктор Константинович Таратута. — Хочу познакомить вас. Убежден, вы отлично поймете друг друга.

Прежде Таратута неизменно удерживал Павла Карловича от активной работы:

— Потерпите, всему свое время. Через обсерваторию идет связь с Женовой. Мы не можем рисковать. Уж очень вы приметны. Придет час — сами вас позовем.

Тогда, отдавая дань логике Таратуты, всматриваясь в его лицо, беспощадно изрезанное складками, Павел Карлович ощутил, какая непомерная тяжесть лежит на плечах этого человека. Тысячи нитей сходятся у него. Сотни судеб, напряженных, трудных, торящих путь по самому краю пропасти, находятся в его поле зрения. И обычные слова — «придет час — позовем», дополненные взглядом, в котором можно было прочесть: «ничего не поделаешь, так надо» — многое объясняли.

Час, видимо, пришел.

— Нужны, как воздух,— признался Виктор Константинович.— Вы звездочет, отшельник, никому и в голову не придет, что вы занимаетесь разведкой, а мы хотим, чтобы вы возглавили нашу разведку по подготовке к В. В.

Московские большевики знали: В. В.— вооруженное восстание...

Встреча была назначена в окраинном переулке возле москательной лавки. Пунктуальный Павел Карлович уже нервничал: Вановский опаздывал на четверть часа.

Из двора, где висело белье, откуда доносилась ленивая перебранка женщины, вышел дворник в белом фартуке с бляхой, зашаркал по кривому, битому тротуару колючей метлой. Он, конечно, заметил незнакомого господина, праздно прогуливающегося по переулку.

«Может, пора уходить?» — подумал Штернберг, по эту минуту у самого тротуара, сдерживая горячую лошадь, затормозил лихач.

— Ваше сиятельство,— обратился он к Павлу Карловичу,— не желаете с ветерком?

— С превеликим удовольствием. А лошадь резвая?

— Овсом кормлю.

Лошадь с места рванулась, подгоняемая щелчками кнута.

— Все в порядке? — спросил сосед Павла Карловича и, протягивая руку, назвал — Василий.

— Эрот,— представился Штернберг.— Кажется, в порядке.

— А мы с трудом оторвались от хвоста.

Василий вынул из пиджака гребень, круглое зеркальце и, держа его перед собой, начал причесываться. Павел Карлович догадался, что он с помощью зеркальца проверяет, нет ли позади чего подозрительного.

— Все-таки оторвались,— успокоенно подтвердил Вановский.

Они ехали долго, свернули с дороги на лесную просеку и остановились на берегу озера. Лихач остался на берегу, принялся распрягать лошадь. Василий в зарослях можжевельника отыскал длинный шест, увенчанный крюком, подтянул лодку, спрятанную в камышовой гуще. Поплыли.

Когда высадились на лесистом острове, Штернберг удовлетворенно отметил: Вановский — Василий быстр, ловок, подтянут, выправка офицерская, взгляд цепкий.

Устроились на пеньках с таким расчетом, чтобы видеть гладь озера, а самим оставаться невидимыми.

— Озеро безлюдное, — сказал Вановский. — Рыба в нем не живет. Крестьяне считают его богом проклятым. Хотим тут взрывчатку испытывать. Сейчас появится Юрьев — наш командующий ручной артиллерией.

Было удивительно тихо, безветренно. Озеро не плескалось. Оно словно заснуло в зеленой чаше берегов.

В былые времена Павел Карлович мало интересовался военными проблемами. Этот интерес пробудила русско-японская война. Однако по-настоящему мысль начала работать, когда в Швейцарию пришли сообщения о восстании в Москве. В воображении возникали знакомые улицы, изломы кривых переулков, просторы площадей: массивные дома, похожие на крепости.

Настигнутый потоком новостей, он достал в женевской библиотеке план Москвы и пытался легкими штрихами карандаша воссоздать картину боев. Из этого ничего не получилось. Уж очень путаны были сообщения газет: десятки «что? как? где?» оставались без ответов.

Штернберг вспомнил, что весной, в самом начале его заграничной жизни, социал-демократическая газета «Вперед» напечатала статью об уличной борьбе генерала Коммуны Густава Павла Ключере с предисловием Ленина. Владимир Ильич безошибочно определил: старая статья созвучна новому времени.



Генерал советовал, если дело дойдет до уличной борьбы, прежде всего занимать главные пункты местного управления, банки, полицию, почту, овладеть средствами телеграфной связи, домами, примыкающими к стратегическим объектам.

Клюзере рекомендовал захват угловых зданий, и в первую очередь верхних этажей, подсказывал, что битое стекло и доски с вколоченными кверху острием гвоздями преградят путь коннице.

Павел Карлович без колебаний принял мысль Клюзере:

«Человек, доведенный до отчаяния, который борется из-за хлеба для себя и своих детей, стоит десятка солдат, сражающихся по приказу своих офицеров».

Вернувшись в Москву, Штернберг не раз мысленно обращался к статье Клюзере. Разве шмитовская дружина во главе с Николаевым не доказала, что каждый рабочий боец стоит десятерых солдат, попукаемых офицером?

Павел Карлович настолько уверовал в неизбежность близкой схватки, что, проходя по улицам, невольно обращал внимание на угловые дома, на верхние этажи, на сквозные дворы, на линии телеграфной связи. На Воробьевых горах ему показалось, что кто-то специально создал это место для восставших: такой обзор! Такая позиция!

Свойственная ученым потребность сводить свои наблюдения в единую систему, анализировать факты, доказываться до «ядра ореха» не давала Павлу Карловичу покоя. Он понял: на случай восстания Москву надо знать, как шахматист знает клеточки на доске, где каждый ход изучен, осмыслен во взаимосвязи с другими ходами...

— Юрьев где-то завяз,— сказал Вановский, взгляды-вая на пустынную ширь озера, сломал прутик и очистил его от листьев.— Введу вас пока в курс дела.

— Пожалуй,— кивнул Штернберг.

История Московского военно-технического бюро была

коротка. После поражения Декабрьского восстания каждому стало ясно: чтобы побеждать, надо уметь драться. А поскольку плетью обуха не перешибешь, необходимо оружие и люди, владеющие оружием.

Прежде тактика уличных боев не разрабатывалась, разведка сил противника не велась, уязвимые места в его опорных пунктах не изучались.

— Как видите, объем работы немалый.— Вановский отогнал прутиком назойливо жужжавшего шмеля.— И охранка уделяет нам немалое внимание.

Штернберг следил за подвижным лицом Василия: когда он рассказывал, двигались не только губы, шевелились, то подымаясь, то опускаясь, брови, глаза временами становились узкими как щели, будто прицеливались.

Вановский перечислял фамилии арестованных товарищей. Павел Карлович не знал студента Чесского, в комнате которого обнаружили химическую лабораторию, не знал и Комарова, схваченного охранкой на Долгоруковской улице с протоколами и архивом военно-технического бюро.

На след Комарова напали месяцем раньше ареста — в деревне Выхино, под Москвой, где Комаров устроил что-то вроде склада, отыскиали гимнастические гири, начиненные взрывчаткой.

— Сети поставлены густо,— констатировал Павел Карлович.

— К счастью, Комаров на допросах нем как рыба,— продолжал Вановский.— Расшифровать конспиративные клички охранка не смогла; на днях полиция ворвалась в квартиру Сергея Трухачева, где мы создали бомбистскую мастерскую. Трухачев тоже в тюрьме. Достаточно? — Вановский швырнул прутик в озеро и посмотрел на Штернберга.

«Порывист,— подумал Павел Карлович,— и, видимо, обеспокоен задержкой Юрьева».

Вановский поднялся с пенька, походил, куда-то вглядываясь и к чему-то прислушиваясь. Шаги у него были легкие, фигура подтянутая, глаза проворно схватывали виденное. Он пытался не показывать своего беспокойства и заговорил снова:

— В марте я встречался с Ильичем. Наши задачи он сформулировал предельно кратко и предельно ясно.

И Вановский, отсекая фразы взмахом ладони, повторил слышанные слова:

— «Новый взрыв мы обязаны встретить вооруженными, организованными по-военному, способными к решительным наступательным действиям!»

Павел Карлович с ревнивой завистью представил себе, как слушал Вановский Ильича. Именно представил. Он так часто думал о нем, с такой неутолимой жадностью вчитывался в его статьи, что порою ему казалось, они давно знакомы.

Он ничем не обпаружил охватившее его чувство и лишь сказал:

— За баррикадами победу не высидишь. Надо брать быка за рога.

Вановский предостерегающе поднял руку:

— Я слышу шаги.

Кто-то небыстро приближался из глубины острова. Это было неожиданно, так как по воде лодки не проплывали и лихач, оставшийся пасти лошадь, сигнала не подавал. Значит, кто-то приплыл сюда раньше, чем они. Кто?

Захрустели раздвигаемые ветки. Показалась белая лохматая собачонка на длинном поводке, а вслед за нею появился и господин в кричаще пестром костюме, в черных очках, с роскошной, стливающей лаком тростью.

Походка у господина была шаркающая, семенящая, ноги в коленках не сгибались, а как бы подламывались; казалось, вот-вот он упадет.

Собачка пегромко зарычала. Хозяин успокоил ее и обратился к незнакомцам сам:

— Прощу покорно извинить меня, милостивые государи, лодка возле вас не причаливала? Нет? Плохо, плохо, ой как плохо!

Господин говорил, почти не открывая рта, словно выплевывая слова.

— Плохо, плохо, ой как плохо! — повторил он, вздергивая губами и бросая подряд три «ил».

Вановский внимательно изучал гостя, а гость, видимо, не собиравшись уходить, стал рассказывать о своем замысле. Он намеревался построить на острове трактир «Робинзон» с гротами и пещерами, с высокой плоской крышей, с которой откроется вид на озеро.

— Неплохо, а, неплохо? — добивался господин одобрения незнакомцев.

— Обреченное дело, — твердо сказал Вановский. — Озеро без рыбы. Оно проклято. Никто сюда не ноет.

Гость ничего не ответил, замотал головой, затряс обвислыми рыжими усами и побрел к ближайшему пеньку. Прежде чем сесть, он спросил:

— Я не помешаю вам, милостивые государи?

Штернберг опередил Вановского:

— Нам очень приятно ваше общество, но если вы цените откровенность, то не утаю: для меня высшее благо — уединение.

— Понимаю, понимаю, — господин в нестром костюме не сел и, пообещав еще прийти, удалился на подламывающих погах со своей собачонкой.

— Странный тип, — сказал Вановский, вернувшись к своему пеньку. Он ходил посмотреть, далеко ли удалился гость, и удивился, увидев, что на траве расстелена белая скатерть, на складном стуле — кожаный саквояж, из которого господин достает угощения для себя и собачонки. — Или вывели новую породу шпигов, или это не шпик.

— На филера не похож,— подтвердил Штернберг.

Они продолжали беседу, хотя прежнего покоя не было. Во-первых, по неизвестным причинам не явился Юрьев; во-вторых, рядом устроился чужой человек. Если даже он не шпик, а будущий владелец «Робинзона» — хрен редьки не слаще. Взрывчатку испытывать на острове не придется.

Время перевалило за полдень. На неподвижной глади озера не появилось ни одной морщинки, не вскрикнула ни одна чайка, не всплеснула ни разу рыба.

— Неприятная тишина,— сказал Вановский.

— Неживая, неестественная,— отозвался Штернберг.

Тишина действительно была неестественной, мертвой, она не умиротворяла, а, наоборот, заставляла напрягаться, вслушиваться, ждать чего-то непредвиденного. Даже облачко в небе — набухший белый комок — не плыло, оно словно прилипло к серовато-синему пологу.

Они продолжали разговор, временами замолкая и пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук или шорох.

Вановский поделился соображениями, поддержанными Московским комитетом. Все сходились на мысли, что военно-техническое бюро можно разделить на три отдела. Вановский брал на себя издание пособий и инструкций по военному делу, Штернберг — разведку, за Юрьевым оставалась «ручная артиллерия», разработка и хранение новых видов бомб.

— Что же, скелет есть,— подвел итог Павел Карлович.— Разведку постараемся поставить основательно, с трезвым учетом обстановки и с научной дотошностью.

«Наконец-то заговорил»,— Вановский цепким взглядом скользнул по Штернбергу. Ему нравилось, что его новый соратник, видимо, из тех, кто высказывает десятую долю своих мыслей. Он не любил словообильных говорунгов, не без основания полагая, что очень часто они делают крайне мало.

— И еще мне кажется,— продолжал Павел Карлович,— надо искать новые формы конспирации. Новые, потому что обстановка новая, охранка как сбесившаяся собака.

— Быть по сему! — Вановский ребром ладони рассек воздух. В этом жесте были и решительность, и готовность к активному действию.— А теперь,— он поднялся, отыскал шест с крюком, бросил его на корму,— подру-поздорову надо убираться с острова. Далее ждать бесполезно.

Вановский легко и пружинисто прыгнул на дно плоскодонки, она закачалась под ним, он что-то сказал Штернбергу, но из глубины острова, заглушая слова, покотился гул. Земля дрогнула от взрыва, и грохот, такой внезапный среди тишины и безлюдья, жестко ударил в уши.

Через минуту они уже пробирались к месту происшествия. Пахло жженым, над кустами курилось синее облачко.

У березы, привязанная к стволу, испуганно жалась белая собачонка. На спинке раскладного стула висел пестро-серый пиджак, на саквояже лежали черные очки и обвислые рыжие усы.

Листья ближайших кустов были посечены осколками.

Возле дерева, расщепленного взрывом, склонился мужчина. Он измерял глубину воронки.

— Назовем бомбу ВТБ — военно-техническое бюро, пойдет? — спросил, распрямляясь, мужчина. В глазах его плясали чертики, он хотел и не мог скрыть своего торжества, своего явного успеха. Еще бы! Даже Вановский, с его репутацией всевидящего, с его цепким, пронизывающим взглядом, на ходу разгадывающий самые сложные загадки, теперь молчаливо рассматривал расщепленную осину.

— А сила взрыва и радиус действия вам известны? —

поинтересовался Павел Карлович, догадавшийся, что произошло здесь несколько минут назад.

— Нет, не известны,— последовал ответ, и Штерпберг ощутил пожатие крепкой руки: — Юрьев.

### *XIII*

#### *РАССКАЗ*

#### *МАТРЕНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ*

Человек устроен нескладно, ему не угодить: и то не так, и это не этак. С детьми, бывало, уходишься за день, к вечеру ворчишь: нет, мол, на вас утомону, когда спать уляжетесь? А вот забрала их Вера Леонидовна на лето, до осени увезла в Знаменское, и скучно стало. Ну какая я няня, ежели не нянчусь?

Павел Карлович в своей башне сиднем сидит или разъезжает где. Вроде бы и хорошо одной — живи не тужи, ни забот тебе, ни хлопот. Но без забот и без хлопот совестно. И грустно. Про деревню свою вспоминаю. Не великое царство-государство — избы по пальцам сосчитать можно, но своя она, родная, каждый пенек в округе знаешь, каждый поворот Вертушинки знаешь, а речка наша вертлявая, от нее и деревне имя досталось.

Да что уж судить-рядить, хороша ли, плоха ли родина. Век бы мне там вековать, да беда случилась. Молнией избу сожгло. Старик от ожогов помер. Одна осталась, как былинка в поле.

Поблизости на даче люди из города жили, хорошие, сочувственные, они и посоветовали: поезжай, Алексеевна, в Москву, в няни наймись, в тепле будешь жить, на кусок хлеба себе заработаешь.

Послушалась. Поехала. И верно, устроилась неплохо. Семья добрая, и он, и она грамотные, он и вовсе уче-

пный, за звездами наблюдает. И красивые оба. Она писаная красавица, из благородных, он мужчина солидный, дюжий в плечах, как наш Данила, кузнец вертушинский.

И я, видно, пришлась в семье. Все ко мне уважительно: Матрена Алексеевна, Матрена Алексеевна.

В каждом доме, как в монастыре, свои уставы. Я хозяйина поначалу «хозяином» хотела называть, так он обиделся. Никакой я не хозяйин, говорит, нет у меня во владении ни заводов, ни лавки, величайте меня по имени и по отчеству. А больше промеж нас недоразумений не было.

С виду Павел Карлыч хмур немного, улыбается редко, а в душе он добрый. Первые дни, помню, плохо мне спалось на новом месте. Постель мягкая, кручусь-верчусь, заснуть не могу. Узнал он про это и говорит мне:

— Вы, Матрена Алексеевна, наверное, привыкли в деревне на высоких подушках спать. Так возьмите две подушки. Вера Леопидовна на низкой подушке спит. А вы человек немолодой, в старости привычки ломать трудно, да и ни к чему это.

Случай вроде бы и пустяковый, но человека иной раз и через мелочь увидишь. Меня ведь не больно-то жизнь баловала — дорожка моя житейская не сахаром посыпана.

«Раскудахталась,— сказал бы мой старик.— Бабе не поплакаться, что попу не помолиться».

Ну, не буду былое поминать. Одно отрадно: в старости к хорошим людям прибилась. И не только он и она — и дети у них хорошие. Бывает — не без того — соржничают, дети остаются детьми. Разумение у них детское. Пускай порезвятся в малолетстве.

Павел Карлыч любит их без памяти. Уж на что он человек занятой, ни дня у него, ни ночи, а урвет минутку — и к детям. То книжку читает — голос веселый становится, молодой; то на кларнете им что-нибудь сыграет,



то вырезает всякие картинки, клеит домики, деревья, человечков цветных.

Любить любит, но резоны свои соблюдает. Старшенькой, Тамаре, велел научиться рубашки гладить.

— Куда, — говорю, — ей с горячим утюгом, руки пожжет, рубашки спалит, вырастет — научится.

Он мои доводы и слушать не захотел:

— Один раз пожжет руки, другой раз осторожнее будет. Не растить же безрукую.

Тамара, она старшенькая, а Ляля вовсе клоп, так он ей велел по утрам кофе кипятить и самой спиртовку разжигать.

Ляля девочка шустрая и норовистая, десять раз сварила, пока дело в охотку было, на одиннадцатый губки надула: не желаю, мол, с кофейником возиться, сам вари!

Посмотрел он на нее строго, подхватил на руки и к зеркалу: а ну, гляди на себя! Видишь — злая и красная, как индюк. Не будет мне больше никогда эта злючка кофе варить, сам буду кипятить!

И ушел на работу.

Не порол, не наказывал. Десять слов сказал. А Ляля весь день проплакала. И стала как шелковая, прощение выпросила.

И опять же с Лялей другой случай приключился. Как снег стаял, нашли мальчишки под забором револьвер с пулями. Должно быть, кто из рабочих бросил, когда от жандармов спасался. Развели мальчишки огонь и давай пули в костер бросать.

Прибежала Ляля, лица на ней нет, рассказала про пули. Я к Соколову, к старшему дворнику. Он, конечно, забрал револьвер и пули забрал, в полицию отнес. Мальчишкам дома трепку устроили.

Им бы покаяться — и делу конец. Так они решили Лялю нашу вещичками своими пакнуть и отдубасить по первое число. У них это «темная» называется.

Вижу, сникла девочка. Бывало, домой с улицы не загонишь, а тут носу во двор не кажет. Наконец рассказала отцу про все. У меня на душе отлегло: уж он-то заступится. А он и бровью не повел. С пулями, говорит, не шутят, об этом открыто и сказала бы мальчишкам, открыто предупредила бы: кончайте, не то взрослых позову, а ты потихоньку все сделала, наябедничала, за няню спину спряталась. Ступай к своим приятелям и все Расскажи. Ступай! И не дрожи, не прячься. Пусть отдают тебя для науки!..

Эх, Матрена Алексеевна, распелась ты, как соловей, па детей наговоры складно наговариваешь, лучше вспомни про свою промашку. Вспомни, как тебя Павел Карлыч уму-разуму учил. Было такое? Чего греха таить — было.

Заявился однажды незнакомый мужчина. самого дома пет, Вера Леонидовна тоже в отлучке, а гость сродственником назвался, дядей. Дядя так дядя, я-то откуда знаю?

Приходит Павел Карлыч домой, ему дети кричат: дядя был, карточку унес, ждал тебя — не дождался.

— Какой дядя, какую карточку? — Павел Карлыч лицом помрачнел, в альбом заглянул и будто осекся, будто горячим обожгло. Потом уж меня, старую, вразумлял, чтоб незнакомых не пускала, мало ли кто сродственником назовется, вор или грабитель и не такое скажет.

— Ладно,— говорю,— не згорчайтесь, вы человек грамотный, не то что я, если даже сродственник дальний, пятая вода на киселе, напишите письмо, неужели не вернет карточку?

Вот тогда он и разошелся:

— Заладили вы, Матрена Алексеевна, сродственник да сродственник. Никакой он не сродственник. Жулик он. И больше никого в дом не пускайте.

Я хоть старая, но понятливая: дала промашку. И на посу себе зарубила: явится иной какой незнакомый, извижусь, попрошу в другой раз прийти. В дом не пушу.

Забылась та история. И слава богу, что забылась. А па душе предчувствие нехорошее. И сон приснился. Приснилась мне рыжая хохлатка, курица вертушинская. Куда-чет на всю деревню, пыжится, снесла яйцо — большое-пребольшое, как утиное. И опять яйцо. И так пять раз.

Проснулась, деревенские приметы вспомнила. Мясо приснится — к болезни, увидишь во сне яйца — кто-то явится. И представьте, сон в руку!

Я и почаявничать не успела — стучат. Вера Леонидовна с детьми в Знаменском, Павел Карлыч куда-то на три дня уехал. Кого нечистая несет?

Стучат громче, настойчивее, и голос Соколова слышу: — Открой, Алексеевна, не упирайся, власти пришли.

Пришлось отворить. Ввалились сразу четверо, меня пнули грубо, за ними Соколов семенит, картуз сбросивши. Я было объяснять начала — не велел, мол, Павел Карлыч посторонних пускать, а они — будто уши заложило.

Господи, что началось в доме! Живого места не оставили: шарили в кроватях и под кроватями, в кухне во все горшки и банки заглядывали, кладовку вверх тормашками перевернули. Глаза б мои этого не видели!

Добрались до шкафа Веры Леонидовны. У меня душа в пятки ушла. Нащупают шубу — унесут. А шуба, поди, не одну и не две красненьких стоит.

Стою не дышу. Распороли простыню (мы зимние вещи от моли в простыни зашили), подкладку ощупали сверху донизу. Закрыли шкаф. Ничего не взяли. Слава богу!

Больше других широконосый усердствовал. Нос у него и вправду, словно кувалдой расплюснутый. И глаза голодные, как у волка. Поначалу мне почудилось: видела я его где-то. Вспоминала, вспоминала и не вспомнила. Старость не радость, голова дырявая, ничего в ней не держится, как вода в решете.

Докопался широконосый до альбома. Открыл страни-

цу, где карточка выдрана, и ухмылка по физиономии поползла. Противно ухмылялся, кожа от пота блестела, будто жиром смазали.

Ах, думаю, так это же тот самый, что сродственником назвался, каторжник, лихоимец, была б моя воля — ва-ром бы тебя окатила, чтоб шкура твоя поганая облезла.

А ему, бесстыжему, все трын-трава. Как пес, все углы обнюхал, железную пластинку возле печки выворотил. Эту железку по моей просьбе Павел Карлыч приколотил, чтобы пожару не случилось, если уголек выскочит.

Забрались и в кабинет. Лучше б глаза мои этого не видели. Да я в кабинете пыль стираю — не дышу, не дай бог бумажку какую сдвинуть или переложить на столе! А они хуже кротов все изрыли.

Эх, Соколов, это он мне мозги забил: «Власти пришли». Да какие это власти, хуже мужиков деревенских наследили, один так и вовсе темный невежа — из носа сопли двумя пальцами фырть на пол. У нас, в Вертушине, порядочный крестьянин и на конюшне такое не делает.

Слава богу, всему есть конец. Напаскудили, как могли, ничего не нашли, засобирались восвояси. Золото, что ли, искали или деньги?

Подошел ко мне бесстыжий, который сродственником назывался, от усердия морда красная, глаза свои злые выпучил:

— Выкладывай, где что хозяин прячет? Слышишь?!

Я отвечаю:

— Слышу, не глухая, бог миловал. А прятать моему хозяину ничего не надобно, он не ворует. И по чужим квартирам не шастает. Он человек порядочный...

С чем пришли эти власти, с тем и ушли. Им что?! Это нам, бедным, от власти одни напасти. И хуже всех мне. Ну что я, старая дура, скажу Павлу Карлычу?

## XIV

Он вернулся перед вечером усталый, но довольный. Поездка оказалась удачной. Цераский, правда, колебался — отпускать или не отпускать, повод для отлучки и действительно был жидковат.

— Зачем вам искать новое место для практики студентов, — недоумевал он, — если нас старое вполне устраивает?! От добра добра не ищут.

— Старое не худо, — парировал Штернберг, — но почему бы хорошее не заменить еще лучшим? Зачем довольствоваться тем, что есть?

— Поезжайте, — неуверенно сказал Цераский, пожав плечами.

Крылатское с его высокими холмами, малоудаленное от Москвы, было прекрасным местом для практики студентов-астрономов. В роще обычно разбивали лагерь. Палатки белели среди хвой, под рукой сушняк для костров, родниковая вода для питья, холмы, удобные для обзора. Все это Павел Карлович понимал не хуже Цераского. И отправился он в путь вдоль Николаевской железной дороги вовсе не в поисках места для практики студентов. Смысл был иной — «на случай В. В.».

В дни Декабрьского восстания Николаевская дорога подвела: по ней пришли в Москву эшелоны Семеновского полка, эшелоны карателей, утопившие в крови город. Взять на учет все мосты, виадуки, скрытые подступы к железнодорожному полотну, чтобы в любую минуту остановить движение или, наоборот, поставить охрану, обеспечивающую движение, — вот задача, порученная Павлу Карловичу. Выезд на рекогносцировку давал ему и дополнительную возможность разработать толковые инструкции для разведчиков.

«Система, во всем необходима система» — двух мнений на сей счет Штернберг не допускал, об этом он гово-

рил на острове и Вановскому. Надо поездить, поглядеть, подумать, рассчитать. Тогда все станет на свои места.

Летний зной, пешие переходы, тряска в случайных колясках по пыльным проселкам изрядно утомили. Он предвкушал счастливые минуты, когда подставит голову под струю воды, когда приятно зашиплет мыльная пена, освежая и будоража.

Соколов во дворе церемонно поклонился. Никогда Соколов так не кланялся. Что это с ним?

Матрена Алексеевна, отворившая дверь, отступила на шаг и вымученно заулыбалась, виноватая и встревоженная.

— Что-нибудь случилось? — спросил Павел Карлович и шагнул в кабинет.

С первого взгляда все стало ясно. На книжных полках царил хаос. Рядом с пятым томом «Энциклопедического словаря» стоял тридцать первый. Золотые корочки Брокгауза и Ефрона то непомерно выпирали, то были вдвинуты в глубину полок.

— Так, так, — проговорил Штернберг. — Значит, опять пожаловали родственники.

Матрена Алексеевна молча стояла в дверях.

На столе как будто изменений не произошло. Впрочем, чернильница из правого угла переместилась в левый, а он ставил ее справа, так удобнее. На перекидном календаре вместо шестого августа 1906 года, дня отъезда на Николаевскую дорогу, — семнадцатое февраля.

Павел Карлович побарабанил пальцами по чернильнице. Он мгновенно подмечал малейшие перестановки на столе. Он не понимал тех своих коллег, которые едва видны среди нагромождений книг и рукописей и ревниво оберегают так называемый творческий беспорядок. Он поддерживал «творческий порядок». Стол, по его мнению, должен быть чист и гол. Перед глазами — бумага. И книга, нужная в данный момент. Все постороннее отвлекает.

Закончив работу, он убирал исписанные листы в ящики, книги — на стеллажи. Что же это за бумажка? Ага, выписка из уголовного уложения:

«Виновный в насильственном посягательстве на изменение в России или в какой-либо ее части установленных законами образа правления или порядка наследия престола или на отторжение от России какой-либо части наказывается смертной казнью. Если, однако, такое посягательство обнаружено в самом начале и не вызвало особых мер к его подавлению, то виновный наказывается срочной каторгой».

Пугают! Нервы взвинчивают! Подкапываются!..

Он прошелся по кабинету и, увидев в дверях притихшую Матрену Алексеевну, сказал:

— Перемельется — мука будет. Грейте, Алексеевна, воду, смою дорожную пыль, почаяевничаем!

Первое возбуждение прошло. Теперь можно было поразмыслить о случившемся.

Обыск... Самый настоящий обыск... Но почему так, когда дом пуст? Неграмотной няне ордер на обыск показывать не надо. Значит, официального ордера нет? Значит, фактов, чтобы получить такой ордер, тоже нет?

И все-таки пришли. Дерзнули. Какой же из этого вывод? Кому-то дьявольски хочется найти обличительный материал. Роятся в ящиках, в постели, в книгах, выдирают из альбома карточки, приставили филера.

Как же ответить на этот вызов?..

Павел Карлович ничего не знал о тайных пружинах охраны. Даже Клавдий Иванович Кукин, стоптавший толстые подошвы башмаков, преследуя как тень приват-доцента, не в состоянии был разобраться в хитроумных замыслах шефа.

Один Медников знал, чего хочет и чего добивается. Филеры из Женевы донесли: приват-доцент Штернберг

трижды побывал на улице Каруж, в доме № 91, где размещалась читальня большевистской библиотеки.

Что привело его туда — интеллигентское любопытство или дела?

Ездил он и в Шильонский замок. Интересовался подземной тюрьмой, где томился гражданин Женева Бонивар Франсуа. Подолгу стоял у дорожки, протоптанной Бониваром вокруг одной из колонн, рассматривал орудия пыток.

— Почтище, чем в России, — сказал Штернберг.

— Почтище, — согласился его спутник.

Спутника опознать не удалось.

Филерами зафиксировано, что приват-доцент покупал в книжных магазинах социал-демократическую литературу. По возвращении в Россию оживилась переписка Штернберга с границей. Да, понятно, естественный обмен научной информацией, деловые контакты. И все же...

Прямых улик не было. Была питуция, тот самый собачий нюх, за который ценили Медникова. А он терпеливо расставлял сети, веруя, что рано или поздно улов будет. Он даже осмелился на собственный страх и риск, без визы прокурора, произвести обыск. После разгрома восстания не совсем законные и совсем незаконные действия сходились с рук...

— Вода готова, — сообщила Матрена Алексеевна.

Он кивнул ей: мол, погодите, занят. В руке появилась ручка, он сдвинул вправо чернильницу, обмакнул перо и начал рисовать человечка с большими, похожими на шары, боксерскими перчатками. Павел Карлович от кого-то слышал, что боксеры практикуют бой с тенью. Перед ним не было даже тени. Был призрак. Неуловимый, невидимый, следующий по пятам. Сегодня этот призрак боится открытого боя. Стало быть, надо навязать ему открытый бой.



Перо скользнуло по бумаге, и появился второй человек, опрокинутый навзпичь, раскинувший руки.

— Надо наступать,— сказал самому себе Павел Карлович.— Только не молчание! Молчание равносильно признанию своей виновности.

Он быстро заштриховал опрокинутого человечка, и тот, погребенный, перестал существовать. Штернберг вынул лист белой бумаги, четко и твердо вывел: «Ректору Московского Императорского университета...»

Прощение по выражениям и подбору слов напоминало обвинительный акт. Речь шла об обыске, произведенном по-воровски, скрытно, «в его отсутствие и при необычных обстоятельствах». Приват-доцент настоятельно просил выяснить причины бесцеремонного вторжения в жизнь ученого и решительно пресечь шельмование существующего правопорядка.

«Быть по сему»,— вспомнил Павел Карлович слова Вановского и расписался.

## XV

Кружка была фаянсовая, тяжелая, с цветными рисунками. Среди зеленого леса на горе темнел замок со стрельчатыми окнами, черепичной крышей, островерхими башенками. Замок был удивительно похож на настоящий.

Такие замки, сохранные временем, он видел не раз за Веймаром, за Герой. Среди высокой кроны лесов, покрывших горные массивы, они производили впечатление карликовых построек.

Штернберг знал, что тюрингские пихты достигали пятидесяти метров в высоту, даже гладкоствольные богатырские буки не могли с ними конкурировать, а дубы, могучие старожители, из-за широко раскинутых ветвей и вовсе казались коренастыми.

Из таких кружек в маленьких немецких кабачках румяные бургеры пили баварское пиво. Они утирали губы, ставили массивную посудину на картонные кругляши, перевели дух и опять пили.

Павел Карлович купил кружку на память о виденных местах. Таможенный чиновник на границе заинтересованно повертел ее в руке. Его, наверное, смутил вес кружки. Он дважды ударил по толстому дну ключом, прислушиваясь к звуку. Звук, видимо, никакой пищи для дальнейших исследований не давал.

Дома необычная кружка, рисунки на ней разожгли детское любопытство. Леночка допытывалась, сколько комнат в горном дворце, живут ли там дети и можно ли на конке доехать до самой макушки горы или надо идти пешком.

— Папа,— любопытствовала она,— а облака задевают башенку? А ты видел их близко-близко? Ты мог их потрогать рукой?

Тамара, разглядывая рисунки, затеяла с матерью трудный разговор. Павел Карлович умывался, дверь в ванную была приоткрыта, и он услышал, как дочка спрашивала:

— Мама, ты хотела бы жить с папой в этом небесном замке?

— Не знаю,— ответила Вера.

— Мама,— не унималась дочка,— а ты в ссоре с папой или не в ссоре?

— Не болтай,— ответила Вера.

— Я не болтаю. Вы так редко разговариваете.

— Папа всегда занят.

— Не всегда.

— Мы с папой очень разные, Тома.

— Все люди разные.

Конца разговора он не расслышал. Потом Вера уехала с детьми в Знаменское. Дом опустел; высокая фаянсо-

вая кружка перекочевала в обсерваторию, в башню. Павел Карлович использовал ее как цветочницу. Правда, цветов он не покупал, а поставил в кружку пучок ивовых веток, которые наломала Варя у ручья с лосиными следами.

«Через неделю будет букет», — пообещала тогда Варя.

Шарики почек скоро лопнули, проклюнулись листья. В кружке зазеленел весенний букет. Жаль, Варя ни разу его не видела. Ее арестовали спустя несколько дней после их загородной прогулки, схватили на Тихвинской улице. Один из рабочих — он шел по противоположной стороне тротуара — видел, как двое догнали Яковлеву, как спустя несколько минут подкатила полицейская карета. Скрыться Варя не успела, юркнуть в ближайшие ворота не смогла — в вечерние часы дворники закрывали ворота на засовы...

Раза два в неделю Павел Карлович доливал в кружку воду, листья окрепли, выросли. Варя не возвращалась. Первое время, входя в аудиторию, он поглядывал в сторону окна. Место ее никто не занимал.

Сотая статья уголовного уложения грозила смертной казнью. Но первые же вести из тюрьмы оказались утешительными. Варя заявила следователю, что отвечать не будет, пока своими глазами не увидит юридически обоснованное право на арест.

Показания Лозневого потеряли силу вместе с его смертью. Единственный свидетель отошел в мир иной.

Записки на волю Варя передавала через мать — Анну Ивановну допускали к дочери. На пасху она понесла ей кулич и крашеные яйца, «свяченный кусок», чтобы начать с него разговляться.

— Уж что-что, а наговется там вволю, — нахмурился Кока, узнав о пасхальных стараниях матери.

Однажды надзиратель схватил Анну Ивановну за руку. Он заметил, что она прячет записку.

— Вы не смее! — закричала Варя.

Анна Ивановна мгновенно наклонилась, и комочек бумаги исчез во рту. Стражник бросился на нее с кулаками, но было поздно: кашляя и хрипя, она проглотила записку.

Происшествие осталось без последствий. Надзиратель не решился доводить до начальства свою промашку...

Обо всем, что касалось Вари, Павел Карлович узнавал от Коки.

Свидетелем против Вари выставили ночного сторожа с Тихвинской улицы. Темный, запуганный мужик, получив вознаграждение, согласился повторять все, что ему повелят. Однако подставной свидетель оскандалился. Выйдя к длинному столу, покрытому зеленой скатертью, взглянув в глубину екатерининского зала судебных установлений, откуда смотрели десятки глаз, свидетель спутался, растерялся.

Возможно, на религиозного мужика произвело действие принятие присяги — «говорить только правду». Возможно, волнение помешало ему вспомнить, чему его учили и что от него требовали.

На вопрос присяжного поверенного: «Какие высказывания обвиняемой вы слышали?» — сторож ничего не решился ответить, таращил глаза, повертывал голову туда, откуда вошел, надеясь на подсказку. И только после трижды повторенного вопроса он процедил: «Против законного правления».

Варю приговорили к высылке из Москвы...

Павел Карлович отдыхал, сидя в кресле с резной спинкой и широкими подлокотниками. Рядом, на рабочем столе, стояла кружка с ивовыми прутьями. Он привык к изящным продолговатым листьям на ветках, к тишине уединения, и клочковатые мысли проносились в

голове, сменяя одна другую. Между ними, казалось, не было никакой связи. Они возникали, внезапно выплывали из глубины сознания и, нанизываясь на единый стержень, уступали место новым. Вот пришла ему в голову такая фантазия: будь этот горный замок, нарисованный на кружке, в России, его непременно приспособили бы под тюрьму. Чего бы лучше? Стрельчатые окна, как щели. Толстые стены. Никакой крик не прорвется оттуда на волю. И дорожка, выбитая на каменном полу башмаками арестантов...

На днях Павел Карлович узнал, что к середине весны в тюрьмы России брошено семьдесят пять тысяч заключенных. В Бутырской, Таганской, губернской тюрьмах арестованные спят по очереди. Участковые кутузки забиты людьми как бочки сельдью. Сущевский, мешчанский, пятницкий, городской, арбатский, лефортовский, якиманский, хамовнический полицейские дома переполнены.

Собственно, вся империя превращается в огромный полицейский дом. И при всем при этом филер под его окнами перестал маячить. И вчера, странствуя по городу, Павел Карлович заметил: привычная тень не следовала за ним по пятам.

Может быть, прошение на имя ректора о незаконном августовском обыске, выдержанное в сильных выражениях и пересланное ректором градоначальнику, возымело действие? Если так, не пора ли сделать следующий шаг?

В трубе большого рефрактора Павел Карлович прятал план Москвы. На плане уже появились пометки: удобные подступы к вокзалам, дома, прикрывающие эти подступы.

Но как мало сделано! На плане, если расстелить листы по полу, бросятся в глаза «белые пятна»: улицы без пометок разведки, воинские части, полицейские участки,

линии связи — подземные и надземные, проходные дворы, арсеналы, колодцы...

Да, время следующего шага настало. Он выступит в университете с открытым забралом. Он вырвет благословение ученых. Тайное обретет видимость легальности... Риск? Риск... Разумеется, риск...

Он прошелся раз-другой вдоль стены, постоял возле кружки с ивовыми ветками.

Что же на кружке — замок в Тюрингии или тюрьма, спрятанная в горах? И что это за островерхие башенки — места для стражников или прихоть архитектора?

Все складывалось так, как и предполагал Павел Карлович. На третьем часу заседания ученых разморило.

Естествоиспытатели не слушали физиков, математики перешептывались, астрономы подремывали.

За спиною кто-то бормотал стихи:

В одну упряжку впрячь не можна  
Коня и трепетную лань.

— «Не можна», — мысленно соглашался Павел Карлович: у математиков свои заботы, у естествоиспытателей свои. Зачем томить их под одной крышей физико-математического факультета?

Оживление вызвало выступление Климента Аркадьевича. В университете привыкли — ординарных выступлений у Тимирязева не бывало. Любил он давать хлесткие, беспощадные клички своим противникам. Врагов дарвинизма и вообще ретроградов, заскорузлых консерваторов называл «каракатицами». Это неизбежно вело к обострению дискуссий.

— Науку надо оберегать от каракатиц!

Поймав на лету фразу, Штернберг прислушался, пытаясь понять, что на этот раз отстаивает Климент Аркадьевич, с кем дискутирует? Тимирязев касался важной проблемы, важной для всех.

— Вы ратуете за монументальность диссертаций, подсчитываете количество страниц,— наступал Климент Аркадьевич на оппонента.— А мне, извините, тошно от монументов, солидное наукообразие — это еще не наука!

И он сел на любимого конька, напомнил, что первого июля 1858 года Лондонское Линнеевское общество получило небольшую записку о «Происхождении видов». Через год-другой мысли, изложенные на двух страничках, облетели весь мир, стали достоянием планеты. Ученого звали Чарлз Роберт Дарвин...

Выступавшие после Тимирязева толкли воду в ступе: жаловались — уже в который раз! — на тесноту лабораторий, сетовали на нехватку приборов.

Декап обреченно кивал. Лебедев недвусмысленно смотрел на большие серебряные часы. Только жандармский ротмистр, казалось, не утратил интереса к происходящему. Выбритый до синевы, с тонкими, закрученными кверху усиками, он смотрел широко открытыми глазами на говорящего, будто ему и в самом деле очень важно было услышать, сколько в физической лаборатории амперметров — три или пять.

Последние месяцы на заседаниях ученых непременно присутствовал жандармский ротмистр.

— В портах есть лодманы, в университетах — ротмистры, кто-то должен ориентировать науку,— язвил Лебедев.

В круглом университетском зале плыл шумок — негромкий, приглушенный. Аудитория устала. Эту разморенность Бредихин называл «мозги всмятку».

«Пожалуй, начну»,— решил Штернберг.

Он говорил довольно долго о возможности измерить аномалию земного тяготения путем нивелир-теодолитной съемки. Специально обученные группы студентов охватят всю Москву. Большая государственная задача будет решена.

Павел Карлович следил за реакцией зала. Ему внимали со смиренной безысходностью. Несколько пар глаз пытливо изучали его новую папку. Он купил ее в Германии, отделения из пузырчатой кожи, похожей на спину крокодила, открывались, щелкая кнопками.

«Мозги всмятку», — уснокоенно подумал Штерибберг. — А где Цераский?»

Он отыскал взглядом Витольда Карловича, еще недавно мирно дремавшего, а теперь петерпеливо ерошившего волосы.

«Обеспокоен, явно обеспокоен моим сообщением», — понял Павел Карлович.

— Позвольте, — вдруг услышал Штерибберг голос. Поднялся ассистент факультета, блондин в роговых очках, любивший на всех совещаниях задавать вопросы. — Я не совсем понимаю коллегу. В мировой практике подобного не было. Разве можно нивелир-теодолитной съемкой установить аномалию земного тяготения?

— Вы правы, — улыбнулся Штерибберг. — Это новая русская методика. К выводам можно прийти опытным путем. Сначала проведем исследование, потом уж извольте судить о результатах.

Павел Карлович щелкнул кнопками новой папки, вынимая листки с колонками выкладок:

— Первые расчеты обнадеживают.

Цераский облегченно вздохнул. Желания ввязываться в дискуссию больше никто не проявил. Неожиданно слово взял ротмистр.

— Я сочту за честь доложить его высокопревосходительству об открытии русского ученого, — сказал он. — Разрешение на исследование в Москве будет испрошено.

Жандармский ротмистр на университетском заседании выступал, кажется, впервые. Из зала смотрели то на него — статного, с воинственно закрученными усами, то на Штерибберга, стоявшего сосредоточенно-спокойно,



положившего на коричневую панку длинные тонкие пальцы.

Наконец Павел Карлович учтиво повернулся в сторону ротмистра:

— Я чрезвычайно рад этому патриотическому чувству. Содействие полиции ученым исследованиям безусловно продвигает науку...

## XVI

Цераский стоял на крыльце со Штернбергом и покачивал головой:

— Какую кашу заварили, батенька, а?

Двор обсерватории был заполнен группами студентов. Одни держали полосатые вешки, другие — рейки с пестрыми делениями, третьи — нивелиры, установленные на треногах.

Вот уже которое утро двор обсерватории напоминал бивак. Получив задание, в каком квартале Москвы проводить съемки, студенты растекались по городу.

— Со времени Зосимы, наверное, подобного многолюдия здесь не бывало.

Витольд Карлович смотрел на Штернберга по-детски ясными глазами. На его лице всегда отражалось множество оттенков настроения, разгадать которые порой было нелегко. К чести Цераского разговор о заседании физико-математического факультета он не возобновлял и пререканий затее Павла Карловича не чинил. Непонятно было, почему вдруг он вспомнил Зосиму? Подчеркнуть лишний раз косность правительства?

Штернберг, перебирая бумаги по истории обсерватории, не раз встречал имя Зосимы. В 1827 году Зой Павлович Зосима, щедрый меценат, греческий дворянин, живший в Москве, подарил университету свою дачу на Трех Горах, у Пресненской заставы. Дача примыкала к владе-

нию купчихи Прохоровой и к земле Никольской церкви. Тут и заложили первые здания обсерватории.

До этого ходатайство ученых о создании в Москве астрономического центра, поданное в правительство, последствий не имело. Бумагу, подписанную научными авторитетами, как мячик, перебрасывали из министерства в министерство, корректировали, подправляли. После трехлетних скитаний по инстанциям она возвратилась в исходную точку. Министр финансов начертил в верхнем углу: «Отложено до времени». Коротко и ясно! А Зосима подарил землю, не поскупился на средства...

— Ну, ну, хлопчите, а я пойду, — сказал Цераский. — Грудь сдавило, голова свинцовая. К дождю ли, к грозе? Скажите — пусть поосторожней, — Витольд Карлович кивнул в сторону студентов, — с приборами пусть поосторожней...

Он прошел через двор, немного сутулясь, короткими шажками. Что-то старческое появилось в его фигуре.

«Поосторожней, поосторожней, — Штерибург пошевелил губами, не произнося слова вслух. — Как будто сделано все возможное».

Мудрено было что-либо заподозрить, глядя на этот открытый двор, на эти группы студентов, бесечно переговаривающихся, потягивающих папирсы, отпускающих шутки.

Пожалуй, каждого, кто стал разведчиком, Павел Карлович отбирал сам. Иные участвовали в Декабрьском восстании, другие тоже проверены в деле, за третьих поручились товарищи.

Чтобы начать «нивелир-теодолитную съемку» одновременно в основных районах Москвы, студентов социал-демократов явно не хватало. Решили привлечь молодых рабочих из Бутырского и Пресненского районов. Привел их Алексей Степанович Ведерников, металлист с завода Дукса.

— Ребята как гвозди. В случае чего не согнутся, — кратко представил своих соратников Ведерников.

Алексея Степановича Штернберг знал по МВТБ. Ходил он, как многие мастеровые, заправив брюки в яловые сапоги, в белой косоворотке под пиджаком. Пальцы у него загрубели, покрылись шершавой коркой. Пожмет руку — сразу почувствуешь, крепкая рука, рабочая.

Было ему лет двадцать пять, не больше. Острая борода и густые усы не старили, скорее оттеняли молодое лицо.

Все, кто общался с ним, привыкли: Ведерников на слова скуп. То ли сказался сибирский характер — родился он в Омске; то ли нелегкое детство — восьми лет остался без матери, рос замкнутым, без домашней ласки; то ли раннее общение с сибирскими ссыльными приучило держать язык за зубами.

«Ребята как гвозди. В случае чего не согнутся».

Аттестация надежная. Сказал Ведерников — стало быть, так.

Молодые рабочие пополнили студенческие группы, быстро освоились. Вот один из них держит рейку, изрезанную черточками делений, что-то рассказывает, а Владимир Файдыш улыбается и кивает головой.

Файдышу лет семнадцать-восемнадцать, но его, как и прочих студентов, величают Владимиром Петровичем. Он невысок, светловолос, подвижен. Привычка щуриться выдает близорукость. Лицо тонкое, интеллигентное.

Владимир успел побывать в баррикадных боях и сейчас, во время съемок Москвы, тянется на самые опасные участки. Его группе Павел Карлович поручил подготовить описание Хамовнических казарм. Там размещался Сумской драгунский полк, который в дни Декабрьского восстания поддерживал контрреволюцию, там хранятся сотни берданок и около миллиона патронов.

Как-то после очередных съемок Файдыш пришел к

Штерибергу и стал горячо доказывать: Хамовнические казармы нетрудно захватить, если, используя удобные подходы, забросать их гранатами и бомбами, ворваться, овладеть берданками и патронами.

В расчетах Владимира Петровича был резон, и Штериберг согласился составить специальный план захвата казарм...

А вот другая группа — в центре Кока Яковлев, он молчит и курит. У Коки на лбу ранние залысины; странно как-то, у сестры, у Вари, роскошные косы, а Кока вот-вот начнет лысеть. Кока — правая рука Павла Карловича. Он не только участвует в съемках, но вечерам и по ночам расшифровывает шифры разведчиков. Работа выматывающая.

Кока среднего роста, однако рядом с Николаем Преображенским — самым высоким среди студентов — кажется почти маленьким. У Преображенского не только рост — у него и черты лица крупные, и руки огромные. На его ладонях, как острят студенты, можно пзу поставить да еще место для колодца останется.

При таком росте и таких больших, с виду неуклюжих пальцах никак нельзя было ожидать, что пишет он микроскопически мелкими, едва различимыми глазом буквами.

«Микроскоп» — дал Преображенскому кличку Павел Карлович.

Микроскоп вездесущ: Ваповскому рисует схемы, чертит чертежи для пособий по огнестрельному оружию, Виноградову добывает химикаты для изготовления взрывчатки, тут, на нивелир-теодолитных съемках, тоже не из последних.

Штериберг задержал взгляд на Преображенском: лицо добродушное, по щекам и по носу, как муравьи, расплозились веснушки, длинные рыжие волосы спустились до шеи. Если бы не студенческая форма, никому б и в голо-

ву не пришло, что он городской житель — типичный деревенский увалец, приехавший поглазеть на каменные дома, на конку, потолкаться на ярмарке...

У ног беспокойно вертелись Норма и Цезарь. Они не любили такого многолюдья: во двор обсерватории разом вторгалось столько незнакомых запахов, голосов, на земле появлялись чужие следы.

Павел Карлович наклонился к собакам, успокоил:  
— Ничего, ничего, сейчас уйдем.

Студенческие группы, вытягиваясь в лепточку, одна за другой покидали двор. Доковылял до порога своей квартиры Цераский и, сотрясаемый кашлем, исчез в дверях.

«И к чему это он заговорил об осторожности? Просто так, порядка ради?»

У Павла Карловича не было оснований в ком-либо сомневаться. Две недели обучал своих будущих разведчиков необходимым премудростям. Во-первых, они освоили работу с теодолитом и нивелиром. Иначе любой землемер обнаружил бы неладное: почему у приборов топчутся несведущие люди? Во-вторых, была разработана четкая система записей: одна — на случай проверки полицией, другая — с разведывательными сведениями, скрытая цифровым шифром.

Разведчиков должно было интересовать все: высоки ли заборы, как лучше преодолеть их — перекинуть лестницу, сделать подкоп или взорвать; где расположены склады строительных материалов, инструментов, аптекарских товаров (номера домов, дворы)?

Главные задачи были сформулированы в письменной «Инструкции разведчиков». Владимир Файдыш называл ее «наша библия». В этой «библии» Павел Карлович постарался не упустить ничего существенного:

## I ЗАДАЧА

а) Как расположить силы дружины для движения (использовать проходимость дворов).

б) На каких боковых улицах возвести баррикады для предупреждения внезапных нападений противника.

в) На какое расстояние вперед и в стороны послать дозоры и где поместить наблюдательные пункты.

## II ЗАДАЧА

Наметить лучшую позицию для обороны по пути наступления дружины.

а) Какие занять здания, где возвести проволочные заграждения и окопы.

б) Какими силами занять дома и окна.

в) Оговорить, откуда взять пужные строительные материалы.

г) Наметить расположение сторожевых постов вокруг всей позиции на расстоянии 300 шагов...

д) Наметить дома, защищенные от прицельного артиллерийского огня, удобные для расположения резерва.

Предполагалось составить полную картину телефонной связи между полицейскими частями, казармами, управлениями коменданта и окружным штабом. Как было задумано, описание сопровождалось конкретными рекомендациями.

«Все колодцы (тумбы) чугунные, серой окраски, отвинчиваются на боку (винт) *отверткой*, после чего снять верхушку и будут видны провода, которые — обрезать». «Арбатская и Пресненская колодцев не имеют; вся линия под землей. Сделать ничего нельзя, разве только раскопать где-либо по линии; если будет нужно, можно узнать, где идет кабель»...

Двор постепенно опустел. Последней уходила группа Николая Преображенского. Микроскоп задержался у калитки, посмотрел вверх на пасуленное, потемневшее небо. Громадная туча едва не навалилась на кунол Никольской церкви, тучу разрезал стремительный зигзаг молнии. Тонкая жилка огненно вздулась и мгновенно погасла.

«Пора и мне»,— решил Павел Карлович и вышел за калитку. Впереди маячила вешка, перекинутая через плечо Преображенского. Как всегда, он шел замыкающим, чтобы все разведчики были перед глазами.

Группа направлялась в Лефортово, где предстояло разматывать «тугой узел». Там, на небольшом пространстве, теснились значительные военные силы. В Екатерининском дворце разместились 1-й и 2-й кадетские корпуса. В Красных казармах со времен губернатора Архарова находились восемь батальонов солдат-архаровцев. И наконец, если въезжать в Лефортово через Дворцовый мост, справа размещалось Алексеевское военное училище.

Нельзя было сбрасывать со счетов и большой «гоф-питаль», построенный еще Петром.

Павел Карлович счел необходимым принять участие в работе этой группы. Дабы не дразнить «гусей», он нанес визит приставу Лефортовского участка. Пристав, прочитав «свидетельство», выданное канцелярией градоначальника и разрешавшее «нивелир-геодезические работы для подробного исследования аномалии тяжести в Москве», почтительно заулыбался. Заглянув в глаза Павлу Карловичу и желая сказать ученому гостю приятное, он проговорил:

— Не скрою, в пору юности и я питал склонность к наукам, п, коли б не родительская воля, как знать...

— Я рад встретить приверженца науки в строгом мундире слуги государя.— Штериберг добавил меду в сладостные воспоминания пристава.— Буду весьма при-

знателем, если вы сочтете возможным выделить нам в помощь несколько усердных, свободных от наряда полицейских...

Вышли во двор. Кто-то из студентов уже отсчитывал шаги от каменного сарая до ограды. Павел Карлович предложил приставу поглядеть в око нивелира «на грешный мир».

Преображенский расставил треногу, господин пристав прикинул к окуляру и, видимо, не мог сообразить, в чем дело: цифры на шкале перевернулись вверх тормашками, клен во дворе участка словно шагнул навстречу, приблизился, хоть протягивай руку, и тоже перевернулся крону вниз: астрономическая труба давала обратное изображение.

— Узнаете нашу планету? — улыбался Преображенский. Веснушки-мураши шевелились на его щеках.

— Да, да, — отозвался пристав. — Наука раздвигает горизонты.

Вскоре смешанная полицейско-студенческая группа двинулась в сторону Екатерининского дворца. Впереди шагал дюжий полицейский, который нес, как ружье, трехметровую рейку. Двое других городских как бы составляли эскорт. Преображенский, верный своему правилу, замыкал группу, цепляя высокой вешкой листья деревьев.

Уже виднелся Екатерининский дворец с колоннадой Кваренги, с лепными украшениями. Дворец вытянулся почти на четверть версты в длину и по праву считался чуть ли не самым большим зданием в Москве. Раскинувшаяся перед ним площадь оглашалась барабанной дробью. Кадет, держа ружье наперевес, бежал к чучелу — мешку с опилками, качавшемуся на двух перекладинах. Барабанная дробь смолкала, когда кадет вонзал в чучело штык.



## XVII

### РАССКАЗ

#### МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА ВИНОГРАДОВА

Охранка разыскивала Юрьева, не подозревая, что Юрьев и Виноградов одно и то же лицо. Шансов у них найти и поймать меня было не очень много. А после взрыва на острове, после нескольких встреч с Павлом Карловичем Штернбергом шансы охранки совсем поубавились. Павел Карлович предложил самый неожиданный вариант — «действовать легально». И подпольщикам заявить: уйду, мол, к семье. Устал. Чтобы все концы в воду...

Приехал я к себе в Золотилово. Ну до чего сиротским показался мне мой сарай! В углу валяется лемех от плуга, лопаты и грабли ржавчиной изъедены, на шербогатом столе — груда железовок, токарный станок, паяльник.

«Кустарщина», — вспомнил я слова Павла Карловича. Да, кустарщина, а попробуйте без нее, без кустарщины. Разве не она нам бомбы дает?!

Бомбы? А много ли?

И тут мой мозг начала сверлить мысль о ваньке-встаньке. Яйцевидная металлическая оболочка. Начинил — и бомба готова. Детскую игрушку заказать несложно — никто не придерется. Две, три, пять тысяч... Масштаб! А во сколько обойдется такая затея?

Эх, гайки-винтики! Инженер ты, Михаил Петрович, или не инженер? Неужели не поймашь идею за хвост, не приделаешь ей колесики, чтобы двигалась в нужном направлении?!

Постылым мне показался мой стол в полутемном сарае. И опять душу кольнуло обидное слово — «кустарщина».

Повесил амбарный замок на сарай, пошел куда глаза глядят.

В версте от Золотилова пруд небольшой, вода в нем холодная, на дне студенький ключ бьет.

Освежусь, думаю, мозги на место станут.

Вылез из воды, сел на пенек. Закатное солнце на отдых покатилося, красный шар вот-вот земли коснется. Смотрю я на этот шар, а самому ваньки-встаньки мерещатся. Их кладут — они встают, их кладут — они встают. И начинка в них ВТБ. Как грохнет, так полнеба зальет красным, как этот закат...

Слышу идет кто-то. Мужик не мужик — не видно, берег пивняком зарос.

— Михаил Петрович, поклон вам и почтение!

При моей экипировке в самую пору любезные приветствия выслушивать. Шуганул бы куда подальше, да неудобно.

Оглянулся — Савелий Егорович, богатый мужик из соседнего села. Коров разводит. Коровы у него дородные, у каждой вымя, как воздушный шар. На молоке и масле руки греет. Дом себе возвел каменный. Пристройки как грибы растут.

— А я к вам путь держу, Михаил Петрович. Прослышал, что приехали, вот и решил: давай со своими заботами приду, поклонюсь в пояс. Не откажите в совете.

— Что у вас за заботы? — спрашиваю.

— Аглицкие сепараторы получил. Не знаю, как подступиться к ним.

— Эх,— говорю,— не по моему ведомству. Трамвай пустить могу, паровоз — могу, а сепараторы никогда в глаза не видел.

Но мужик упрям, богатый тем паче. Как клещ вопьется.

— Не откажите,— взмолился Савелий Егорович,— мы темные, а вы ученый, городской, нам не чета, хоть в чем разберетесь.

Пошли.

Сепаратор не паровоз. Долго ли разобратся? Почитал инструкцию, в аппарате поконался, запустил.

Савелий возликовал, примерещилось, наверное, что всех своих конкурентов одним махом на лопатки опрокинул. Прежде сутки молоко отстаивал, чтоб сливки получить, и посуды сколько надо было, а тут — несколько секунд — и сливки! Для него сепаратор, как в Сибири драга, что золотой песок намывает. Потечет в карман золотишко...

Сделал дело, мне бы уходить, а я все оторвать глаз от сепаратора не могу. Очень мне цилиндр понравился. Ну готовая оболочка для бомбы, хоть сейчас начиняй!

Обнял я Савелия. Он глаза таращит, не поймет никак, с чего меня радость обуяла. А я идею за хвостик схватил, держу, не выпускаю. Архимедом себя почувствовал, который обещал Землю сдвинуть, если точку опоры получит.

Хлопнул я Савелия по плечу — и в дверь! Он что-то кричал вдогонку, кажется, ужинать звал. Какой ужжи?! Скорей в Москву!

Всю дорогу только о сепараторах и думал. Вспомнил молочную лавку в Полуэктовом переулке, рекламный щит:

«БРАТЯ БЛАНДОВЫ.  
МОЛОКО.  
МАСЛО.  
СЛИВКИ.  
ПРОСТОКВАША».

Братья Бландовы... Сколько молочных лавок у них по Москве? Их по вывескам за версту узнаешь. На одной — голова буренки с белыми пятнами на морде, из наклоненного бидона молоко льется, на другой — головешки сыра с ноздреватым надрезом...

Ну, думаю, молочные братья, не миновать вам встре-

чи с Михаилом Петровичем Виноградовым. С детства не любил молока, но... ничто не вечно под луной. Надо — и молоко полюбишь!

Чует мое сердце, что без Бландовых не обойтись, а как подобраться к ним — не соображу. С этим и явился к Павлу Карловичу.

Стали мозговать вместе. Я вслух рассуждаю, рассказываю, он на клочке бумаги пером водит, молчит.

— Простите, — говорит, — отлучусь на минуту.

Принес том Брокгауза и Ефрона, вслух прочитал о сепараторах. Узнали мы, что есть сепараторы с тарелочками; в стокгольмском, например, двадцать этих тарелочек, чистить их муторно; есть сепараторы, где тарелочки заменили усеченной пирамидой с боковыми дырочками. Всем они хороши, да производительность у них маловата.

Павел Карлович хитро улыбнулся:

— Поэксплуатируем эксплуататоров?

Я киваю. Поэксплуатировать не прочь, а как это сделать?

— Даю опять черновик, — говорит. — Представьте Бландовым проект без тарелочек, и пусть производительность будет выше, чем у стокгольмских, да стоимость наполовину меньше. Тот не купец, кто на такую наживку не клюнет. Закажите цилиндров тысячи три для начала...

— А потом? — испугался я. — Не изобрету же я такой идеальный сепаратор.

— Не изобретете, — согласился Павел Карлович. — Вас постигнет неудача. Даже Бландовы поймут, — по каждый день рождаются Кулибины. Ну, не вешать же вас за это. И цилиндры не выбрасывать же! Придется выкупить.

Он сочувственно кивнул и развел в стороны руки: что поделаешь?..

Все получилось как по писаному. Бландовым я закрутил мозги чертежами, разговорами о разных видах сена-

раторов. Чертежи для них, как китайская грамота, а слово «выгода» хмельнее вина. С моей легкой руки карусель завертелась, потекли на заводы заказы.

Хуже всего со своими вышло, с бомбистами. Собрались как-то, я — как гром среди ясного неба: не судите, что мог — сделал, теперь сами потрудитесь. У меня дети, жена, мне и спокойно пожить хочется, иду к братьям Бландовым, молочка попью, сырок пожую. Прощайте!

Коля Яковлев вскочил как ужаленный, ко мне рванулся, думал, с ног собьет или в горло вцепится; нет, отвернулся, спиной стал, застыл у окна. Меден, латыш, мой самый близкий соратник, пакауне взрывчатку испытывал, у него смесь из-под рук полыхнула, чуть без глаз не остался, а он белобрысый, светлоглазый... В его комнате — в общежитии Высшего технического училища — мы почти все эксперименты проводили. Подойдешь, бывало, к двери № 76, три раза постучишь и слышишь голос:

— Вы ко мне?

Латышский акцент в голосе. Меден открывать не спешит, ждет ответа:

— Семьдесят шестая?

Меден выдержанный, не в пример Яковлеву — тот быстрее пороха вспыхивает. И на этот раз Меден не изменил своей патуре: как сидел за столом, так и остался сидеть, не шевельнулся, промолчал, только посмотрел на меня, аж тошно стало...

В одну минуту умер я для них. Был — и не стало. Вычеркнули. Преображенского на улице встретил, так тот на меня, как на дерево, глянул, брезгливо трянул рыжими патлами, мимо прошел...

Я утешал себя: мол, неважно, кем слывешь; важно, чем живешь. А на душе все-таки паскудно было.

Настал час и с братьями Бландовыми ссориться. Собрал я сепаратор, начали испытывать — ни к черту

не годится. Там течет, здесь заклинивает. Детали с заводов поступили, деньги вложены. Одних металлических оболочек три тысячи — гора!

«Молочные» братья сразу клыки показали. Они хоть и «молочные», но на травоядных телят не похожи: купцы есть купцы, за свою конейку душу вытрясут. Я упираюсь: для вас старался, неудача, по чертежу все сходится, не виноват.

— За неудачу и плати,— наширали Бландовы,— или засудим. Так не отпустим!

В конце концов сговорились: выкупию все как металлолом. По десять конеек за цилиндр получилось. Триста рублей на бочку. А у нас — три тысячи бомб.

С вестью этой я к Павлу Карловичу как на крыльях попелся. Выслушал он, захохотал. Никогда не видел я его таким: плечи подпрыгивают, борода трясется, шнурок от пивсне качается. Высмеялся, говорит:

— Поставили вы рога коровьим братцам. А у меня, знаете, кой-какие мыслишки родились. Пока сырые, черновик, конечно. Пойдемте к столу...

## XVIII

Ночью Павел Карлович владычествовал в своей башне единолично. Это была его держава.

Цераский, едва наступало зимнее ненастье, чувствовал себя хуже, кашель душил его.

— В этой ледяной башне в студеную пору — только с вашим здоровьем,— говорил он Штернбергу с завистью, и в глазах его появлялась тоска.— А я сдаю, батенька. Начинает смеркаться, тает, как курицу на насест, в постель. Лягу, а сна нет, лежу с открытыми глазами. Читал я: в каком-то илемеи стариков, чтобы не мучились, убивали. Ловко придумали!

За его невеселой шуткой стояли горестные раздумья о физической немощи. Еще в декабре 1905 года Цераский подымался в башню, раздвигал купол, наблюдая за обстрелом Пресни. А теперь винтовая лестница для него чрезмерно крута. И лекций в университете он читает все меньше и меньше. Передает свои часы коллегам.

— Эх,— вздыхал Витольд Карлович,— хоть вы не застудитесь!

Сергей Николаевич Блажко тоже знал о ночных бдениях Штернберга.

— И когда вы спите? Я читал у Брема, что даже слоны спят.

Блажко подергивал плечами, разводил в сторону руки и удивленно причмокивал губами.

— В наши с вами годы о сне еще не пекутся,— отвечал Штернберг в тон Сергею Николаевичу, который был немного моложе.— К тому же я не забыл афоризм Федора Александровича Бредихина: ночью властвуют астрономы и контрабандисты.

— Слышал, слышал этот афоризм. Заметьте,— Блажко поднял указательный палец.— Бредихин проводил некоторые различия между астрономами и контрабандистами. Астроном властвует в ясные ночи, контрабандист любит ненастье.

— Во мне счастливо уживаются обе гипотезы,— отвечал Павел Карлович.

В башне холод был немилосердный. И хотя Штернберг обзавелся бурками и овчинным тулуном, в каких ходят ночные сторожа, стужа проникала и сквозь них. Приходилось отлучаться домой, разогреваться горячим чаем. В тепле быстро размаривало, хотелось спать — потребность в сне накапливалась неделями, но он стойко перебарывал эту слабость и уходил в башню.

Холод будоражил и разгонял сонливость. На рабочем

столе сконились фотографии двойных звезд. Сколько необработанного материала!

В последние месяцы вопреки тому, что дела по подготовке к вооруженному восстанию отнимали все больше времени у астрономии, печать и официальные организации, словно сговорившись, подчеркивали заслуги Павла Карловича. В «Известиях русского астрономического общества» появилась рецензия на магистерскую диссертацию «Широта Московской обсерватории в связи с движением полюсов»:

«Так как этот труд дает нам полную картину состояния вопроса об изменениях широт, то ни один из будущих исследователей этого вопроса, конечно, не обойдется без того, чтобы подробно не познакомиться с книгой П. К. Штернберга...»

Он знал, что среднее значение широты Москвы, определенное им, вошло во все справочники. Совет Русского астрономического общества присудил ему премию. Никто, разумеется, не догадывался, что вся премия ушла на закуску у братьев Бландовых виноградовских сепараторов. А резонанс, который получили работы минувших лет, он воспринимал как укор: да, да, кое-что сделано, но теперь я работаю вполсилы...

Двойные звезды — эти пары звезд, близкие одна к другой в пространстве, обращающиеся вокруг общего их центра тяжести, давно привлекали астрономов. Вильям Гершель посвятил наблюдениям за ними четверть века. Пулковский астроном Струве составил каталог из трех тысяч ста десяти открытых им двойных звезд. И только он, Штернберг, исследуя двойные звезды, применил фотографию. Преимущества этого метода бесспорны. Уже опубликованы результаты измерений фотографий Гаммы Девы, Альфы Близнецов...

На чехле, натянутом на рефрактор, серебрились нау-



тники изморози. Руки стыли быстрее прежнего. К ночи температура на дворе поползла вниз, и в башне это не замедлило сказаться.

Растирая руки, Павел Карлович с сожалением посмотрел на рабочий стол, где он разложил фотографии, вспомнил, как празднично светятся эти двойные звезды — белые, синие, красные, решил:

— Звезды подождут...

Он сбросил с рефрактора жесткий, задубевший от холода чехол, достал из трубы большой сверток и расстелил на полу план Москвы. По белому полю расползались линии дорог, дома, кварталы и улицы пестрели пометками, цифрами, условными знаками.

Приходилось торопиться. Хотя работа разведчиков не закончена, однако главные узлы города удалось изучить: проходимость дворов, подступы к воинским частям и полицейским участкам, коммуникации связи, вокзалы. Предстояло нанести это на единый план, сфотографировать и размноженные фотографии припрятать в надежных местах. Ждать конца работ было рискованно: вдруг провал?

Правда, пока дела шли без помех, если не считать внезапного появления Алексея Степановича Ведерникова. Штернберг с трудом узнал его: Ведерников сбрил бороду и усы, привычную косоворотку заменила сорочка с бантом бабочкой, вместо яловых саног — ботинки.

Алексей Степанович заехал предупредить: он покидает Москву, бутырская боевая дружина арестована. Просил проявить осторожность, хотя выделенные им для инвентаризационных съемок рабочие с дружиной никаких связей не имели.

На сей раз, кажется, все обошлось благополучно. Но Павел Карлович твердо решил сведения разведки свести на единый план: «Пока журавль в небе, синицу — в руки!»

Грубые и толстые рукава тулупа мешали писать. Пальцы плохо повиновались. Бисерно-мелкие печатные буквы не были столь безупречно ровны, как обычно. Штернберг поднес пальцы к губам и задышал на них горячо и часто, пытаясь немного отогреть. Шевельнулась мысль: ах, закончу-ка я сегодня пораньше, уйду домой, в тепло, и просплю часов пять кряду, всласть, беспробудно!

И вдруг на винтовой лестнице, ведущей в башню, слышались шаги.

Сбросив тулуп, с поспешностью свернул он листы плана. Тяжелый сверток скользнул и исчез в трубе рефрактора. Когда раздался нетребовательный стук, Штернберг был уже опять в тулупе. Его обычное самообладание подавило внутреннюю напряженность.

— Кого песет в эту рань? — крикнул Павел Карлович. — Еще черт в кулачки не бил!

Оглянулся — на полу ничего не забыто, на столе — фотографии двойных звезд, странички с записями. Он щелкнул ключом, отворяя дверь.

Перед ним стояла Варя. Она не шевельнулась. Ее глаза как бы спрашивали: «Все в порядке? Можно войти?»

«Да», — прочитала она в его взгляде и шагнула из темноты лестницы на метлахские плитки башни.

Варя замерзла. Она с усилием стянула рукавцы и попыталась подвигать пальцами. Пальцы не гнулись. Он положил их в свою большую ладонь и с суровой осторожностью принялся растирать одеревенело стывшие руки.

«А лицо, лицо!»

Белые пятна на лице он заметил не сразу. Длинные тонкие пальцы заходили по щекам кругами, то с меньшим, то с большим нажимом, мягко коснулись носа, держались на чуть приметной горбинке. Когда Варя была в тюрьме, Кока рассказал историю с качелями и кроличьей косточкой.

— Как вы? — спросил Павел Карлович.

Варя ответила не сразу, к чему-то прислушалась и, попытавшись улыбнуться, слабо шевельнув губами, сказала:

— Обойдется! А что у вас?

Вопрос означал, что подробности поведает позже, а сейчас хочет узнать московские новости.

— Сперва чай! — сказал он.

Чайник и бутерброды принес из дому. Горячий янтарный чай налил в фарфоровую немецкую кружку. Варя пила маленькими глотками, подолгу грея о кружку руки.

«А что у вас?» Он не знал, с чего начать: так много воды утекло. Так много всякого было.

Рассказать об арсенале бомб, созданном Виноградовым? О братьях Бландовых и их сепараторах, конкурирующих со шведскими? Или о книге Вановского «Тактика уличного боя», подписанной в память о ссылке «С. Вычегодский»? Книга тогда вызвала в охранке бурный переполох. Сколько ни рыскали, ни издателей, ни места хранения книги найти не смогли.

Или показать Варе листы с планом Москвы, исхоженной, изученной, заснятой летучими отрядами ВТБ с благословения самого градоначальника?

Напившись чаю, Варя полулежала в высоком кресле Павла Карловича, укутанная овчинным тулупом. Усталость смыкала ее ресницы.

— Вы эту Арктику выдержите? — спросил Штернберг.

— К Якутии себя готовила, выдержу.

— Тогда отдыхайте. Наговоримся завтра.

Он запер башню, спустился во двор. Окно Цераского светилось сквозь шторы бледным пятном. На первом этаже надсадно кашлял Ульянов — очевидно, закурив самкрутку с едкой махоркой.

Приближалось утро.

Его внешняя сдержанность мешала разглядеть и сотую долю того, что бурлило у него внутри. Даже те, кто часто общался с ним, считали: «О-о, Павел Карлович — настоящий олимпиец». Между тем «олимпиец» был очень раним и близко к сердцу принимал чужие беды.

Узнав, что одна из его курсисток недоедает, почти лишена средств к существованию, он не мог успокоиться. Долго искал, как помочь ей и не задеть самолюбие девушки. В конце концов вручил ей деньги, сказав, что она вознаграждается дирекцией за усердие и успехи в освоении небесной механики.

Аресты и провалы своих учеников и соратников Штернберг переживал особенно тягостно. Он редко упоминал имя Кости Войкова, но когда Варя сообщила об удачном Костином побеге из пересыльной тюрьмы, возликовал:

— Варенька, это хорошо, это замечательно, Варенька!

И лицо, омраченное заботами и усталостью, просветлело...

Об аресте Николая Шмита Штернберг прочитал еще за границей. А потом перед ним предстали руины обожженной и разграбленной фабрики: всякий раз проходя мимо, невольно вспоминал ее хозяина, милого Николая Павловича, с доверчивыми глазами и открытым лицом, со складками на студенческой тужурке, такой скромной для богатого фабриканта.

Штернберг не был коротко знаком со Шмитом, однако именно в его кабинете встречался с Маратом, не мог забыть, как Климент Аркадьевич Тимирязев несколько раз говорил о Шмите: «Думающий студент, в науке непременно преуспеет».

Слово «преуспеет» тревожаще застряло в сознании, потому что не верилось, что Шмит вырвется из застенка.

Из Бутырки проникали печальные вести: Шмита истязают, восемь суток Шмиту не дают спать, Шмита хотят убить.

Расправа давно свершилась бы. Он, фабрикант, восставший против своего класса, был ненавистен властям. Но дело Николая Шмита обрело громкую огласку. Максим Горький печатал статьи в Париже и Лондоне. Неподвластные цензуре, неуловимые для жандармов, располагались они по России.

Русская Фемида, точившая топор для казни, заколебалась.

— Его отдадут на поруки,— сказала однажды Варя.— Или побоялись широкой гласности...

Она не договорила.

— ...или это провокация,— досказал Штернберг.

Когда разнеслась весть о смерти Шмита, Павел Карлович сразу отверг официальную версию о самоубийстве. Он не сомневался — его убили. Даже такая газета, как «Русь», недвусмысленно писала:

«Москва взволнована загадочной смертью фабриканта Н. П. Шмита, 14 месяцев находившегося в заключении... Вчера в 11 часов утра сестра Н. Шмита явилась на свидание, но старший надзиратель тюрьмы, бывший шлиссельбургский жандарм Кожин заявил, что ее брат умер.

Услышав о таком ужасном исходе, родственники покойного потребовали, чтобы они были допущены к трупу, но в этом им было категорически отказано».

Причины отказа скоро выяснились: на теле покойного нашли кровоподтеки и ссадины, большую рану на щеке, нанесенную холодным оружием...

Хоропить Шмита готовилась вся Москва. Все чаще на улицах скапливались небольшие группы людей, о чем-то перешептывавшихся; в студенческих аудиториях царил

то возбуждение, которое обычно предшествует митингам и беспорядкам.

Мебельщики объявили: в день похорон на работу не выйдут!

Павел Карлович зорко следил за происходящим. Конечно, февраль 1907 года не декабрь 1905-го, спад налицо, бесчинства судов и охраны налицо, но нет в народе ни безысходного страха перед властями, ни покорности.

— Ох, разрешили похороны,— качал головой Церасский.— Не повторилась бы Дворцовая площадь, не повторилось бы Девятое января!

Штернбергу неодолимо захотелось увидеть Шмита; хоть издали, хоть взглядом попрощаться с ним. Отправиться на митинг в университет? Присоединиться к траурной процессии, которая пройдет через всю Москву от Покровки до Преображенского старообрядческого кладбища?

Оба варианта обнажали Павла Карловича перед охранкой. Как же быть?

Он давно уверовал, что безвыходных положений не бывает. Просто люди не всегда умеют, не всегда успевают сообразить, как выйти из положения. И он решил, проезжая в санках, как бы случайно встретить процессию на улице...

Тучи траурно громоздились над городом. Старые домишки с запылевшими крышами уныло окаймляли Преображенку. Павел Карлович поглядывал по сторонам: где бы остановить санки?

Мороз подгонял прохожих, схватывал дыхание. Ледяные кристаллики повисали на бороде. Уже чувствовали стужу ноги, укрытые медвежьей полостью.

У трехэтажного каменного дома с железными фонарями Штернберг велел извозчику въехать на тротуар и развернуть санки.

Лошадь зябко переминялась с ноги на ногу, беспокойно мотая головой.

— Зимно, — буркнул извозчик, кутая лицо в широкий лохматый шарф, похожий на бабий платок.

Окна особняка, возле которого остановились, заморозило. С карниза свисала наледь.

Санки словно вмерзли в грунт. Возница, очевидно, заснул: он тихо посапывал, покачиваясь на облучке. Павел Карлович видел лишь его широкую спину, перехваченную красным кушаком.

Похоронное шествие появилось внезапно. Сначала он увидел конных жандармов с шашками наголо. Потом вся колонна медленно втянулась на площадь.

Отсвет недавней трагедии лежал на всем: Шмита, мертвого, с белой повязкой на щеке, охраняли жандармы, словно он мог убежать.

Гроб несли рабочие. Он плавно покачивался и плыл среди многочисленных венков, неожиданно зеленых среди стилой белизны февральского дня.

Павел Карлович обнажил голову.

Читать подписи на венках оказалось пелегко. Вязь золотых букв сливалась в неясные полосы. Он с трудом разбирал самые близкие: «Товарищу по идее...», «Дорогому товарищу от товарищей-бутырцев...»

Что-то зловещее таилось в молчаливом движении бесконечного потока людей. Сначала он воспринимал лишь массу — куртки, пальто, шинели, скорбно склоненные головы. Наконец, взгляд Штериберга выхватил из колонны лицо — крупное, хмурое. Знакомая кожапка. Да это Ангел! Руки спрятаны в бугрящиеся карманы. С Ангелом его боевики. Все, конечно, с оружием.

Какие у людей лица! Высокий мужчина с темным лицом, словно впитавшим угольную пыль, с морщинами глубокими, как ножевые порезы; рядом с ним молодой, тоже высокий, чем-то похожий на соседа; лицо совсем юное, не знавшее бритвы. Может быть, отец и сын? А выражение на лицах одинаковое, родящее и тех, кто

вперед, и тех, кто сзади, — выражение скорби и одновременно той непреклонности, которая до поры прикрыта выдержкой и улавливается лишь по твердому шагу.

Среди рабочих и Софья Войкова. На груди лоскут красной материи с черной полоской. Софья чуть наклонила голову, вязаный платок заиндевел от дыхания.

С кем она? Наверное, с рабочими фабрики Шмита. Ведь столярная Москва — от мелких мастерских до крупных фабрик — вся объявила забастовку.

Люди. Люди. Люди. Головы обнажены. Ни слова. Ни возгласа. Только вперед чьи-то всхлипы. Матери? Сестер? Да удары копыт, да постанывание снега под тяжестью идущих.

Вот над шеренгой взметнулся и исчез небольшой плакат. Павел Карлович не успел разглядеть его. Спустя минуту плакат снова забелел над головами. На нем — девушка с замком на губах. И типографским шрифтом отпечатуто одно слово — свобода.

«Печатники, — догадался Штернберг. — Они умеют».

В дни большевистского бойкота царской думы печатники послали уполномоченным по выборам глухонемого. Зло, жельно. Злее и Щедрин не придумал бы...

Интересно, а сколько людей собрали в колонны эти горестные проводы? И кто они, вот те, взявшиеся за руки, снаявшие шеренгу воедино? В центре кто-то плотный, с всклокоченными волосами. Пенсне в тесной роговой оправе. Знакомое лицо, но так и не вспомнил, кого увидел, — внимание отвлекла следующая шеренга. Микроскоп возвышался над соседями, как Гулливер; его рыжие волосы поблескивали изморозью. Глаза были опущены, он будто смотрел под ноги; но отсутствующий взгляд выдавал: Микроскоп ушел в себя, погрузился в раздумья.

«Он ведь знал Шмита, — вспомнил Штернберг, — теперь, напервое, в голове воскрешаются те встречи, которыми никогда не суждено повториться».



Микроскоп споткнулся, но так и не стряхнул свою отрешенность.

Рядом шел Владимир Файдыш. Тонкое лицо заострилось больше обычного, глаза напряженно смотрели вперед.

Файдыш быстро затерялся среди сотен других голов, даже Микроскоп растворился в колыпании многоликой толпы. И пока Павел Карлович всматривался в шеренги, неторопливо проплывавшие мимо каменного дома, над площадью возник непопятный звук. Люди шли с сомкнутыми губами, и Штернберг не сразу сообразил, что именно от них доносится этот звук, становясь все громче, увереннее, понятней. Он узнал мотив. В песне без слов были слова, неслышимые уху, звучащие изнутри:

Вы жертвою пали в борьбе роковой  
Любви беззаветной к народу...

Павел Карлович уже не сидел в саниах, а стоял в полный рост. Иней выбелил его непокрытую голову, губы едва заметно шевелились. Песне запотело. Он не видел плывущей толпы, не видел удаляющийся гроб, заслоненный частоколом обнаженных шашек, не видел людей, высыпавших из калиток и ворот плюгавой, вросшей в землю Преображенки, не видел и господина с поднятым воротником и широким, словно расплюснутым, носом.

Господин шел в одной из шеренг, шел по левой стороне, поеживаясь от стужи и пряча руки в карманы. Скользя взглядом по саниам и узнав статую фигуру приват-доцента, вздрогнул, как от щелчка. Пройдя несколько шагов, он опять оглянулся и даже остановился, но кто-то несильно, кажется Звонарь, пнул его в спину, и Клавдий Иванович Кукин, раздувая ноздри, побрел дальше, уносимый траурным шествием к Преображенскому старообрядческому кладбищу.

А плотные шеренги все шли и шли, и в разряженном морозном воздухе властно плыла, нарастая и не прерываясь, мелодия. Она незримо сплавивала людей и, исторгнутая сквозь сомкнутые губы, была неуязвима, как воздух, как высокое небо и вольный ветер.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Святой и правый

Горели,  
как звезды,  
границы штыков...

Вл. Маяковский

## I

Ненастная осень давно оголила беревы и клены, и только на дубах цепко держались неживые, ржавые листья. На ветру они вздрагивали и глухо шуршали — скрюченные, сухие, унылые. Хмурые клубящиеся тучи обложили город. Москвичи сначала ждали: вот прокатится гром, полыхнут молнии, яростный ливень забарабанит по крышам, по стеклам, по подоконникам, промочит и освежит город, а наутро распогодится, взойдет по-осеннему спокойное и доброе солнце.

Увы, осень тянулась монотонная, без гроз, без гулких перекатов веселого грома, с затяжными, нудно морозящими дождями...

Павел Карлович, всегда ревниво следивший за колебаниями погоды, — «откроется» вечером небо или, наоборот, затянется плотными облаками, — в эти недели и месяцы словно и не замечал, какая погода, ясная или дождливая. В былые времена, едва подходил он к окну, чтобы взглянуть на небо, Вера Леонидовна становилась мрачной. Она уже знала, что муж сейчас уйдет к себе, к своему телескопу, и неизменно ворчала:

— Кометы, планеты, двойные звезды, нет им ни числа, ни конца, а жизнь одна...

Он молча выслушивал и уходил в башню.

Теперь, когда Павел Карлович расстался с Верой Лео-

нидовой и бывал в своей старой квартире лишь для того, чтобы повидаться с детьми, никто не ворчал на него, да и месяцы выдались такие, что немудрено было забыть или не заметить, или, точнее, не обратить внимания — весна ли, осень ли...

На днях пришла к нему в башню няня, Матрена Алексеевна. Без острой надобности в «казенное помещение» она не приходила, и если уж пришла, то повод наверняка был уважительный.

— Вы уж извиняйте старую, — начала Алексеевна, — без спросу я, без разрешения. Теперь-то вас на Пресне не враз подкараулишь. А я, как заприметила черную кожанку, пу решила, не упущу Павла Карлыча, попотчую.

Штернбергу приходилось часто бывать на заводах, в казармах, и он носил свои высокие яловые сапоги, кожаную куртку и кожаную фуражку, словом, походную одежду, которую обычно надевал в экспедиции.

Матрена Алексеевна застелила газетой стол, сняла полосатое полотенце, прикрывавшее круглую сковороду с блинами. Блины были горячие, пахли жареной корочкой, растительным маслом и еще чем-то необъяснимо-приятным.

Павел Карлович, как и все москвичи осенью 1917-го, жил голодно, на скудном пайке, а запасливая Матрена Алексеевна кое-что сохранила — она всегда покупала продукты впрок.

— Балуете вы меня, Алексеевна, — сказал Штернберг. — Я, правда, завтракал, но от ваших блинов не откажусь. Знаю, какая вы мастерица.

— Ешьте на здоровье, — обрадовалась похвале Матрена Алексеевна и отошла к окну.

— Дома все в порядке? — спросил Павел Карлович. Он уловил на лице Алексеевны озабоченность.

— В порядке, в порядке, все здоровы, — ответила она,

и ясно было, что разговор будет о чем-то другом. И, глядя в окно, на опустевший двор обсерватории, на синичек, прыгающих по голым веткам, она вдруг заговорила о том, что скоро холода; что уже и отсталый журавль давно улетел; что осинники там, вдоль берегов Вертушинки, отполыхали, осыпались, стоят раздетые, отшумели листобой, астафьевы ветры, и воробьи под носом у кур крохи растаскивают; что в Вертушине не так уж плохо: крестьяне дров, наверное, панилили, сложили их в поленницы, и зимой в избах будет тепло.

— Вас кто обидел в Москве? — насторожился Штернберг. — Что это вы про Вертушину так заговорили? И что это за листобой и астафьевы ветры?

— За что меня обижать? — искренне удивилась Матрена Алексеевна. — А листобоем мы ветер называем, который последние листья с деревьев сбивает. Еще мы его астафьевым ветром нарекли, потому что у мельника Астафия в эту пору праздник, все ветряки крутятся.

Матрена Алексеевна отошла от окна, приблизилась к столу. Она как-то виновато съежилась, поникла и опять попросила:

— Не судите меня, старую, что голову вам морочу, может, позвольте детей увезти в Вертушину?

— В Вертушину? — Штернберг повел плечами. — Это еще зачем? Чья это фантазия?

— Дело говорю, — перешла почти на шепот Матрена Алексеевна, хотя были они в комнате вдвоем. — Там всю эту смуту переждать можно.

И она поведала Павлу Карловичу, что наслышалась разговоров о великой смуте, что скоро с фронта придут полки и опять из пушек будут расстреливать рабочих, которые хотят сбросить власти. А железо — оно железо и есть, не понимает, не разбирается, кто старый, кто малый, — всех посечет. А в деревне, мол, тихо-мирно, даст бог прокормимся, переждем.

И, боясь, что Павел Карлович скажет что-нибудь такое, разрушающее все ее предложения, Матрена Алексеевна еще тише, еще сокровеннее прошептала:

— И вам поостеречься надо. Прислуга Рябушинских сказывала, что वोжаков рабочих хотят перерезать, своими ушами слышала.

«До чего же она старенькая»,— подумал Штерибберг, глядя на сухое, сморщенное лицо, на бороздки морщин на шее, на сутулящуюся спину.

— Не кручиньтесь, Алексеевна,— сказал Штерибберг громко и бодро,— не нам их бояться. Новые времена, новые песни!

Он встал из-за стола и улыбнулся ей, и в его голубых, добрых глазах не было утешающего обмана, когда говорят одно, а думают другое.

— Пусть они нас боятся,— повторил Павел Карлович,— выбросьте из головы страхи, незачем вам с детьми в Вертушину ехать. Понятно?

Она закивала, соглашаясь, вери ему, хотя он в глазах читал не до конца развеянные сомнения. Потом, уже собравшись уходить и накрыв сковороду полотенцем, она не удержалась, обернулась:

— Ох, и похудели вы, Павел Карлыч!

На нем была никейная сорочка, которая года два назад после первой стирки сильно села, стала тесновата, и Матрена Алексеевна переставила на воротнике пуговицу. Теперь же воротник казался чрезмерно просторным — между ним и шеей свободно проходили два пальца.

— Были бы кости...— Павел Карлович опять улыбнулся, и Матрена Алексеевна ушла, ободренная и утешенная. Когда он улыбался — а улыбался он редко, был даже мрачноват,— лицо смягчалось, усталость, словно снугнутая, исчезала.

«И в самом деле, два пальца просунуть можно».—

Штернберг убедился, что это вполне справедливо, и удивился: он этого прежде не замечал. Впрочем, в минувшие полтора года думать о себе, следить за собой вообще не приходилось. Болезнь окончательно скрутила Цераского, он оставил службу, уехал с домочадцами в Крым, надеясь, что Черное море и мягкий климат помогут ему поправиться. Директором обсерватории назначили Павла Карловича. Время новой должности не было для него неожиданным, не было тягостным: Цераский болел давно, постепенно заботы по обсерватории Штернбергу приходилось взваливать на свои плечи. Служба службой, сама по себе всепоглощающая, не укладывающаяся в рамки «от и до», с чередой бессонных ночей, с сомнениями, спорами, поисками. Однако жизнь Павла Карловича была неизмеримо полнее, чем о ней ведали коллеги. Никто из них не догадывался, что степенный профессор, педантичный, строгий, с юных лет посвятивший себя науке,— большевик.

Правда, в феврале семнадцатого года тайное стало явным, большевики вышли из подполья, и Сергей Николаевич Блажко, все узнававший первым, не замедлил прореагировать на новость:

— Так вы...— начал было он, но у него не хватило духу произнести слово «большевик». Он сказал: — Вы — человек-загадка!

Загадка. Павел Карлович сразу догадался, что имеет в виду Блажко, и, пряча в бороде усмешку, ответил:

— Не будь загадок, чем занимались бы мы, астрономы?

— Да, да,— пробормотал Сергей Николаевич, все еще оставаясь под впечатлением ошеломившей его новости.— Да, да, вы правы.

Климент Аркадьевич Тимирязев, встретив Штернберга на Тверской, песказанию обрадовался:

— О-о, вот и вы, вот и вы! На ловца и зверь бежит.

И увел Штернберга к себе.

Павел Карлович и прежде бывал в квартире Тимирязева и всякий раз удивлялся: есть ли на свете вторая такая квартира, где бы каждая вещь, каждая книга, каждая фотографическая карточка могли бы так много рассказать о своем хозяине.

В кабинете Климент Аркадьевич обычно усаживал гостя в большое мягкое кресло, а сам садился в жесткое, с деревянной полукруглой спинкой. Окна его кабинета выходили во двор, смотрели на красную кирпичную стену соседнего дома. Света не хватало, всегда было сумеречно, но неудержимо тянуло оглядеться — все вокруг привлекало необычностью: и огромный письменный стол с массивным чернильным прибором, подаренным отцом, и папки с листами заветного тимирязевского труда «Солнце, жизнь и хлорофилл» — труда, которому он отдал долгие десятилетия. Изогнутая металлическая змея, заменявшая пресс, лежала на листах, а рядом — две микрокниги: гетевский «Фауст» и «Книга песен» Гейне.

Стоило заговорить с Климентом Аркадьевичем об этих миниатюрных изданиях, и не было б конца рассказам — и о лейпцигских книгопечатниках, и о поэзии великих немцев, и, конечно, почитал бы он стихи, выученные давно, ставшие неотделимой частью его жизни.

В простенке между двумя окнами стояла знаменитая «дарвинская» этажерка: на ней теснились все издания Дарвина на английском и русском языках, а сам ученый поглядывал на гостя с портрета из-под торчащих щеткой бровей, величаво-спокойный и, как древний пророк, белобородый.

В тот раз, когда Тимирязев привел к себе Штернберга прямо с Тверской, Павел Карлович мгновенно подметил перемены, изменившие привычный порядок на рабочем столе Климента Аркадьевича. Папки с трудом «Солнце, жизнь и хлорофилл» утонули под листками незнакомой

рукописи, под грудой большевистских газет, и только острый хвостик металлической змеи выглядывал из-под свежего номера «Социал-демократа».

Климент Аркадьевич был все тот же — высокий, изящный, с чуть волнистыми волосами, с едва видимым прямым пробором, с белой длинной бородкой, сливающейся с усами, с легким румянцем от мороза. И все же он был другой — необычайно возбужденный, почти восторженный, то заикающийся больше обычного, то говорящий вздохом, без единой запинки.

Тимирязев ни разу не завел речь о Дарвине — это бывало с ним крайне редко, ни разу не вспомнил «Фауста», не показал репродукции своего любимого Тернера, не восторгался пейзажами Поленова и Левитана, не рассуждал о том, что ландшафтная живопись достигла своего развития именно в XIX веке — веке естествознания. Все его внимание было обращено на стопу газет — на столе накопилось их немало. Он восклицал:

— Читаю, понимаете, читаю, впитываю, как губка, дышу глубоко, как двадцатилетний. Все-таки дожили! Россия без царя, без синих мундиров! А потом...

Он широко развел руками, встал из своего кресла с жесткой полукруглой спинкой и заходил по кабинету, хотя ходить было трудно — то мешала этажерка с «Британской энциклопедией», то тумбочки, плотно набитые черповиками рукописей, то шкаф, сплошь состоящий из маленьких ящичков-ячеек.

— А вы, а вы, — Тимирязев остановился возле Штерпберга, — ох и скрытен, ох и скрытен!

Климент Аркадьевич прочитал по-английски стивенсоновские строчки из «Верескового меда» о тайпе, покачал головой и сказал:

— Я рад, что вы с большевиками. А за то, что скрытничали, придется сейчас расплачиваться: слушайте, что я написал.



Тимирязев взял со стола листки и прочитал:  
— «Красное знамя. Притча».  
И из-под пенсне глянул на Штернберга...

За окном голо, морось и слякоть; октябрь перевалил на вторую половину, а он, Штернберг, и не заметил, как пролетели, истаяли последние месяцы. Пожалуй, такое ощущение стремительности испытываешь в скором поезде: мелькают верстовые столбы, потом перестаешь их замечать, и мелкие станции проносятся мимо, как облачка в ветреную погоду, и ждешь только ее, настраиваешься на нее — на главную, конечную станцию, цель своего пути.

Так сложился нынешний год — оглядываться было некогда, очень уж быстро мчался поезд времени, а все-таки до чего примечательной оказалась весна! Примечательна на сей раз тем, что апрель выдался теплый и безоблачный, деревья до срока взбугрились почками, с Невы тянуло свежестью ранней весны, в самом воздухе словно растворилось предчувствие чего-то хорошего и значительного.

Штернберг приехал в Петербург на Первый Всероссийский съезд астрономов. Закоренелые отшельники, чьи одинокие телескопы следили за звездами во Владивостоке и Ташкенте, в Симеизе и Чарджуе, собрались вместе.

Аристарх Аполлонович Белопольский, давний соратник по экспедиции в Юрьевец, оглядывая из президиума зал, шептал Павлу Карловичу:

— Смотрите, сколько нас! А тогда, на Волге, шумела суеверная толпа, ждавшая конца света, бормотал проклятия Фогель, у которого погибли пластинки, да и у нас души ушли в пятки: облака могли сорвать съемки такого затмения!..

Павла Карловича избрали председателем съезда. Он произнес вступительное слово, отдал дань рыцарям науки, помянул француза Делиля, директора первой русской обсерватории; Ломоносова, открывшего атмосферу на Венере; не забыл и Сергея Васильевича Щербакова, скромного энтузиаста, председателя астрономического кружка в Нижнем Новгороде. Кружковцы не потерялись в ряду громких имен, потому что впервые в отечестве выпустили они «Русский астрономический календарь», двадцать три томика — целую библиотеку!..

Штернберг, как и подобает председателю, был деловит и общителен, и никто, очевидно, не заметил, что порою он рассеянно слушал выступавших, мыслями витал далеко за пределами многолюдного зала.

Коллегам-астрономам было, конечно, невдомек, что их почтенный председатель тремя днями раньше, перед самым открытием съезда, на Финляндском вокзале встречал Ленина.

Была апрельская ночь. Темель вспарывали широкие лезвия прожекторов. Привокзальные улицы, площадь, перрон за всю свою историю, наверное, не знали такого скопления народа. Делегации заводов и фабрик все прибывали и прибывали. Горящие факелы жадно лизали темноту, высвечивая алые полотнища.

Поезд опаздывал. Уже вкрадывалась тревога — почему? Кто-то из Петроградского комитета позвонил в Белоостров — первую станцию на русской территории.

— Проехал, — ответили из Белоострова. — Поезд задерживают встречи с рабочими.

Когда паровоз, торжественно выдыхая клубы пара, медленно протянул вдоль перрона цепочку вагонов, было непонятно, как Ленин выйдет: люди плотно стояли у самого железнодорожного полотна. Но вот они неохотно подались назад. Матросы и солдаты взяли на караул. Военный оркестр, не замеченный раньше, грянул «Мар-

сельезу». Чекая шаг, придерживая саблю, отделился от почетного караула капитан и застыл перед Ильичем как вкопанный.

Павел Карлович не слышал слов рапорта. Ленин, явно смущенный церемониалом, потянул полусогнутые пальцы к козырьку. Встречающие притихли. Было почти невероятно, что такая масса людей безмолвно затаилась.

— Да здравствует социалистическая революция!

Ильич качнул головой, взмахом руки как бы поставил восклицательный знак и, подхваченный друзьями, слился с людским потоком.

Море голов заколыхалось. Штернберг ничего не видел, кроме серых солдатских папах, черных матросских бушлатов, рабочих курток, жепских платков, воздушаемого ветром кумача.

«Он там»,— догадался Павел Карлович, глядя туда, куда были повернуты тысячи лиц.

Ленин снова возник уже не на перроне, а на площади, когда его подняли на башню броневика, когда скрестились на нем лучи двух прожекторов. Он шурился от слепящего света, кепка торчала из кармана распахнутого пальто. Живой коридор раздвигался перед броневиком и тут же смыкался. Казалось, что и броневик, и Ленин, и люди, и плакаты, и вся земля едва уловимо плывут к Кропверкскому проспекту, к дворцу Кшесинской...

Да, нынешняя веспа оказалась по-настоящему примечательной, но теперь она далеко-далеко, и осень соединила в единый узел самые острые и горячие проблемы.

Здесь, в обсерватории, Штернберг, по существу, стал гостем, ну не совсем гостем, астрономы по-прежнему не обходились без его советов, без его участия, хотя в мае Московский комитет освободил Павла Карловича от штатной работы и поручил ему организацию Красной гвардии. Конечно, «освободить» Штернберга от астрономии было невозможно, однако теперь его появление в обсерватории,

как, впрочем и отъезды, отличалось внезапностью, подолгу он не задерживался.

Сегодня Павел Карлович извлек из трубы рефрактора давнишний план Москвы, приготовленный на случай «В. В.». Все-таки дождался он своего часа! Пришла пора раздать по районам схемы с проходными дворами, с узлами связи, вокзалами, воинскими частями...

На дворе усилился дождь, брызги застучали по стеклу. Пришлось план, вычерченный на ватмане, свернутый в тугую трубку, обернуть в лоскут полинялого брезента, оставшегося от старой палатки, с которой выезжали когда-то на затмения в Юрьевец и Феодосию. Аккуратный Павел Карлович стянул по краям трубку шпагатом, проверил, нет ли зазоров — не попала бы влага! — и без двадцати десять падел кожанку.

Самокатчик прикатил к калитке обсерватории по военному точно — минута в минуту. Дождь разошелся всерьез, хлестал холодными брызгами. Шинель на самокатчике вымокла до нитки. Досталось и Штенбергу в его кожаной фуражке и кожаной куртке — затекало за ворот.

На углу Тверской и Гнезниковского переулка, прячась под зонты, уныло темнела очередь возле продуктового магазина. Павел Карлович, представив оставшийся за синей путь до Пресни, подумал, что без техники пришлось бы туго. Самокатный батальон был полностью на стороне большевиков и по возможности, вопреки своему начальству, выделял мотоциклы для нужд Центрального штаба Красной гвардии.

Мотоцикл, расплескивая лужи, лихо развернулся возле гостиницы «Дрезден». Штернберг едва успел сказать самокатчику: «Спасибо, товарищ!», как под колесами опять заплескалась растревоженная вода.

## II

### РАССКАЗ

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БЛАЖКО

Позволю себе, милостивые государи, пооткровенничать с вами. Может быть, и в ущерб себе, стоит ли свои слабости напоказ выставлять? Однако же *volens nolens* — шила в мешке не утаишь: люблю по воскресеньям в объятиях Морфея понежиться.

Выплюсь за двоих, облачусь в теплый халат, сяду в глубокое кресло, жена кофею с цукориями подаст — блаженствую, вальяжничаю. Прежде какао подавала, теперь, по нынешним временам, и кофею рады — на Сухаревке, на черном рынке, купила.

Отопью глоток горяченького, раскрою «Одиссею» Гомерову, знаете, в переводе Василия Андреевича Жуковского, чудесный перевод, и отдыхаю душой и телом.

Супруга моя, слава богу, в зрелые лета перестала меня ревновать к Пенелопе, а чтоб вовсе размягчить ее строгое сердце, читаю ей строчки со смыслом, ласкающим женское ухо:

Счастливы ты, друг, многохитростный муж, Одиссей  
богоравный!  
Добрую, правами чистую выбрал себе ты супругу;  
Рознь с тобою себя непорочно вела Пенелопа...

Вот так, пребывая в приятной праздности, сидел я в кресле, когда жена позвала меня к окну да велела поторапливаться. Вставать, признаться, не хотелось, что, думаю, за невидаль там за окном? Приблизился — стекло, словно заплаканное, все в дождевых каплях, а внизу, у калитки, мотоциклетка стоит, солдат за рулем.

Еще и поразмыслить ни о чем не успел, не по себе стало. Последний раз военные наведывались в обсерваторию в декабре девятьсот пятого. Уж на что Витольд

Карлович Цераский, человек корректный, деликатный и выдержанный, пока с казачьим офицером объяснялся, лицо багровыми пятнами покрылось. А тот — вы простите за грубость — хам, слов не выбирал, точно пьяный мужик на ярмарке, да еще плеткой помахивал.

Не утаю от вас — посмотрел в окно, узрел военную шинель, екнуло сердце, закололо: за Павлом Карловичем пожаловали. Хотел во двор выбежать, смотрю: сам Павел Карлович из калитки вышел, солдату руку пожал, голову кверху поднял, что-то сказал, может, на дождь посетовал, сел в коляску и укатил в мотоциклетке.

Погода на дворе мерзопакостная, сверху — вода, снизу — вода, лужи, грязь, холодно, неуютно. Супруга на меня очи вскинула, я на нее смотрю — что тут скажешь?

Не допил я свой кофей, оставил Гомерову «Одиссею», неловко стало от праздности, хотя воскресенье есть воскресенье, отдых заслуженный, законный.

— Ох,— завздыхала моя супруга,— не случилось бы чего худого!

— Не случится,— ответил я так, будто мне было известно что-то такое, чего не знали другие. Сказал — мужчинам должно утешать женщин,— а у самого, признаться, на душе кошки скребут. Время смутное, в народе брожение, правительство временное — название само за себя говорит. Во что все это выльется — одному богу ведомо.

Прежде наша обсерватория была государством в государстве, политика, за редким исключением, обходила нас стороной. Известно: телескопы смотрят в небо! И уж от кого-кого, а от Павла Карловича не ожидал сюрприза — большевик! И ведь знакомы мы не год и не два, слава богу, четверть века бок о бок работаем, *singulum vitae* — течение жизни его все перед глазами, в науку погружен с головой, права ровного, в привычках и склонностях постоянен.

В обсерватории, не скрою, случалось — вспылит Витольд Карлович, сорвется с языка хлесткая фраза. Помнится, после Кровавого воскресенья не сдержался он, дал волю своим эмоциям. И со мной, кажется, подобное случалось. А чтоб Павел Карлович что-либо лишнее сказал, в политический спор вмешался — такого не было. Именно поэтому, наверное, настоящий переполох поднялся, когда в августе девятьсот шестого у Павла Карловича на дому обыск произвели.

Подумайте сами: хозяин квартиры в отлучке, жена его с детьми в имении отца, в деревне, а сыщики по ящикам шарят.

Вернулся Павел Карлович — вы посмотрели бы на него: глаза горят, ходит так, что пол дрожит, борода как лес дремучий. Настоящий медведь!

Мне это сравнение не случайно на ум пришло. Когда-то Леонид Андреев в обсерватории побывал. Авось и пьесу его читали — «К звездам». Об одном персонаже у него сказано: своеобразно красив, медведеобразен.

— Так это же Павел Карлович! — решили мы. Вот я увидел я его во гневе, медведеобразного. Ну а вся эта история выведенного яйца не стоила. Последствий не имела.

Был и другой случай, можно сказать, политический.

У себя в университете — как-никак наша *Alma Mater*, мы, ученые, считали себя хозяевами. И вдруг, как снег на голову! Правительство издало постановление: все собрания в высших учебных заведениях, за исключением научных, запрещаются.

Наше университетское самоуправление полетело вверх тормашками. Дали нам, извините, пинок ниже спины. О каком самоуправлении могла идти речь? Не совет университета, а совет министров отныне решал, где, когда и для каких надобностей собираться студентам.

Не буду вам разъяснять, что наука и кнут — вещи

несовместимые. Аудитории загудели, как растревоженный улей. Студенты — порох. Это общеизвестно. От искры воспламеняются. Ученые тоже — в штыки.

Я «Русские ведомости» выписываю. Поверите, не было номера, чтобы не печатались заявления профессоров и приват-доцентов об отставке. И все имена какие: Алексинский и Вернадский, Зелинский и Лебедев, Млодзеевский и Чаплыгин, Умов и Тимирязев!

Климент Аркадьевич черным по белому так и написал в газете:

«Московский университет сделал усилие, чтобы устоять от папора мутной волны повального раболепия...»

Представляете, какая каша заварилась? Почти сто тридцать профессоров и приват-доцентов министру просвещения, по существу, заявили: «Вы начали, ваше сиятельство,— извольте расхлебывать. А мы уходим».

Ушел, отказался преподавать и Витольд Карлович.

Не скажу точно, сколько дней минуло после начала этих прискорбных событий, встречаю Павла Карловича. Мрачен как туча. Кивнул мне сдержанно, чувствую, хочет мимо пройти. А меня нечистая за язык дернула:

— Здравствуйте, коллега! Что скажете — экое творится на белом свете?

Я поздоровался, фразу бросил, а сам в памяти роюсь, констатирую про себя,— ведь Павел Карлович из университета не ушел.

— На свете всегда что-нибудь творится,— ответил он.— Честь имею...

И, не задерживаясь, тяжело и неспешно ступая, направился к башне. Таким расстроенным и отчужденным я никогда прежде его не видел. Теперь-то я понимаю — несладко было у него на душе, нелегко было ему от товарищей, близких по духу, отмежеваться, да, видно, дело требовало, лишний раз к себе полицейское око привлекать не имел права. А тогда я подумал: не человек — грапит,



кроме науки, для него ничего не существует. Будь хоть всемирный потоп — ему бы астрограф да ясное небо, чтоб звезды светили.

Ученый он, конечно, милостью божьей. Я пришел на обсерваторию после университета, в девяносто втором году. По возрасту Павел Карлович всего на несколько лет старше меня, а его к тому времени почитали как маститого астронома. И за дело почитали. Я расскажу вам про один эпизод, маленький эпизод в его жизни.

Когда-то Павел Карлович высказал предположение, что колебания широты Голулу одной величины с колебаниями в Берлине. Голулу где-то в Тихом океане, на Гавайских островах. Казалось бы, что общего? И представьте себе, Центральное бюро международных градусных измерений после многомесячных исследований и наблюдений пришло к тому же выводу.

Вот что значит интуиция настоящего ученого! А интуиция, как метеориты, с неба не падает. Судьба ею не часто одаривает. Его одарила. И как не одарить — великий труженик. Работает он, надо признаться, истово, жжет свечу с двух концов. Представить его нагрузку даже нам, коллегам, почти невозможно.

В частной гимназии Креймана курс астрономии читает? Читает. На Высших женских курсах астрономию читает? Читает. В университете курс астрономии читает? Читает.

Научную работу ведет?

Чтоб ответить на этот вопрос, и слова подходящего не отыщешь. Не «ведет» он научную работу, а живет этой работой. Тут, осмелюсь подчеркнуть, зримое различие.

Когда Павел Карлович вел наблюдения за звездами и проводил съемки, за три года он не пропустил ни одной ясной ночи. Ни одной поченьки за три года — прикиньте, пораздумайте, каким словом эту работу обозначить?

Четверым бы такой воз тянуть — неизвестно, потянут ли, а он один справляется.

Слава богу, я не понаслышке рассказываю — *de visu* — на виду — все, о чем толкую с вами. Одни курсы Герье полжизни, наверное, отняли. Программы по описательной и сферической астрономии кто составлял? Штернберг. Приборы для курсов кто выписывал? Штернберг. На крыше астрономическую площадку со зрительной трубой кто оборудовал? Штернберг.

Как-то и меня он на площадку завлек. Стали мы в сторонке, смотрим, слушаем. Девушки с томками Фламариона пришли, с книжками Ньюкомба и Энгельмана. Энтузиастки. Ведут записи наблюдений. Спорят.

Одна говорит, что Галилей открыл комбинацию из стекол для зрительной трубы; другая возражает — первая зрительная труба появилась в Голландии; третья интересуется, верно ли у Ньюкомба написано, что в зрительную трубу можно в течение года больше комет увидеть, чем простым глазом за всю человеческую жизнь.

Павел Карлович в бороду ухмыляется: будет дело, а? И не ошибся: его курсистки оказались первыми русскими женщинами, которые пришли в астрономию... Как тут ему не позавидовать. Сам молодой, а у него — ученики, последователи. Я не завистлив. Чего нет во мне, того нет. А ему завидую. Сидит в нем этакий «астрономический бес». Не успел он студенческую тужурку снять, как получил золотую медаль за работу о красном пятне Юпитера. На магистерской диссертации у него оппонентами были Цераский и всеми почитаемый Жуковский. И опять медаль! Докторскую защитил столь блистательно, что, вопреки правилам, вспыхнули в аудитории рукоплескания. И там, на лестнице, когда проходил, опять рукоплескания. А сама докторская, скажу без преувеличения, — на столе каждого, кто занимается фотографической астрономией...

Как-то сложилось у нас на обсерватории, что об успехах коллег речи не велись. Двигается дело — ну и слава

богу. Согласитесь со мной — лестное в глаза говорить непристойно, во всяком случае, неловко. Порядочный человек вряд ли и слушать такое согласится. Да и есть ли досуг сладкословием изливаться, если делом занят. Но, знаете, щекочет мое самолюбие, когда зайдет иной раз Павел Карлович в мою «стеклянную библиотеку», порется в шкафу среди негативов, скажет:

— Ладно у вас, Сергей Николаевич!

Я из года в год область за областью фотографировал небо. Собралась на обсерватории «стеклянная библиотека». Вот и дней пять назад зашел Павел Карлович, долго рассматривал каталоги, выписал координаты какой-то звезды, дату и продолжительность экспозиции.

— Сколько надо успеть за жизнь! — вдруг сказал он и, кивнув, вышел.

Что он имел в виду? Уж не он ли успевал за троих, за семерых? Двойные звезды... Движение планетарных туманностей... Гравиметрия...

Чувствую, что говорю я бессвязно. Что-то мешает мне сосредоточиться. Окно сплошь забрызгано дождем. Колеса, оставленная самокатом, в котором уехал Павел Карлович, размыта водой.

Смутное время. Даже в воскресенье не отдохнешь. Непокойно. И все-таки *volens nolens*, а надо признаться, что, наверное, помимо астрономии существует что-то очень уж важное, если он укатил из обсерватории в заляпанной мотоциклетке невесть куда с этим молчаливым солдатом в серой шинели...

### III

Длинное трехэтажное здание гостиницы «Дрезден» с высокими окнами, украшенными белой облицовкой, смотрело на Скобелевскую площадь. На площади, перед домом генерал-губернатора, долгие годы со-

вершался торжественный развод караулов. Гремела барабанная дробь. Обитатели гостиницы высовывались в окна, чтобы поглазеть на необычный церемониал.

Площадь всегда была оживлена: гувернеры везли детей в пансионы, чиновники спешили в присутственные места, прохожие оглядывались на медлительно-важных полицейских, а полицейские провожали почтительными взглядами рессорные кареты.

В октябре семнадцатого облик Скобелевской площади неузнаваемо изменился. Дом генерал-губернатора уже называли «бывший дом генерал-губернатора» или просто «Московский Совет»; развод караулов прекратился, полицейские исчезли; возле гостиницы «Дрезден» экипажи с терпеливыми извозчиками, ожидавшими господ, сменили мотоциклы самокатчиков, заляпанные дорожной грязью брички с усталыми лошадьми, приковылявшими из дальних уездов.

Под крышей гостиницы «Дрезден» разместились большевистские организации: Московское областное бюро РСДРП(б), связанное с тринадцатью губерниями, окружком — он руководил партийной жизнью Московской губернии и, наконец, Московский комитет, принявший на свои плечи судьбу огромного города, его сегодняшний день, будущее сотен тысяч людей.

Мраморные лестницы гостиницы, когда-то празднично-белые, теперь хранили следы множества ног. В коридорах — бесконечно длинных и просторных — постоянно царило движение. Рабочие ходили деловито, они знали, куда идти и к кому обращаться; солдаты всегда спешили, их грубые, скрипучие сапоги, густо смазанные ваксой, вносили запах казармы; ходоки из сел, с небритыми лицами, с торбами за спиной, чувствовали себя не очень уверенно: оглядывали стены со старыми картинами с непонятными сюжетами, искали «товарища, который скажет, что делать крестьянам, как с землей, и вообще...»

Обстановка в городе усложнялась не по дням, а по часам. Ползли слухи из Петрограда о том, что Керенский хочет сдать столицу немцам, пусть, мол, расправятся с революцией. По всей Москве белили и красили здания, готовили их под правительственные учреждения.

Население Москвы жило впроголодь. В очередях то и дело слышалось:

— Ему бы, Керенскому, полфунта макухи...

Заводы и фабрики лихорадило. Хозяева пытались саботировать решения рабочих, рабочие брали контроль над предприятиями в свои руки.

Стотысячный Московский гарнизон будоражили волнения. Командующий войсками округа полковник Рябцев, дабы избавиться от «смутьянов, попавших под влияние большевиков», издавал грозные приказы, одни полки расформировывал, другие отправлял на фронт. Но солдаты митинговали, не подчиняясь приказам.

Вся эта многообразная, полная борьбы, конфликтов и противоречий жизнь вливалась по мраморным ступеням в гостиницу «Дрезден». Между тем на третьем этаже, в самом глухом конце коридора, была дверь, которая открывалась реже других. Она вела в комнату, соединенную со второй, смежной, и та, вторая, открывалась лишь после условного стука.

Все в этой комнате свидетельствовало о том, что работают здесь вечером, и может быть, ночью. На столах — лампы с покорно изогнутыми шеями, с зелеными абажурами; на единственном диване — небольшая домашняя подушка, закрытая легким серым одеялом.

Стены сплошь увешаны картами и плакатами Москвы. К одной из карт даже приставлена стремянка: чтобы прикрепить очередной флажок, приходится взбираться почти к потолку.

В комнате господствовал застоявшийся запах табака. Павел Карлович никогда не курил, табачный дух резко

ударял в нос. Попытки урезонить курильщиков успеха не имели. Каждый, едва переступая порог, вынимал из кнута, или из железной коробочки, или из портсигара табак и, оторвав клочок газеты, сворачивал самокрутку.

Среди членов Центрального штаба Красной гвардии, как на грех, курили все: Ян Пече яростно затягивался и выдыхал дым густой струей; Алексей Ведерников непрерывно сосал свою прокуренную трубку; Петр Добрынин раздумчиво выпускал дым в форточку, он завивался колечками, исчезая за окном.

Ян Пече редко бывал на месте. Выходец из военных, сохранивший не только выправку и подтянутость, но и завидную энергию, он пропадал в полках, на оборонных заводах, устанавливая контакты с нужными людьми. Его подвижность ошеломляла: утром — поездка к пиротехникам, днем — Лефортово, мастерские тяжелой осадной артиллерии, вечером — пироксилиновый завод в Кунцево.

Павел Карлович видел однажды, как, вернувшись из Лефортова, Пече сел на диван, вытянул ноги, расслабился и, кажется, задремал. Вид у него был усталый, щеки западали. Завтракал ли? Обедая ли? Голова чуть склонилась вниз, густая борода коснулась аккуратно повязанного галстука. Через десять минут он легко поднялся с дивана:

— Пора! Еду в Кунцево!

Петр Добрынин не был столь подвижен и вездесущ, как Пече, хотя и он не задерживался на месте. Как-то он привел в штаб угловатого, коренастого трамвайщика, с упрямыми складками у рта, представил его:

— Апаков. Он все расскажет. А я — в столовку!

В Замоскворечье большевистский райком размещался в верхнем этаже столовой Коммерческого института. За Москвой-рекой ни для кого не было секретом: «столовец» — значит большевик. По вечерам Петр Григорьевич проводил там военные занятия.

Добрынин в штабе был самым молодым. Он скорее

напоминал артиста, чем рабочего: на широком лице нежная кожа, высокий лоб, обрамленный курчавыми волосами, одухотворенно-сосредоточенные карие глаза, белая сорочка со стоячим воротником и темной бабочкой.

Штернберг, не угадавший при знакомстве профессию Добрынина, очень обрадовался, когда узнал, что в детстве Петр лепил из глины головы дорогомилловских сверстников, рисовал карандашом на шершавых листах дешевых школьных альбомов, углем — на заборах, острой палкой — на земле, словом, увлекался «художеством». Увлечение, может быть, и не угасло бы, если б более сильные впечатления не оттеснили, не затмили детскую страсть. В декабре девятьсот пятого пожарища Пресни затянули черным дымом одноэтажное Дорогомиллово, и одиннадцатилетний Петя с мальчишками бегал к Прохоровской мануфактуре, выводил по льду Москвы-реки дружинников.

В отцовском сарае мальчик зарыл браунинг, обоймы с патронами; потянулся к военному делу. Сначала он атаманил на своей немощеной улице, потом начал разыскивать книги о походах и ратных подвигах. В конце концов в руки его попал роман «Война и мир». Он нетерпеливо перелистывал страницы о светской жизни, о любви, зато описания боев читал и перечитывал, дислокацию русских и французских войск нанес на листы своих альбомов по рисованию и сам «разыгрывал» битвы, ставя себя то на место Кутузова, то на место Наполеона.

В шестнадцать лет Петр изучил наизубок книгу Вычегодского «Тактика уличного боя». Он додумывал главы, которые диктовали новое время и новая обстановка. О склонностях смекалистого и напористого рабочего с Телефонного завода узнал секретарь Замоскворецкого райкома Владимир Файдыш. Он-то и предложил кандидатуру Добрынина в Центральный штаб Красной гвардии. Штаб формировал МК...

Когда за Добрыниным захлопнулась дверь, Алексей Ведерников обратился к Павлу Карловичу:

— Ну чо, послушаем Апакова.

Ведерников не изменял своей старой сибирской привычке и вместо «что» говорил «чо».

Предложение Апакова было заманчиво и просто. На перекрестках и центральных улицах стояли трамвайные будки с телефонами. Если посадить в них своих людей, а трамвайщики все, как один, идут за большевиками, то можно по телефону передавать сведения о передвижении юнкеров и офицера.

— Дело говоришь,— похвалил насупленного трамвайщика Ведерников, пососал свою трубку, предложил: — Табачку хочешь?

Апаков молча вынул из куртки номер «Социал-демократа», оторвал краешек возле заголовка, чтобы не пострадал текст, и, получив щепоть табаку, свернул сигарку.

Павел Карлович зелеными кружочками обозначил на плане Москвы трамвайные будки:

— Завтра же испытаем!

В комнате они остались вдвоем: Ведерников и Штернберг. Алексей Степанович внешне почти не изменился — Павел Карлович хорошо помнил его по встречам в 1906 году, когда велась съемка улиц Москвы. За эти годы Ведерников испил до дна чашу испытаний: перенес шесть лет каторги в Ярославском центре, изведal все, вплоть до порки. Оттуда попал в ссылку, а енисейская ссылка оказалась не намного слаще каторги. Неразговорчивый Алексей Степанович отзывался о ней кратко: «Решеток на окнах нет, а так хрен редьки не слаще».

Павел Карлович втайне любовался Ведерниковым: столько изведal, а посмотришь: моложавое лицо, гладкие черные волосы откинуты назад, клинышек бородки без единого седого волоска. Крепок как сибирский кедрач. И невозможно спокоеп. Он относился к породе тех медли-



тельных, внешне невозмутимых людей, которые раскрываются лишь в минуту опасности. От кого-то из товарищей Штернберг слышал историю, связанную с событиями в Томске, где Ведерникова застала революция 1905 года.

Семнадцатого октября, после объявления царского манифеста, рабочие Томска собрались в здании управления железной дороги на митинг. Черносотенцы окружили дом, облили керосином и подожгли. Всех, кто выбегал, расстреливали из винтовок и револьверов. В дыму горящего дома заматались обреченные люди.

Жертв оказалось много — обожженных, изувеченных, убитых. Погибли бы, пожалуй, все до единого, изжарились бы на адском костре, если бы не Ведерников. Стреляя на ходу, он повел горстку дружинников на черносотенцев. Двое или трое соратников Алексея Степановича упали под пулями, сам он тоже был ранен, но не остановился и не выпустил из рук револьвера. Черносотенцы разбежались...

Сегодня стало известно, что полковник Рябцев стягивает юнкеров к Манежу, к городской думе. Ведерников будто бы и не среагировал на сообщение. Но через несколько минут, дописав какую-то бумагу, он встал и начал набивать трубку.

— Схожу к самокатчикам, — сказал он. — Пусть разберутся, что там в Манеже, что Рябцев затеял?

Перед уходом Алексей Степанович всегда закуривал «по новой». Были у него на сей счет обоснованные доводы: курящему человеку живется лучше, дым заглушает голод. Пососешь трубку — и вроде бы позавтракал.

— Вы идите, — кивнул Павел Карлович. — Я еще посижу.

Он привык работать по ночам. Его могучий организм выдерживал перегрузки. Только где-то глубоко внутри посасывало от голода, то приглушаясь, то, как сегодня, требовательно и остро.

С кормежкой в Москве положение ухудшилось. Сначала выдавали три четверти фунта хлеба, потом перешли на полфунта.

Он пошарил в ящике стола в смутной надежде что-нибудь найти. Иногда ему удавалось отложить от вечерней пайки ломтик, чтобы в долгие ночные часы заморить червячка. На сей раз он обнаружил небольшой сверток. В свертке оказалась холодная круглая картофелина, невыносимо аппетитно пахнущая, и маленький сыроватый брусок черного хлеба.

В первое мгновение Павел Карлович обрадовался, однако через минуту нахмурился. За последние недели Варя сильно сдала: лицо заострилось, глаза запали, спит мало, недоедает, еще его подкармливает.

Утром, снаряжая их на работу, Варина мама, Анна Ивановна, дала им по свертку. Ему четыре картофелины, ей — три. А теперь Варя одну из трех выкроила для него.

«Возьму и отнесу ей!» — было первое, что пришло в голову Павлу Карловичу. Но тут же он вспомнил, чем закончился подобный «поход» на прошлой неделе. Варя посмотрела на него с горькой укоризной:

— Принесла — значит, могу, значит, надо.

В голосе ее звучала просьба — ешь, мол, ну что тебе, такому большому, эти крохи; звучала и другая нотка — «значит, надо», и тут уж — свойственная Варе твердость.

Штернберг посолил картофелину, посмотрел на нее и опять отложил в сверток, из которого вынул. Комковатый хлеб разжевал не спеша, чтоб продлить удовольствие. Крошки словно растаяли, голод стал ощутимее.

Он встал из-за стола и, с шумом отодвинув стул, как бы отодвинул и все посторонние заботы и мысли. От голода было одно проверенное средство — работа. Собственно, дожевывая сыроватый комок хлеба, он не переставал думать о скоплении юнкеров в Манеже и об «утечке» оружия в полках и бригадах, открыто поддерживающих

большевиков. Пока солдаты митинговали против отправки на фронт — «На убой не пойдем!», пока провозглашали лозунги — «Война войне!», «Вся власть Советам!», офицеры скрытно, тайком, вывезли пулеметы, огнеметы, винтовочные патроны в военные училища. Даже в мастерских тяжелой артиллерии «исчезли» панорамы от орудий, замки и снаряды.

Штернберг подошел к карте. Она пестрела красными флажками — так помечались революционно настроенные войска. Части противника, главным образом военные училища и школы прапорщиков, обозначенные черными крестиками, буквально тонули в алеющем море.

Центр Москвы плотным кольцом стягивали рабочие окраины. Широким клином, подступая к стенам Кремля, врезалось в сердцевины города пролетарское Замоскворечье. Красная гвардия уже насчитывала около десяти тысяч бойцов. Рабочие были готовы удвоить, утроить, может быть, удесятерить численность отрядов. Все упиралось в оружие. Правда, красногвардейцев штаб с грехом пополам вооружил: достали из тайников винтовки и револьверы, наладили выпуск гранат, пошли в ход и виноградовские оболочки от сепараторов. Кое-что добыли на военных заводах. Но Штернберг понимал: каплями жажду не утолишь. Приходилось радоваться и винчестерам, и берданкам. Патроны считали по пальцам — от силы на один хороший залп хватит.

А у них, у золотопогонников, — триста пулеметов, огненная река. Белое офицерье, обученное искусству убивать, все прибывает и прибывает — из госпиталей, из запасных команд, из резерва. Сколько их? Считали и пересчитывали, без уточнений не обойтись — то ли свыше двадцати тысяч, то ли около тридцати. С ними юнкера, прапорщики, купеческие сынки, студенческая верхушка, те самые, подкатывавшие к университету в экипажах.

Эти живыми не отдадут ничего. Надо вооружаться!

На первый взгляд оружие было под боком. Арсенал в Кремле, Мызо-Раевский и Симоновский огневые склады. Наконец, Кунцевский, Тульский, Владимирский оружейные заводы. Они не забыты — Ведерников обвел их черным волнистым овалом. На карте эти овалы, как острова — не очень далекие, но желанные. И план захвата огневых складов вчерне разработан. Только бы не опоздать. Только бы не упустить решающий момент...

Павел Карлович на листке с перечнем неотложных дел на завтра крупными буквами написал: «Оружие»...

Маленькая стрелка оставила позади хвостик округлой двойки.

— Третий час, — удивился Штернберг. — Где же Варя?

Обычно Варя, работавшая в этом же здании, к двум часам ночи заходила за ним. Он прошел по коридору до первого поворота и, войдя в комнату областного бюро РСДРП(б), сразу догадался: что-то случилось.

Возле Вариного стола стояло несколько человек. За спинами Варю не было видно, но он услышал ее голос — она, очевидно, отвечала на вопрос:

— Да, есть убитые, есть раненые. Идут аресты.

На его шаги в комнате никто не оглянулся.

#### IV

Варя была секретарем Московского областного бюро РСДРП(б). Она первой получила весть о событиях в Калуге. Вызванные с фронта драгуны и батальон смертников разгромили Совет рабочих депутатов. Замысел реакции не вызывал сомнений — устрасить непокорных.

Пока обсуждалось содержание телеграмм в соседние губернии, Павел Карлович наблюдал за Варей. Она была непривычно бледной, какой-то даже бескровно-зеленой,

лицо, казалось, стало меньше, зато увеличился темные глаза.

Ее черное шерстяное платье с глянцеви́то поблескивающими посредине пуговицами, умело отутюженное, вполне могло сойти за новое или почти новое. Сколько бы ни пришлось Варе поспать — пусть два или три часа за ночь, — она выкраивала минуты, чтобы перед работой погладить свое единственное зимнее платье.

Без малого год, как Варя вернулась из ссылки, а у нее не было ни одного по-настоящему свободного досужего дня. Даже их дочь, Иришку, она видела урывками, обычно по утрам. Анне Ивановне неодолимо хотелось хоть чем-нибудь порадовать Варю, и она усердно внушала внучке, что самый близкий, самый родной человек — мама.

В результате получилась смешная сценка.

— Кто самый близкий, самый родной человек, внученька, а? — спросила как-то бабушка.

— Мама, — ответила Иришка.

— А кто твоя мама, поцелуй ее!

— Ты, бабушка, — сказала Иришка и стала целовать бабушкины морщины...

Павел Карлович, если б ему пришлось отвечать на вопрос, как сложилась его личная жизнь, наверняка задумался бы. Десять лет он и Варя — муж и жена, а сколько они были вместе? Разлучаться их заставляли неписанные законы конспирации, бесконечные Варинны аресты.

За всю их совместную жизнь он, для которого музыка оставалась единственной усладой, лишь один раз пригласил Варю в оперу, на «Кармен». Конечно, конспирацию приходилось соблюдать и здесь: Варя сидела в шестом ряду, он — в девятом. В антрактах они не общались. И все-таки они были вместе, под одной крышей, в одном зале, на одном спектакле.

Перед четвертым актом, после того как высокие лю-

стры предупредительно мигнули, возле Вари появились двое мужчин, безукоризненная выправка которых не оставляла сомнений в том, кто они. Ей не дали дослушать оперу. Ее увели через зал, провожаемую взглядами недоумения и любопытства...

Их разлуки повторялись с неотвратимой неизбежностью. Однажды ее арестовали девятнадцатого декабря — в день рождения. Арестовали и выслали в Сибирь.

Нарым казался недоступно далеким. Но Павел Карлович умудрился пробраться туда, отвез теплые вещи, деньги, предложил план побега.

Варя «заболела». Ее укутали в полушубок, обвязали платками. В округе свирепствовала инфлюэнца. Стражник, ежедневно проверявший ссыльных, поручил больную заботам заключенных.

Ночью, в кромешной метельной тьме, когда на Оби трещал, взламываясь, лед, неприхотливая нарымская лошадка увезла Варю из заточения. След санного полоза быстро укрыла пурга. А в Варину койку, обвязанный платками, лег, в утешение стражнику, один из ссыльных большевиков.

Ей суждено было опять попасть в Нарым. А потом опять побег, опять арест, опять этапы. Тогда уже родилась Иринка, и в Енотаевск — богом забытый городишко, полуразрушенную крепость середины XVIII века, затерянную в астраханских сыпучих степях, — добирались мучительно долго. Пришлось переправляться на правый берег Волги в самый разгар ледохода. Глыбастые льдины шибались, треск и грохот сотрясали округу, бурунами дыбилась свинцовая вода, качая на гребне белое крошево.

Анна Ивановна бормотала молитвы; Варя, прокусив до крови губу, одной рукой прижимала Иришку, другою вцепилась в борт метущейся лодки. Старик перевозчик споровисто работал веслами. Иногда он вскакивал, оттал-

кивая багром опасные льдины. Лодка угрожающе накренилась. Жандарм замирал, тщетно пытаясь продемонстрировать хладнокровие. У него на лбу проступали капли пота.

Павел Карлович узнал о енотаевской переправе много месяцев спустя. Открыто писать друг другу они не могли, и пытка неведеньем, пытка безмолвием была самым жестоким испытанием разлуки...

Когда Варя вернулась, наконец, из ссылки, ее избрали секретарем Московского областного бюро. На нее обрушилось столько работы, что дни и ночи, недели и месяцы слились в один непрерывный, нескончаемый день. Что-то стряслось с ее здоровьем. Начались приступы, о которых она ни слова не говорила Павлу Карловичу. Он все-таки заметил, что с Варей неладно, попросил осмотреть ее Владимира Александровича Обуха, товарища по МК, врача Первой градской больницы.

— Appendix! — произнес на безупречной латыни Обух и добавил: — Весьма запущенный. Тянуть не советую, надо в больницу!

— Владимир Александрович, миленький, — взмолилась Варя. — Некогда. Совершенно некогда.

Это «некогда» чуть не стоило ей жизни. Она пролежала после операции больше месяца и, едва выбравшись из больницы, на второй или третий день уехала в Петербург. Там ей суждено было пережить разгром юнкерами «Правды», тягчайшие минуты в квартире Аллилуевых, когда Ильич решал — являться ему на суд или не являться.

По приезде она говорила: «Это счастье, что он не пошел», по ночам что-то бормотала про суд, про юнкеров. Видно, пережитое еще отзывалось в сновидениях, и эта тревога за судьбу Ильича поселилась в ее сознании надолго и прочно.

В середине октября ее вызвали на заседание ЦК. На Петербургской стороне, возле Карповки, собрались в не-

большой квартире. Ленин — бритый, в парике — был почти неузнаваем. Только голос выдавал его. И привычка подчеркивать, усиливать смысл слов энергичным движением руки.

На очередь дня был поставлен вопрос о вооруженном восстании.

Варя возвратилась в Москву окрыленная, уверенная, «что вот-вот начнется главное». Она была среди самых яростных сторонников ленинского курса на восстание, воевала с колеблющимися, с теми, кто надеялся договориться с меньшевиками и эсерами, кто сетовал, что партия не готова, что надо оглядеться, подождать...

Когда комната опустела, она увидела накопец сидящего недалеко от стола мужа и, как бы продолжая спор со своими оппонентами, сказала:

— Огляделись, подождали — драгуны учинили в Калуге разгром.

Смертельно усталая, она откинулась к спинке стула, закрыла глаза, и ее лицо при свете настольной лампы под зеленым абажуром показалось еще бескровнее и зеленее. На столе стояла белая домашняя чашка с остатками недопитого, остывшего чая.

Ее слабостью и страстью был крепко заваренный, горячий чай. Она могла не есть, не спать — чай поддерживал ее, взбадривал, возвращал силы. В ее изящной кожаной сумочке, хранившей все необходимое, почетное место занимала железная коробочка с черными, терпко-ароматными чайинками.

Павел Карлович на несколько минут удалился, принес кипяток. Пока Варя колдовала над заваркой, он развернул бумажный сверток, перочинным ножом пополам разрезал большую холодную картофелину и, забыв, что уже солил ее, посолил опять.

Она взглянула на него устало, но без укоризны, сладко вдохнула, сказала:



- Завтра мама сварит горяченькой.
- Уже завтра,— ответил оп.— Ешь!

## V

Деревянные лестницы знакомо скрипывали под ногами. Все в подъезде оставалось таким же, как прежде, если не считать бледного пузырька электрической лампочки. Она словно прилипла к потолку, освещая подъезд.

Дверь отворила Вера. Несколько секунд она стояла, ничего не говоря и не приглашая Павла Карловича войти. Визит его в эту вечернюю пору был внезапен.

— Здравствуй! — сказала Вера.

— Добрый вечер! — ответил он.

Вера не повела его в детскую — дети, очевидно, спали, не повела и в свою комнату, где, по всей вероятности, вышивала — она любила по вечерам вышивать, а ввела Павла Карловича в его бывший кабинет.

Опустевшие книжные полки постепенно заполнились гимназическими учебниками, сочинениями Фенимора Купера, Дефо, Марка Твэна и Чарской. На письменном столе лежали листки с ребячьими рисунками. Синяя волнистая полоса — это, конечно, река, в утлой лодчонке человечки с удильщами — рыбаки, а на берегу каменное здание с золотой луковкой — церковь. Деревья возле церкви почти голые, лишь на одном задержались желтые клочки листьев. Осень.

Павел Карлович дольше, чем того требовали рисунки, задержал взгляд на них, чувствуя, что Вера разглядывает его. Он не был здесь месяца два. Срок, в конце концов, не такой большой, чтобы сильно измениться.

Отношения между ними определились давно, обозначились четко и окончательно. Оп ушел от Веры, оставив ей квартиру при обсерватории, обеспечив материально.

Жизнь с человеком, не разделявшим его взгляды, его идеалы, он считал безправственной, невозможной. Конечно, вокруг было немало браков, за внешним благополучием которых творился ад крошечный; конечно, он не раз слышал обывательское «стерпится — слюбится». Однако все эти рецепты были ему чужды и глубоко враждебны. Его натуру отличали определенность и та решительность, которая не боится боли, но боится неправды.

Вера, с присущей ей гордостью, смирилась с неотвратимым, никогда и никому не открывала глубоко скрытый рубец, оставленный их разрывом. Время — лекарь, наверное, это правда, но и лучший лекарь не всякую болезнь способен излечить. Нет-нет и заносит старая рана.

Ей хватило нескольких секунд, чтобы заметить: в его бороде засеребрились белые паутинки, в его лице — одухотворенность и озабоченность одновременно.

— Пришел предупредить тебя, Вера, — сказал Павел Карлович, — что в городе неспокойно. Не исключено, что будет еще неспокойнее. Прошу тебя: детей из дому не выпускай. И вообще, если понадобится — вот мой телефон, мой адрес...

Он вырвал из блокнота листок и положил перед ней.

— Опять вы что-то затеваете? — тревожно спросила она.

Это деление на «вы» и «мы» резко кольнуло ухо, он все-таки сдержался и спросил:

— Ты поняла мою просьбу относительно детей?

Она, словно не слыша его вопроса, продолжала:

— Вы опять что-то затеяли. Вам мало девятьсот пяти-того... Думаешь, я ничего не знаю, не слышу и не вижу?

— Теперь не девятьсот пятый, а девятьсот семнадцатый, — сказал он, вставая.

Вера разом сникла, синие глаза сузились, губы упрямо сомкнулись.

— Все? — резко спросила она.

— Все.

Он подошел к детской, осторожно приоткрыл дверь и, не зажигая света, послушал, как дышат дети. На несколько минут время остановилось. Он слился с этой тишиной.

Потом, как сквозь сон, Вера уловила поскрипывание ступенек, потом увидела его удаляющимся через двор. Он не оглянулся, а если б даже оглянулся, то не разглядел бы в темноте ее лица, прильнувшего к окну.

## VI

Кукин проснулся поздно, потянулся, хрустя суставами, громко зевая. Слипшиеся глаза не открывались. Он потянул руку к Василисе, нащупал подушку с вдавленным провалом: Василисы не было.

Клавдий Иванович тряхнул головой, прогоняя сон. В окне то ли сгущался вечер, то ли брезжил рассвет. Спросонья он не разобрался. Низкое и темное небо навалилось на крыши.

«Хмарь!» — поморщился Кукин и растер пятерней затекшее, помятое лицо. Ныла отяжелевшая голова. Противно было во рту — так противно, что хотелось выплюнуть вязкую слюну на пол.

Куда же подевалась Василиса?

Он прислушался: никаких звуков, только в углу, под иконой, тикали ходики. Острые малой стрелки тянулось к одиннадцати.

Язык, словно стянутый, трудно шевелился во рту.

«Могла бы поставить огуречного рассолу или холодной простокваши, — раздраженно подумал Клавдий Иванович. — Небось сидит в чайной, скрестив руки, корчит из себя царицу».

Семь-восемь месяцев назад он впервые увидел Василису. Был поздний зимний вечер. На Тверской, у самого

поворота к Гнездиновскому переулку, Клавдий Иванович лицом к лицу столкнулся со Звонарем.

— Бежим! — крикнул Звонарь. — Погоня!

Они смешались с прохожими, благо, народ валил после сеанса в кинематографе. На ходу запыхавшийся Звонарь сообщил, что рабочие разгромили охранку, в Гнездиновском — засада и что он чудом унес ноги.

Скоро Кукин остался один и побрел куда глаза глядят, пока крайняя усталость и стужа не заставили его оглядеться. В каком-то глухом, скудно освещенном переулке он остановился перед зашторенными окнами. Дом манил теплом, оттуда доносилась пегромкая музыка граммофона, а у входной двери висела вывеска: сбоку — пузатый самовар, в центре — «Чайная Степанидовой».

Дверная ручка как магнит притянула Кукипа. Он ухватился за нее плохо сгибающимися пальцами. В эту минуту никакая сила не смогла бы оторвать его от этой ручки, заставить идти опять в темноту и стужу пустынного переулка.

Вывеска не обманула. В небольшом зальце — на пять или шесть столиков — жарко дышал трехведерный самовар. За буфетной стойкой, скрестив руки, восседала крупная женщина с круглым, сметанно-белым лицом и коричневой бородавкой на щеке.

Маленькая, теснившаяся в деревянном домике чайная показалась Кукину такой уютной, каких он еще не видел, а дебелая хозяйка с поднимающейся холмами грудью заставила удивленно вздохнуть. Внутренний голос Клавдия Ивановича прошептал: «Царица».

После грозовой сумятицы февраля семнадцатого, после перазбериhi и тревоги тех бурных дней, после напряжения бессонных ночей и пугающе-зловещего фипала — разгрома охранки Кукин впервые расслабился, примостившись за столиком в полутемном углу чайной. Неужели все, чем жил, рухнуло?

Он потерянно смотрел в одну точку, пока водка горячей волной не растеклась по всему телу. Пил, не закусывая, разморясь в тепле, и постепенно мирские заботы растворились в зыбком тумане. Наступило то блаженное состояние, когда все на свете трын-трава.

Теперь Клавдий Иванович уже различал мелодию граммофона и даже различал слова:

Вы, очи, очи голубые,  
Вы сокрушили молодца,  
Зачем, о люди, люди злые!  
Вы их разрознили сердца?

В самом деле, зачем «разрознили сердца»? Кукин встал, подержался за спинку стула, нетвердо прошел мимо пузатого самовара с надраенными до блеска боками, мимо низкорослой и суетной Маньки, разносившей чай по пятаку за пару, мимо картины «Аленушка». Задержавшись у клетки с тремя ярусами жердочек, Клавдий Иванович полюбовался нарядным щеглом. Птаха перепархивала с яруса на ярус, вертела ярко-малиновой головкой, мелодично напевала:

— Пюи-пюи, сти-глик — никельник.

— Ишь! — икнув, отозвался на щеглиную песню Кукин, что, видимо, означало одобрение или даже восхищение, и, сделав следующий шаг, остановился возле хозяйки. Ему непременно хотелось сказать ей что-либо приятное. Но слова, как палимы с крючка, выскальзывали. Клавдий Иванович неприлично долго стоял, ничего не говоря и разглядывая высокую грудь Василисы Степанидовой. Василиса, не выказывая ни малейшего смущения, скрестив руки, с прежним достоинством восседала за стойкой.

— Знатный у в-вас ч-чай,— наконец вымолвил Кукин, так и не отведавший ни одного глотка из стакапа, поставленного на стол низкорослой Манькой.

— Клиента не обделяем,— ответствовала Василиса

неожиданно густым, басовитым голосом. — Заварку не экономим, как в иных других чайных.

— Знатный, знатный, — закивал головою Кукин, пропуская мимо ушей неудержимую обиду на конкурентов, прозвучавшую в словах хозяйки.

— А вы у нас впервой, — пожурила гостя Василиса. — Милости просим бывать почаще!

— Вы уж и не сомневайтесь! — заверил Клавдий Иванович.

Хозяйка степенно улыбнулась, и на сметанно-белом лице шевельнулась коричневая бородавка.

Кукин стал бывать в чайной Степанидовой. При дневном свете чайная не казалась такой уютной, как в тот памятный вечер. Вывеска полиняла от солнца и дождей. Особенно пострадала почему-то одна буква — «й», и читалось не «чайная», а «чаная». Внутри бросались в глаза вздувшиеся, потрескавшиеся обои и серые половики — украшение домов с убогим достатком.

Василиса жаловалась Кукину на богатых и хищных конкурентов, на малое число посетителей, на свою расточительность («Заварку не экономим»), на скудный доход («Пятачок за пару чаю, гривенник — за снесь, не больно то много»).

На втором этаже у Степанидовой была светелка со старинным и добротным платяным шкафом, со столиком, уставленным порожними флакончиками от духов, с двухспальной широкой кроватью, спинка которой венчалась блестящими никелированными набалдашниками.

Манька, взятая из милости, жила рядом в кладовке, узенькой комнатке без окна, смрадной, как глухо запертый сундук.

Дымка необычности и уюта рассеялась, испарилась. Но мысли о месте «под солнцем», о «собственной крыше», иногда и прежде посещавшие Кукина, обрели реальную







основу. Василиса ни разу не обмолвилась и словом о своем прошлом. Клавдий Иванович не мог составить точного представления и об ее возрасте. Однако чаепития вверх, в светелке, участились; Кукин поговаривал о том, что есть у него кой-какие вещицы, которые можно продать, а добытые деньги пустить «в дело». Василиса тошно вздыхала, а Клавдий Иванович ненароком поглядывал на никелированную спинку кровати с шариками-набалдашниками.

Разговор о «кой-каких вещицах» имел под собой основание. Участвуя в погромах, утверждавших неизбежность монархии и праведность православия, Кукин проявил смекалку и расторопность. Он не рылся, как его собратья, в тряпках, бросался к буфету, где бывала фамильная посуда. А однажды в руки его попала шкатулка с драгоценными камнями.

Не откладывая дела в долгий ящик, Клавдий Иванович извлек из тайника заветные трофеи и явился к антиквару. В тесной комнате, увешанной картинами, заставленной статуэтками, диковинными фигурками из дерева, бронзы, кости и гипса, маленькая шкатулка и тяжелые серебряные ложки сразу померкли. Антиквар задержал взгляд на затейливых, загадочных вензелях, обозначенных на ложках, и, не подымая глаз, спросил:

— Ваш вензель?

— М-да, — неуверенно ответил Кукин.

Антиквар понимающе кивнул.

Содержимое шкатулки заинтересовало его больше. Он долго рассматривал сапфиры и агаты, рубины и янтарь и вдруг, подняв глаза на Клавдия Ивановича, сказал:

— О-о, это бриллиант, старая английская огранка, пятьдесят шесть граней. А это октаэдр...

Занебавив приличную сумму, Клавдий Иванович не бросился очертя голову к Василисе. Он дал волю своим мечтам, походил по кофейням и чайным средней руки,

беседуя с хозяевами, не брезгуя потолковать и с половыми. Можно бы заглянуть и в знаменитый «Эрмитаж» или в другие первоклассные рестораны, скажем в «Славянский базар» со стеклянной крышей или в «Стрельну» с зимним садом, с гротами, фонтанами и беседками. Но там среди тузов, ворочающих миллионами, сорящих деньгами, Кукин чувствовал себя скованно, как бедный родственник в костюме с чужого плеча.

«Не сразу Москва строилась», — утешал себя Клавдий Иванович, посещая харчевни скромные, но отнюдь не убыточные, разговаривал, выспрашивал, прикидывал. Не обошлось и без открытий. Оказалось, половые, щеголявшие в безупречной белизны мадаполамовых рубашках и штанах, покупают их на собственный кошт и зарплаты у хозяев не получают, живут чаевыми, а иногда и хозяину выплачивают немалый процент от чаевых.

«Низкорослую Маньку переведем в судомойки, — твердо решил Кукин, — она, замухрышка, отпугивает клиентов. Заведем полового. Ведь чайная будет не просто Степанидовой, а Кукина и Степанидовой».

На Трубной площади в воскресенье, толкаясь среди московского люда, торгующего всякой живностью — нышпохвостыми котами, звонкоголосыми кенарями, воркующими голубями, кривоногими таксами, пятнистыми пойнтерами, Клавдий Иванович остановился возле клетки с тремя попугаями. Около нее толпилось больше всего народу.

— Здррр-авствуйте, господа! — человеческим голосом выкрикивал темноклювый, сверкающий ярко-зеленым оперением попугай. А его сосед внезапно распустил шейный веер и стал похож на сказочную жар-птицу.

«Вот чем мы примамим клиента! — смекнул будущий владелец чайной. — Василиса ахнет. Щеглом-то кого поразишь?»

Хозяин попугаев, плюгавенький старикашка, заломил

круглую сумму — двадцать пять рублей за штуку.

— Эк хватил,— урезонивал его Кукип.— Да за такие рубли я стадо индюшек могу купить, полгорода пакормлю.

— Индюшки — мясо, ими брюхо набивать,— не сдавался старичок,— а веерный попугай для глаза, для души, и речь человеческая, с Амазонки привезен!

Пришлось отсчитать двадцать пять рубликов, как одну копейку. Накладно, конечно, но верилось: окупится.

Словом, когда появилась над дверью новая вывеска «Чайная Кукина и Степанидовой», царственно восседающую Василису дополнял половой в белоснежных брюках и веерный попугай — посланец густолистых рощ из долины Амазонки.

Полового взяли из трактира Соколова у Тверской заставы, куда он попал еще мальчиком из Рязанской губернии. Четыре года отходя в подручных, он с радостью вооружился подносом и перекинул через руку салфетку. Как говорится, вышел в люди. Малый был разбитной, проворный, ухватистый. Клавдия Ивановича величал «господи́н хозяи́н».

Кукип и сам быстро освоился с ролью хозяина. По утрам, облачившись в махровый халат и сунув ноги в расшитые золотом матерчатые шлепанцы, он трижды топал по ковровой дорожке. Снизу, из чайной, прибегал половой, держа на подносе стопочку водки, упругие огурчики, ветчинку.

— Ну как, косопузое рязанство? — покровительственно говорил Клавдий Иванович.

— Полный ажур, господин хозяин.

Полосым Кукин был доволен. А с попугаем просчитался. В газете «Раннее утро» появилось объявление о чайной, где посетители, разливая ароматные чаи, могут беседовать с заморской птицей, ученым попугаем, говорящим человеческим голосом.

Реклама привлекла любопытных. Однако заморский

попугай безмолвствовал. Ему подсыпали канареечное семя, коноплю, он клевал их своим шаровидным клювом, но разговаривать не желал.

— Попка, что надо сказать посетителям чайной? — спрашивал Клавдий Иванович и, замирая, ждал, трепетно веря, что сейчас ученая птица громко, ясно и твердо, как там, на Трубной площади, крикнет: «Здрррр-австуйте, господа!»

Попугай беспокойно вертел головой, перебирал по жердочке сильными ногами. Молчал.

«Надул, шельма, — закиная от ярости, вспоминал Кукин старичка. — Подсунул не ту птицу, другую, немую, ведь их там три было».

Подвыпившие посетители чайной не отходили от клетки с попугаем, бросали в него комочки хлеба, просовывали сквозь решетку пальцы.

Попугай, дрожа всем телом, забивался в угол, затравленно озираясь и наконец закричал в отчаянье резким, терзающим ухо криком.

— Ворона, — презрительно бросил кто-то.

Когда чайная опустела, Клавдий Иванович занялся дрессировкой заморской птицы. Он говорил, как умел, ласковые слова, поставил в клетку блюдце с водой, накрошил кусочки фирика. Попугай успокоился, накрепко доверчиво голову и с явным любопытством наблюдал за хлопотливой возней Кукина.

— Может, им маненечко вина, господи! хозяин, — предложил половой. — Вино хоть кому язык развяжет.

Дали попугаю портвейна. Он стряхнул равнодушие и вялость, возбужденно запрыгал.

— Сейчас заговорят, — пророчествовал половой.

Однако попугай не заговорил, он опять исторг резкий, непереносимый крик.

— Чучело, грабитель, — взорвался Клавдий Иванович. — Ты заговоришь у меня, шельма!

Кукин в сердцах, прогибая прутья, вцепился левой рукой в клетку, правой, схватив со стола вилку, метнул в полугая. Птица удивленно замерла, секунду удерживаясь на жердочке, потом обмякла и свалилась в блюдо с водой и кусочками фиников. Ее сверкающее темно-зеленое оперение разом померкло, в последней судороге дернулась попка с изогнутыми острыми когтями...

— Стронтивый ты, Клавдий Иванович, — укоризненно сказала Василиса. Там, в чайной, она не проронила ни слова. А поздно вечером в своей светелке, в постели, вспомнила.

Василиса лежала на спине, дородное лицо было спокойно. Кукин видел коричневую бородавку на щеке и маленькие злые глазки, уставленные в потолок. В них читалась недосказанная фраза: бьюсь-бьюсь с утра до ночи, какой доход у пас — пятачок за пару чаю, гривенник — за спедь, а он двадцать пять рублей — фьюить, на ветер! А днем продерет бельмы и топает в потолок: пожалте ему, господину, и водки, и ветчины!

Не по-хорошему молчит Василиса. И красные пятна на щеке выступили — это от злости.

Вот и дня три назад также негромко, спокойно сказала:

— Что же вы, Клавдий Иванович, ночью меня Каткой назвали. Какая я вам Катка?

На лице — ни морщишки, важна, только глазки злые... Вдохнул Кукин, повернулся спиной к Василисе: пусть перебесится баба. Ей полезно, совсем заплыла.

Наутро — сюрприз. Прискакал к чайной вестовой, на коне. Пожелал с Клавдием Ивановичем наедине остаться. Вынул казенную бумагу, на машинке черным по белому напечатано, что ему, Кукину, агенту наружного наблюдения Московского охранного отделения, надлежит явиться в особняк Рябушинского на Спиридоновке в распоряжение штабс-капитана Переверзева.

— Охранка долго жить приказала,— заметил Клавдий Иванович.— Зачем я явлюсь к штабс-капитану?

— Не могу знать,— строго ответил вестовой.— Велено без опозданий. Вот тут извольте расписаться об извещении.

Ускакал конник. Поначалу растерялся Кукин: вроде бы в новую роль начал входить — и на тебе! Какой-то Переверзев! Ишь выискался начальник-распорядитель — «надлежит явиться». А ежели не явлюсь? Ежели хочу сам по себе, свободным?

Другой голос — сперва робко, осторожно, потом папористее спорил с первым: не вздумай с ними шутки шутить, скрутят в бараний рог, ахнуть не дадут.

Смутно было на душе, когда явился на Спиридоновку. Особняк Рябушинского железной оградой от улицы огорожен. Ему ли не городить — самый знатный промышленник в Москве! У подъезда экипажи на рессорах, автомобили черным лаком надменно поблескивают.

Швейцар щеголяет военной выправкой, поворачивается, как по команде: щелк да щелк каблуками. В фойе люстра больше Василисиной светелки. Все сверкает, будто в церкви, так и хочется на колени бухнуться.

Штабс-капитан Переверзев — в боковой комнате. Тонкий, как жердь. На правом глазу черная повязка. Видно, на фронте садануло. Левый — не глаз, а шило колючее.

— Собираю людей,— жестко сказал штабс-капитан.— Разбежались как крысы. Вчера одного шлепнуть пришлось. В пазидание. По законам военного времени. Ты как?

Кукин замаялся:

— Дельце завел, чайную.

— Хорошо,— прервал его Переверзев.— Защищай собственность. Прошляпим — большевики все отнимут. Горло перегрызут. Всю Россию разбазарят, голоштанникам раздадут.

— Не дадим! — пи с того пи с сего закричал Кукин. — Сами горло перегрызем!..

Уходил Клавдий Иванович, как и пришел, разъедаемый сомнениями. Недолго длилась спокойная жизнь. Берп лыко-мочало — начинай сначала. Правда, Переверзев мягко стелет: платить, мол, будет вдвое, втрое больше, чем прежде платили. И дело, если разобраться, не такое уж трудное. Бери, Кукин, во владение все Замоскворечье, ходи па митинги, трись возле рабочих, записывай на бумажку большевистских крикунов, фамилии, адреса, их осинные гнезда примечай. Каждая бумажка красненькой обернется.

И завертелась карусель. Замоскворечье по утрам, когда гудки ревут, темным-темно от рабочих картузов, от курток. Живые потоки текут в заводские ворота. И куда ни глянь — трубы, трубы дымят, жаркую копоть в небо выбрасывают. Сколько их вокруг — заводы Михельсона, «Поставщик», «Мотор», фабрики Жако и Эйнем, трамвайчики...

По вечерам все Замоскворечье, как котел: тут — митинги, там — митинги. Молчала Россия, молчала и вот заговорила, не знаешь куда ухо павострить, в какую сторону бежать раньше.

На заводе Михельсона, будь Кукин пожиже телом, смяли бы в лепешку, такая давка па митинге, столько пародищу привалило. Трибуны, конечно, никакой. Поставили четыре бочки, сверху доску широкую — помост готов. Вышла белокурая девушка лет двадцати, а может, и все тридцать ей — издали не поймешь, светленькая, поверх пальто па рукаве — красный крест. Имя Клавдий Иванович не разобрал из-за шума, фамилию записал: «Войкова».

— Мы медики, — сказала она, — лучше других видим, что песет война. Братья наши в земле сырой, а если вернулись — без рук, без ног. Что им с германцами делить?

Чего они добились? Счастья? Сами знаете, какого счастья добились, без хлеба сидим, по праздникам досыта не едим.

Не успела медичка свою речь досказать, рядом появилась еще одна девушка — чернявая, в пенсне, с заостренным подбородком. Вчера, кажется, Кукин слушал ее на Телефонном заводе. Ну конечно она, армянка, Люсик Лисинова; он уже записал ее на бумажку. Приехала бог весть откуда, мутит воду.

— Какая у нас разница между рабочим и рабом? — спросила она. — Назвали рабочего военнообязанным, четырнадцать часов у станка стоит, голод его шатает. Недовольных такой жизнью ждет фронт. Вот и посудите: рабов убивали сразу, а рабочих сперва вымучают, потом бросят на смерть.

— Правильно говоришь! — поддержал армянку чей-то бас.

Прокатился шумок. Она выждала, пока водворится тишина, обвела взглядом митинг, провозгласила:

— Долой войну! Долой Временное правительство! Вся власть Советам!

Что тут поднялось: заколыхалась толпа, загалдели, одни «ура!» орут, другие «Смело, товарищи, в ногу» подхватили. И Кукин «ура!» кричит, негромко, в четверть силы, а рот раскрывает пошире и озирается: все поддерживают чернявую — и сзади, и спереди, и по бокам — вся масса.

Потом солдат на помост вскочил, легко вскочил, пружинисто. Шинель прожженная в двух местах — видно, у костра сжигал, дымом на фронте грелся.

— Двинец, двинец, — прокатилось по рядам.

Солдат тоже не новичок на трибуне, умеет ораторствовать. И вшей помянул, которых в окопе кормил, и землю помянул, которую кровью полил, и голодных детей вспомнил, и все это подвел к выводу: пора брать власть



рабочим, солдатам и крестьянам. Ради чужой мощи воевали, теперь за себя постоям!

«Ну и дела,— облизнул пересохшие губы Клавдий Иванович.— Такой смуты еще не было».

Меньшевику говорить не дали. Сперва притихли. Мужчина вышел представительный, солидный и рабочих братьями назвал. Так и сказал:

— Братья мои, Керенский революцию защищает...

Больше он и полслова не вымолвил. Потянулись к нему руки, схватили, поволокли с помоста; шанка меховая по земле покатилась.

Муторно на душе Кукина, беспокойно. Залез в воду, а броду не видно. Штабс-капитан хорохорится. Обещает большевиков в одну ночь удавить.

«Мы их тепленьких в постели возьмем!» — трясет Переверзев пачкой бумажек с адресами, и блестит его единственный, как у камбалы, глаз.

«Ну как он их возьмет? — сомневается Клавдий Иванович.— Ведь их всех и сосчитать невозможно».

А пока текут к Кукину красненькие. Мужская работа — не пятачок за пару... Он и пятиведерный самовар купил в чайную — пузатый, как городской на Страстной площади, и белку купил — распушит хвост, вертится в колесе, лапками перебирает — потеха посетителям.

Василиса притихла, как воды в рот набрала. Поняла, наверное, что он, Кукин, не лыком шит, не он при ней, а она при нем...

В октябре Клавдию Ивановичу показалось, что выпала передышка. Поручил ему штабс-капитан снять комнату против Малой Серпуховки, № 28, сидеть у окошка да подсчитывать: сколько народу туда приходит, сколько уходит, сколько ночует, проносят ли оружие, да и людшек запоминать покрепче.

По Малой Серпуховке, 28,— столовая Коммерческого института. Числится столовой, а на деле — большевист-

ское гнездо. Дом старый, штукатурка, как кора с трухлявого дерева, сыплется, зато входов и выходов не счесть, чердаки, подвалы, боковые лесенки, черт погу сломит.

На первом этаже чай распивают, песни поют, даже танцуют, на втором тихо, словно на кладбище.

Пока сидел Кукин у окошка, многих узнал: и медичка белокурая прошла, сумка с красным крестом руку оттянула. Что в сумке — прокламации, а может, гранаты?

Лисинова тоже частый гость в столовой, приходит с кавалером — ничего, красивый малый, в студенческой форме, чистенький. Свидание? На танцы? Почему же малый через час ушел, а чернявая после двух почти ушла? И не одна вышла; при свете фопаря Клавдий Иванович узнал ее спутников — маленький еврейчик Ротшильд, говорун большевистский с Телефонного завода, видно, верховодит там, и второй с Телефонного — Добрынин, плечистый, быстроногий. Митинги без них не обходятся. Второй, по всему виду, птица важная. Однажды Кукин увязался за ним, до гостиницы «Дрезден» дошел. Туда не сунешься. Ждал, ждал Клавдий Иванович и дождался: появился Добрынин с высоким бородачом. Кукин еще и лица не разглядел, а его будто кипятком ошпарило: бывший приват-доцент, ныне профессор Павел Карлович Штернберг с его подонечным вышагивал...

На Малой Серпуховке заварили кашу, по Замоскворечью сколько Кукин башмаков стоптал — все, кажется, прахом пошло. У штабс-капитана по семь пятниц на неделе. Мечется как на пожаре. Лицо осунулось, одна повязка чернеет. Голос сорвал, сипит.

Новая карусель завертелась: срочно, тайно, по почам все оружие из казарм в центр вывозить. Ни шума, ни огонька. А тут дожди хлещут, света божьего не видно. Сверху — вода, под ногами — вода. Октябрь как-никак.

Вывок Кукин, как курица. Устал — ноги не держат. Всю ночь с юнкерами в градоначальство винтовки возил,

ящики с гранатами. Перед рассветом штабс-капитан в автомобиле прикатил.

— Вези,— говорит,— к себе в чайную.

В автомобиле бутылки со спиртом в плетеных корзинах.

— Без приказа не тронь! — повелел штабс-капитан.

Домой часа в четыре вернулся. Выпил водки — и в постель. Василиса посапывает. Ходики тикают.

Проснулся, голова свинцовая, к подушке тянет, во рту дрянь. В окне хмарь осенняя. Свет не мил. Вставать, не вставать? Сунул ноги в матерчатые шлепанцы, махровый халат накинул, постоял у окна. В переулке пусто, серые лужи пузырятся. Топнул по полу — сами не догадуются! Взял с тумбочки газеты. Клавдий Иванович «Коммерсанта» выписывал. Пробежит, бывало, глазами по колонкам с цифрами и будто к чему-то святому прикоснется: акции коммерческих банков! И вообще интересно читать: кто разорился, кто новое дело наладил.

Развернул страницу — вся жизнь как на блюдечке.

«...Инженер И. К. Бороницкий высказал подепным рабочим свое недовольство их работой. Озверевшие рабочие накинудись на инженера, избили его, вывезли на тачке и бросили в мусорную яму».

«...В комиссариате получены сообщения о захвате рабочими фабрики акционерного общества пуговичных изделий С. И. Зубова и К<sup>о</sup>».

«Забастовали 500 000 рабочих текстильных фабрик Иваново, Вознесенска, Кинешмы, Середы и др. Рабочими захватываются фабрики и изгоняется административный персонал».

Появился половой с водкой и огурчиками. Клавдий Иванович даже не пошутил насчет косопузого рязанства. Поднес ко рту огурец, а надкусить не успел. Почти вро-

вещь с окном второго этажа из туманной дождевой мороси показалась лошадиная морда и папаха вестового. Не слезая с коня, он громко и требовательно забарабанил в окно.

Был полдень двадцать шестого октября 1917 года.

## VII

В нем пела радость, объявлявшая все его существо. Она не гасла, не меркла в потоке забот, которые обступали Павла Карловича весь день, которым не было и не могло быть конца!

По коридорам, по лестницам гостиницы «Дрезден» сповали рабочие, солдаты, красногвардейцы. Еще, кажется, не бывало такого, чтобы все спешили одновременно: одни вверх по ступенькам, другие вниз — скорей, скорей, скорей!

Утро начиналось буднично. На дворе серым пологом нависало небо. Не переставая лил дождь. Гостиница жила обычной жизнью.

— Петроградская ногодка, — сказал Михаил Федорович Владимирский. — На Тверской прямо-таки «Невы державное течение».

Владимирский любил перемежать свою речь строчками из стихов. Откуда у него эта страсть — у профессионального революционера, медика по образованию, Штернберг не знал.

Михаил Федорович стряхнул капли с ворсинистой фуражки, вытер усы и бородку и, посмотрев на мокрый платок, покачал головой:

— «...И алчную землю попла дождем».

«Погода — дрянь», — Павел Карлович мысленно согласился с Владимирским и позавидовал его маленькой, плотной, чуть тронутой седной бородке: просохнет в два счета.

В гостинице «Дрезден» не хватало света и зажгли лампочки. Свет электрический и свет из окон мешали друг другу — лампы светили тускло, вымученно.

Заседание Московского комитета началось, как обычно, в назначенное время. Штернберг сел у стола, на краю которого лежала газета «Социал-демократ» с отчеркнутыми синим карандашом строчками:

«Война объявлена. Правительство, капиталисты, помещики сомкнутым строем идут против крестьян, солдат и рабочих. Необходим немедленный отпор!»

Хотя речь шла о событиях в Калуге, слово «война» показалось Павлу Карловичу несколько громким. Он поискал глазами кого-нибудь из редколлегии «Социал-демократа».

Все произошло неожиданно. Секретарь Московского комитета Василий Матвеевич Лихачев, которому занесли какую-то записку, поднялся и с минуту стоял, поглощенный чтением. Лицо его отразило крайнюю сосредоточенность:

— Телефограмма из Петрограда. От Ногина.

Ногин и Ломов уехали в столицу на Второй съезд Советов. Все знали, что они там, и телефограмма, скорее всего, могла означать новую отсрочку съезда.

— «Сегодня ночью...— голос Лихачева прозвучал громче обычного. Василий Матвеевич обвел взглядом сидящих, словно стараясь запомнить их позы, их взгляды, выражение их лиц.— Сегодня ночью...— повторил он,— Военно-революционный комитет занял вокзалы, Государственный банк, телеграф, почту. Теперь занимает Зимний дворец. Временное правительство будет низложено. Сегодня в пять часов открывается съезд Советов. Переворот прошел совершенно спокойно, ни единой капли крови не было пролито. Все войска на стороне Военно-революционного комитета».

На мгновение в комнате наступило всеобщее оцепене-

ние. Лихачев продолжал стоять, не выпуская из рук листок с телефонограммой. Эта минута, которую ждали долгие годы, пришла ошеломляюще внезапно.

— Прочтем еще раз? — спросил Емельян Ярославский, руководитель военной организации большевиков, выходя к столу в своем суконном френче с накладными кармапами и протягивая руку к телефонограмме.

Он читал медленно, с остановками:

— «...запаял вокзалы,  
Государственный банк,  
телеграф,  
почту...»  
Ясно?

Только теперь, кажется, все поняли смысл происшедшего. Ярославский обнял Лихачева, Владимирский отчаянно тряс руку Павла Карловича и декламировал:

— «Россия! Встань и возвышайся!»

Рядом с ним оказался Осип Пятницкий. Его узкое, худое лицо, еще больше заострившееся в годы енисейской ссылки, сейчас светилось улыбкой. Пятницкий смотрел на Владимирского и Штернберга, повторял:

— Подумайте — свершилось! Наконец-то свершилось!..

Колесо событий завертелось с бешеной скоростью. Московский комитет заседал, отбросив старую повестку дня. Потом заседал совместно с Областным бюро и Окружком. Избрали Партийный боевой центр по руководству восстанием.

— Жаль, что это не сделано заранее, как в Петрограде, — сказала Варя.

— Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — вставил Ярославский.

Варя бросила камешек в адрес тех, кто оттягивал создание боевого центра, и в другое время разгорелась бы, наверное, полемика, но теперь было не до споров — хлынул поток неотложных дел.

Алексей Ведерников, не успев закурить трубку, на ходу застегивая пальто, выходил из комнаты. Куда девались его неповоротливость и медлительность! Он отправлялся в Покровские казармы за солдатами, чтобы занять почту и телеграф.

— Тише, тише, товарищи! — просила Варя и, склонясь над столом, быстро водила пером по бумаге.

Павел Карлович скользнул взглядом по листку: «Рязань — докладчика не будет», «Калуга — бумага есть», «Смоленск — литературу посылаем». Варя составляла шифрованные телеграммы в область. Разные тексты означали одно и то же: началось!

С этого часа гостиница «Дрезден» вступила в стремительный и суматошный ритм жизни. Правда, Павел Карлович, выйдя в коридор и медленными шагами приближаясь к штабу, погрузился в свои мысли. Он пытался представить Петроград и не мог увидеть его иным, чем запомнил той апрельской ночью, когда в скрещении слепящих прожекторов среди людского моря как бы плыл Броневик, с которого выступал Ленин. Павел Карлович понимал: восстание есть восстание, все, наверное, сейчас по-иному, но засела фраза из телефонограммы: «Переворот прошел совершенно спокойно, ни единой капли крови не было пролито».

Если б подобная весть пришла от кого-либо другого, не от Виктора Павловича Ногина, он, пожалуй, заколебался бы в ее достоверности. Но Ногин принадлежал к той породе людей, которым Штернберг доверял. Мальчишком, учеником красильщика, судьба окунула его в крутой, обжигающий раствор, именуемый жизнью. Его обдавало и холодом, и жаром. До всего доходил он сам, собственным опытом. Ссылки и тюрьмы довершили «образование». Как ни странно это звучало, но, по убеждению Павла Карловича, тюрьмы в России многим заменили университеты.

Штернберг как-то заметил у Ведерникова книги на немецком языке. На вопрос, читает ли он по-немецки, Алексей Степанович ответил:

— Чо, по-немецки? Читаю. Я в тюрьме три языка изучил.

Ногин тоже однажды вскользь бросил:

— Переводил Джером Джерома. Издавали. Зарабатывал на хлеб.

В другой раз выяснилось, что Виктор Павлович знает суждения Ломоносова о северных сияниях, копировал даже его рисунки. И опять оказалось, что истоком были впечатления верховьянской ссылки, где Ногин наблюдал полярные сияния, а уж раз увидел, то надо понять, постичь, докопаться до сути...

Да, достоверность его телефонограммы не подлежала сомнению. Больше того, картина событий разворачивалась в ней с логической последовательностью: заняли вокзалы, банк, телеграф.

Первыми стоят вокзалы. Партийный центр уже направил в Брянск и Орел человека, чтобы связаться с местными большевиками, создать на станциях заслоны, преградить путь войскам с фронта, если бросят их на Москву.

У Павла Карловича «на случай В. В.» были карты с мостами, виадуками, скрытыми подходами к железнодорожному полотну на ближних подступах к городу. Из числа рабочих еще в августе сформировали подрывные группы. О них-то и подумал Штернберг, подходя к двери красногвардейского штаба.

В открытую форточку врывались слова песни:

Черные дни миновали,  
Час искушенья пробил!

Голос разбуженной улицы звучал близко и явственно, тонул в топоте шагов: неспя быстро удалялась в сторону



Страстной площади. Обступившие его люди мешали подойти к окну, прислушаться, в последним всплеском долетело «и водрузим над землею» — уже далекое, уходящее, как порыв ветра.

— Садитесь, садитесь, товарищи! — попросил Штернберг, но садиться было не на что, на стульях примостились по двое, единственный диван под тяжестью теснившихся на нем людей просел почти до пола. Те, кому не хватало места, жались к подоконникам.

Павел Карлович собрал красногвардейцев, обученных подрывному делу. Комната штаба — такая просторная и вместительная прежде — оказалась тесной.

— Эх, гайки-винтики, постоим! — сказал Виноградов, уловив, что Штернберга смущает невозможность всех усадить. Нетерпеливо-возбужденные слесари, токари, трамвайщики, в грубых сапогах, в брезентовых куртках, в любую секунду готовые к выезду за город, жаждали скорее получить задание.

Неутомимый Виноградов около двух месяцев обучал их закладывать взрывчатку, производить взрывы. На практику возил он своих учеников в излюбленные Сокольники, на дальнюю вырубку, где когда-то встречался с Павлом Карловичем. Михаил Петрович остался доволен: теория теорией, а практика практикой. Кто хоть раз произвел взрыв, в деле почувствует себя спокойнее и увереннее...

Штернберг объяснил красногвардейцам задачу: не пропустить к Москве эшелоны белой гвардии.

Указка скользила по карте вдоль густой паутины железных дорог, подступающих к городу, и, не тратя лишних слов, он как бы подвел черту разговору:

— Не пропустить!

По выщербленным мраморным лестницам загрели сапоги, подбитые железными подковками. Командиры групп, получив карты своих участков, уводили красно-

гвардейцев на задание. А в двери уже входили новые люди, внося сырость холодного дня, протягивая донесения из районов.

Разрозненные листки доносили тревожные будни города: юнкера развозят оружие по домовым комитетам, раздают винтовки дворникам, торговцам, чиновникам, гимназистам; в окнах Градоначальства появились пулеметные гнезда, мешки с песком...

«Переворот прошел совершенно спокойно...» — вертелась в мозгу фраза из телефонограммы.

### *VIII*

Первая ночь восстания бессонно светилась в тысячах окон. Военно-революционный комитет, избранный на объединенном заседании Московских Советов рабочих и солдатских депутатов, разместился в бывшем доме генерал-губернатора на Скобелевской. ВРК принимал решения, издавал приказы всю ночь напролет. Монотонная дробь унтервудов не смолкала ни на минуту. В окнах нижнего этажа вспыхивали фары мотоциклов: самокатчики увозили приказы в районы.

Еще бросали пятна убогого света невыключенные фонари, и утро неуверенно вползало на улицы города, а первый приказ ВРК был развешан на рекламных тумбах, на стенах домов, на стволах деревьев. Серые листы мочил дождь, пятна желтого клея растекались по бумаге, но люди собирались у этих листов и, помогая друг другу, комментируя, споря, читали:

#### **«ОТ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА МОСКОВСКИХ СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ**

Революционные рабочие и солдаты г. Петербурга  
во главе с Петербургским Советом Рабочих и Солдат-

ских Депутатов начали решительную борьбу с изменившим революции Временным Правительством. Долг московских солдат и рабочих поддержать петербургских товарищей в этой борьбе. Для руководства ею Московский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов избрал Военно-Революционный комитет, который и вступил в исполнение своих обязанностей.

#### ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ:

1. Весь московский гарнизон немедленно должен быть приведен в боевую готовность. Каждая воинская часть должна быть готова выступить по первому приказанию Военно-Революционного комитета.

2. Никакие приказы и распоряжения, не исходящие от Военно-Революционного комитета или не скрепленные его подписью, исполнению не подлежат».

Павел Карлович стоял у окна: он видел и группу людей, толпившихся у рекламного столба, и вымытую дождем мостовую, и два подслеповатых светящихся круга — фары.

«Наконец-то!» — с надеждой подумал он, но у подъезда, вопреки ожиданиям, вышрыпули из дождевой мороси не машины, а мотоциклы.

Штернберг этой ночью так и не снял кожанку. Штаб Красной гвардии перебрался из гостиницы «Дрезден» в бывший дом генерал-губернатора, разместился рядом с ВРК. Ян Пече, как всегда, был в движении: то ли у самокатчиков, то ли в мастерской тяжелой осадной артиллерии. Он не терял надежды, что орудия, оставшиеся без замков и панорам, удастся привести в боевую готовность. Петр Добрынин застрял в Замоскворечье. Ведерников с членами ВРК составлял очередной оперативный

плац. А Штерпберг взял на себя самое тяжелое бремя — обеспечение оружием рабочих районов.

Обстановка складывалась благоприятно. Кремлевский арсенал — в наших руках. Комиссаром Кремля назначили Ярославского, комиссаром арсенала — молодого большевика, прапорщика Берзина. Грузовики из запасных автомобильных рот вызваны. Ярославский заверил: оружие выдам.

Голос его на другом конце провода звучал незнакомо, хрипловато. Но существа это не меняло: арсенал — наш!

Где же грузовики? Глаза устали вглядываться в мгlistую, мокрую Тверскую. Он зажмурился, постоял, не двигаясь, и вдруг услышал приближающееся мерное гудение моторов.

Медленно, как неуклюжие животные, вползали на Скобелевскую площадь грузовики.

За мадлатом на оружие пришел Ангел. Старый боевик, с квадратными плечами, с грубо вытесанным лицом, был одновременно похож и не похож на себя, прежнего. Углубилась складка у рта, лоб перечеркнули три глубокие борозды, виски щедро заснежила седина.

Рука Ангела, с крутыми узлами веп, сжала руку Штерпберга. Была в ней та же сила, какую Павел Карлович ощутил тогда, много лет назад, в комнате часовщика.

Они, очевидно, одновременно подумали об одном и том же. Ангел раздвинул уголки губ в скупой улыбке, еще резче обозначив складки у рта.

— Авось драгуны не встретятся?

Павел Карлович вспомнил и ту лошадку, и дровни с несколькими ящиками оружия, и появившийся в переулке разъезд во главе с драгунским офицером и сопоставил все это с тем, что было сейчас: огромные, как слоны, грузовики, стоящие на площади, и арсенал, где хранятся семьдесят тысяч виптовок...

— Теперь не пропадем! — заверил Ангел.

Штерибберг с непокрытой головой вышел провожать колонну. Длинная вереница автомобилей удалялась по Тверской в сторону Кремля, увозя свежую частушку:

Без винтовок мы — мишени,  
А с винтовками — стрелки.

Кто-то, скрытый брезентовым тентом, лихо подсвистывал в такт частушке и отбивал дробь каблуками.

«К полудню оружие будет в районах», — прикинул Павел Карлович.

Последний грузовик мигнул красным сигнальным глазком и исчез в пелене дождя.

## IX

Тучи над Москвой сгущались. Обстановка становилась все более запутанной и противоречивой.

Телеграфная и телефонная связь со столицей обрывалась. Единственный канал — железнодорожный телефон — находился в руках Викжеля — исполкома профсоюза железнодорожников. Викжель разыгрывал нейтралитет, но засилье в нем эсеров и меньшевиков не могло не сказаться: представителей ВРК к прямому проводу не допускали.

По городу разносались слухи о победе Керенского в Петрограде. Кому-то эти слухи необходимы, кто-то усердно разносит их по городу. Они разносятся как змея, в клубок которых впезанию упал камень. Откуда они? Ведь бурикуазные газеты закрыли в первый же день восстания...

Красногвардейцы привели к Штериббергу убитого

господина. Его задержали на Тверской в очереди за хлебом — рассказывал зевакам «о победе» Керенского.

Штернберг посмотрел в упор:

— Откуда у вас эта ложь?

— Я слышал на Спиридоновке, в доме Рябушинского...

Слухи о Керенском — это своего рода холодный душ на разгоряченные головы: мол, задумайтесь, прежде чем начинать. Задумайтесь!

Рябцев и 이제 с ним любой ценой хотят выиграть время. Для чего? Не манны же небесной они ждут? Они ждут помощи... Они хотят повторить Пресню...

Размышления Павла Карловича прервал Владимирский:

— Бросайте все, не мешкайте, пойдете! Собираем Партийный центр, ВРК, все наличные силы. Мы затеяли драку, а нас потчуют леденцами мирных переговоров. Идете, идете!

В большой комнате для заседаний из-за наипросного дыма воздух казался сизым.

— Еще и сражения не было, а столько дыма, — примиряюще пошутил Петр Гермогенович Смидович, один из старейших большевиков, всегда доброжелательный к товарищам и по натуре очень мягкий.

На шутку никто не ответил.

Виктор Павлович Ногин возвратился в Москву двадцать шестого октября. По пути от вокзала к Скобелевской площади, к Моссовету, он увидел город, ошетиленный перед боем: на перекрестках — вооруженные патрули, казачьи разъезды, баррикады.

В ВРК, пока Ногин знакомился с положением дел, получили сообщение о том, что Кремль окружен юнкерами и вывезти оттуда оружие невозможно.

Виктор Павлович еще жил впечатлениями победивше-

го Петрограда: на улицах многолюдно, магазины открыты. Даже кинематограф работал! А тут, в Москве, назревает страшное кровопролитие.

Зазвонил телефон: командующий Московским военным округом полковник Рябцев приглашал председателя Моссовета Ногина приехать на переговоры.

И он поехал. Ему показалось, что Рябцев готов на уступки, что осада Кремля будет снята, что можно договориться; что большевики, плохо вооруженные, не успевшие как следует организовать, не имеют права бросаться на огонь пулеметов.

Позиция Ногина обрела сторонников. Обрела и противников.

Когда Виктор Павлович поднялся из-за стола и начал излагать свои доводы, ничто не обнаруживало его волнения. Правда, Павлу Карловичу бросилось в глаза, что обе его руки впились в спинку стула, на котором до этого он сидел.

Иногда он мельком взглядывал на своих потенциальных оппонентов, стараясь, очевидно, уловить: воздействуют ли на них его доводы?

Голос Ногина был спокоен и ровен, даже чрезмерно спокоен, как бывает спокойная струна, натянутая до предела.

Первую реплику бросила Варя:

— Вы хотите уговорить холопов буржуазии стать добренькими, порядочными, возлюбить рабочих и не хвататься за нагайку?

— Я хочу того же, что и вы, но без кровопролития! Я не хочу людской крови! — почти закричал Ногин.

— Почему ж вы не уговорили раньше этих благодетелей в золотых энолетах не загонять вас в Верхоянск, на полюс холода, не ссылатъ Яковлеву в Нарым, не пороть Ведерникова розгами? Почему? — Владимирский после каждой фразы делал шаг в сторону Ногина, будто насту-

нал на него. — «С волками йначе не делать мировой, как спявши шкуру с них долой!»

Смидович пытался унять страсти. Он считал, что договориться можно и нужно. Слухи о победе Керенского и о вызвавшихся с фронта казачьих полках Петр Гермогенович назвал фактором психологическим.

— Казаками хотят давить на нас, сделать нас сговорчивее, — сказал он.

— Не давить на нас, а давить нас, — поправила Варя.

Павел Карлович ни на йоту не верил в переговоры.

«Для переговоров нет никакой базы, — размышлял он. — Мы — против Керенского, они — за; мы — против войны, они — за войну до победного конца; значит, переговоры для нас — потеря времени, расслабление воли, для них — уловка, попытка отвлечь разговорами, стянуть силы для удара».

И, подумав о грузовиках с оружием, запертых юпкерами за стенами Кремля, о рабочих, ждущих это оружие, о белогвардейском броневике на Лубянской площади и пулеметных гнездах в окнах Градоначальства, Штернберг тяжело поднялся со стула и обратился к Ногину:

— Итак, вы против кровопролития?

— Вы поняли меня правильно, — кивнул Ногин.

— Тогда и вы поймите меня правильно, — парировал Павел Карлович. — Единственный путь сократить кровопролитие — победить быстро, решительно и окончательно. Как в Петрограде...

Поединки сторонников и противников переговоров возобновлялись несколько раз. Переговоры продолжались.

Двадцать седьмого октября, под вечер, Ведерников, взяв под руку Штернберга, попросил его:

— Поспите часок. Иначе свалитесь!

В бывшем доме генерал-губернатора найти тихий уголок для отдыха было почти невозможно.



— Спуститесь в лазарет,— посоветовал Алексей Степанович.— Там вас устроят.

Это был необычный мир — без шума, без топота сапог, без табачного дыма, без телефонных звонков, без трескучих самокатов. Железные койки стояли вдоль стен, покрытые одеялами, по бокам виднелись полосы белых простыней. Было странно: на третий день восстания ни одного раненого.

Сестра милосердия постелила Штернбергу на диване. Павел Карлович вытянулся: диван оказался коротковатым — ноги провисли.

«Не на меня рассчитан.— Штернберг взглянул на невысокую, всю в белом, сестру милосердия.— Как раз для нее».

Павел Карлович перевернулся с боку на бок, подогнул ноги. Тело расслабилось, по нему дремотно потек блаженный отдых. Голова вдавилась в жесткую подушку. Мысли утратили последовательность. Он пытался еще что-то вспомнить, но это «что-то» улизывало, ускользало. Он чувствовал, что проваливается в бездну, обретает невесомость. Сознание заволокло непроницаемо густым туманом. Сон наконец сморил его.

Теперь никакие звуки, даже приглушенные, не доносились к нему, даже мягкие шаги сестры милосердия растворились в безмолвии небытия.

От глубокого дыхания подрагивала борода; то подымалась, то опускалась кожаная куртка, которой он укрылся. На час или два все перестало для него существовать.

Он не проснулся и тогда, когда ударом ноги распахнулась дверь, когда солдаты в шпелях и панахах заполнили комнату и внесли тяжело раненных. В лазарете к запаху медикаментов примешались запахи крови и пота, махорки и солдатских сапог.

Сестра милосердия, прежде неторопливо-спокойная,

по-хозяйски обозревавшая аккуратные ряды коек, заметалась по комнате, устраивая раненых. Койки, поставленные впритык друг к другу, оказались недоступными — не было подходов.

— Нагородили! — ворчали солдаты. — Нет чтоб подумать!

Штернберг резко сел: что случилось?!

Пока ноги нащупывали сапоги, пока руки натягивали куртку, он разглядел людей, затянутых биптами, останавливающих, кого-то зовущих, что-то вспоминающих.

— Дочка, водицы!

— Я с колена, с колена, прямо в лоб...

— Братцы, живой Сапунов или мертвый?

— Дочка, водицы! Сдохну от жажды!

— Врешь! Теперь не помрешь!

— Коля, погляди рану. Куда меня?

В дверях показалась Софья Войкова. Из-под белой козыньки выбивалась льняная прядь.

— Сафонова на перевязку! — скомандовала она.

Солдаты задвигались, вынося кого-то на шинели.

— Потихе, потихе, — просил слабый голос.

«Это двинцы, — сообразил наконец Штернберг. — Софья работает в Озерковском госпитале. Оттуда и вышла команда двинцев на охрану Моссовета. Что произошло?»

В комнате ВРК было непривычно тихо. Сидел, сдвинувшись вокруг стола. Ведерников прижал к уху телефонную трубку и громко повторял слова какой-то телефонной граммы:

— «Первое. Немедленная ликвидация всех действий Военно-революционного комитета и его упразднение.

Второе. Немедленный отзыв из Кремля караульного батальона пятьдесят шестого полка.

Третье. Немедленный возврат вывезенного из арсенала оружия».

— Все? — спросил кто-то.

— Все, — ответил Ведерников. — На размышления господин Рябцев отпускает нас пятнадцать минут...

## Х

### РАССКАЗ

### СОФЬИ ВОЙКОВОЙ

Говорят, люди ко всему привыкают. Раньше я тоже так думала. Неверно это! Ну как, скажите, привыкнуть к мысли, что был у тебя брат и нет брата?

Костю в шестнадцатом году на фронт отправили. Тогда большевиков где только можно хватали и под пули посылали. Не в Сибирь, не в тюрьмы, а под пули немецкие.

Чего добились? Большевики в полках, как дрожжи в тесте. Забродила армия, разобралась, против кого надо оружие повернуть.

А Костя исчез, никаких следов не оставил. Среди погибших нет, среди живых тоже нет.

Бывает, лежу ночью, сон не идет, прислушиваюсь, и все мне мерещится: то голос его слышу, то в дверь стучится...

Нет, не ко всему можно привыкнуть. По-моему, живые никогда со смертью примириться не смогут.

Пошла я работать в Озерковский госпиталь в Замошворечье. Может, думаю, среди раненых Костя попадется. Каких чудес не бывает, чего не навидишься и послушаешься.

Отделение у нас тяжелое — конечности. Все больше

ампутации, переломы. Привезут с гангреной — что уж тут делать?!

Я — ассистентом у хирурга. Надо — и сама справилась бы. Так вот к слову о привычке. К стонам привыкла. К крови привыкла. Одно для меня пыткой как было, так и осталось: ампутированную ногу от раненого отделить, с операционного стола спить ее. Берешь, как полено. Страшное, чудовищное что-то в этом есть: была только что нога, живая часть живого человека. А теперь — полено...

Сколько через нас увечных прошло — не считаешь. В коридоре только и слышишь: тук-тук — деревяшки стучат. Дали бы волю — Керепский всю Россию на костыли поставил. Все холмы в nogосты превратил бы...

Неожиданно в нашем госпитале большая перемена произошла. Как-то сентябрьским утром пригласил меня врач в кабинет для неофициального разговора.

— Мы с вами, Софья Сергеевна, люди разных убеждений, но вы медик квалифицированный, опытный и, по моему, человек честный.

К чему, думаю, такое длинное предисловие? О чем-то просить, наверное, будет.

— Так вот, — продолжал врач, — хотят у нас в госпитале разместить двинцев из Бутырской тюрьмы. Слышали, наверное, об этих смутьянах и изменниках. С немцами воевать отказались, душу врагу запродали. Слышали?

Я головой мотаю, пусть, решила, выложит все до конца. А сама, конечно, в курсе дела. Кто в те дни не знал, что в Бутырской тюрьме объявили голодовку двинцы — солдаты Северного фронта, увезенные в Москву из двинской тюрьмы. Они отказались воевать за интересы буржуазии. И голодовку объявили, протестуя против незаконного ареста.

— К чему я вас призываю? — врач посмотрел на меня с надеждой. — Проявите гуманность и патриотизм. Госпи-

таль для тех, кто рапел в бою. А если его осквернят, если поместят в нем смутьяпов, уйдем все до единого!.. Мало ли кто голодать вздумает? Идет война, некогда в бирюльки играть...

— Что ж,— говорю,— вы человек гуманный, уходите, а я останусь лечить истощенных голодом.

Двинцы пришли большой командой, строем пришли, с самодельным плакатом: «Вся власть Советам!» Иных под руки вели, как-никак семь суток голодали, совсем ослабли. Щеки стянуты, глаза провалились. Одеты пофронтному — шинели прожженные, истертые, полинялые, у некоторых красные банты — мол, знай наших!

Я с ними с первого дня подружилась. Бывало, приду в палату, слушаю солдатские рассказы. Сколько у них всякого было — и горестного, и смешного.

Забудет, к примеру, солдат, как титуловать царя, или цареву жену, или наследника, ставит его офицер в бараке возле печки и велит кричать до хрипоты: «Я — дурак! Я — дурак!..»

Другой покруче накажет. В заплочный мешок камней наложит, поставит солдата на солнцепеке по стойке «смирно», и стой, пока в глазах черные мушки не запрыгают или пока не свалишься.

На фронте похлеще наказания придумывали. Одного за неповиновение заставили на краю окопа спиной к немцам стать. До немцев — рукой подать. Любой выстрел — и летишь в провинцию Заупокойную...

Ничего не забыли двинцы. Не раз говорили: «Мы памятливые, сестрица. За все сполна рассчитаемся».

Окрепли мои подопечные быстро. Приехал к ним Ярославский, отобрал агитаторов, попросил выступить в полках, на заводах, рассказать, за что в тюрьму угодили, почему солдаты воевать отказываются.

Павел Карлович Штернберг тоже у нас побывал. Я предупредила солдат, что он профессор, астроном.

«Астроном» оказалось для них слово незнакомое. «Профессор» и то не все слышали. Считали, что это непременно доктор с очень большим стажем. Я как-то упустила, что среди солдат большинство неграмотных, в ведомостях, получая жалованье, крестики ставят.

После моих разъяснений смотрели на Павла Карловича как на загадку. С почтением встретили, не ожидали, конечно, что в яловых сапогах придет, в кожаной куртке.

Павел Карлович рассказывал мало, все расспрашивал: про оружие, про разведку, про почные вылазки. И уж потом попросил: не согласитесь ли инструкторами в Красную гвардию пойти? Народ, мол, к военным знаниям рвется, бои вот-вот грянут, учить некому. Вам, фронтовикам, все карты в руки.

Согласились, хотя и предупредили: какие мы учителя, мы так, показать разве что.

Под конец беседы освоились, даже спросили: правда ли, что, если в небе звезда гаснет, на земле человек умирает?

Улыбнулся Павел Карлович: на небе, говорит, звезд не хватит...

В Озерковский госпиталь не только наши приезжали. Перед самыми боями, представьте, пожаловала к дивизцам графиня со свитой. Шелковые платочки привезла, тульские пряники. Идут эти дамочки — запах духов от них. Меж собой по-французски воркуют. Подошли к Цуцыну, он солдат brave, грудь вперед, усищи густые, глаза смышленные, осанка горделивая.

— Скажи, солдатик, — просит графиня, — что больше всего тебе на фронте запомнилось?

— Она, — не моргнув, отвечает Цуцын, — рыженькая.

— Ты подробнее, солдатик, кто она, где встретились?

— Не смею подробно, — говорит Цуцын. — Встретились на фронте и не расставались до самого Озерковского госпиталя.

— Скажи, скажи,— не отстают графиня,— кто она, твоя рыженькая, сестра милосердия?

— Никак нет.

— Кто же она?

— Вошь,— выпалил Цуцын.

Не получилась патриотическая беседа. Удалилась графиня со свитой, прошуршали юбками, только запах духов не сразу рассеялся.

Ну да бог с ними, с графинями, можно бы их и не вспоминать; это так, к слову пришлось. А главного я до сих пор не сказала. Главное, знаете, в чем заключалось?

Нетерпение жгло двинцев. Поскорее хотели рассчитаться за все измывательства над собой, за убитых товарищей, за тюрьмы, за свои деревни обездоленные.

Как утро, кого-нибудь за газетой «Социал-демократ» посылают. День с чистки начинается.

— Скоро? — спрашивают командира.

— Чего спрашивать,— отвечает он.— Сами все слышали. Скоро.

Командиром двинцы Евгения Николаевича Сапунова избрали. Был он большевик со стажем, ломаный и стреляный, и в тюрьмах сидел, и на фронте верховодил, и тут, в Бутырке, за голодовку первый голос подал!

Рассказывали, что, когда весть о голодовке двинцев по Москве разнеслась, когда заволновался город, по какому такому праву невиновных в камеры загнали, решило тюремное начальство прекратить голодовку. Наварили суп пожирнее и мяса не пожалели. Внесли бак в камеру. Люди голодные, истощенные. От наваристого супа запахи такие, что голова кругом идет.

Подшел Сапунов к бачку, пнул ногой, растеклась по цементу тюремная похлебка. Посмотрел на коменданта:

— Жрите, ваше благородие!

Такой он, Сапунов. И внешне Евгений Николаевич собранный, подтянутый, на гимнастике на одной скла-

дочки, поджарый, быстрый. Утром иной раз глянешь в окно: он во дворе госпиталя занятия с двинцами проводят — залюбуешься. Идут на него трое, пятеро — всех разбрасает.

И в тот роковой вечер он слова показал себя. В две минуты построил двинцев, разделил команду на четыре взвода. Велел интервал соблюдать между взводами. Разведчиков вперед послал. И наконец, меня увидел. Я тоже не мешкала, в два счета собралась, как только услышала, что двинцев на охрану Московского Совета вызывают.

— А вы куда, сестрица? — спрашивает.

— Куда все, туда и я, — отвечаю и, вспомнив слова начальника шмитовской дружины, добавила: — Где драка, там и кровь.

Выступили. Дождик накрапывал. Полумрак. В конце октября рано темнеет. Город не то замер, не то вымер. Ни души навстречу.

Идем, вслушиваемся. Ничего, кроме собственных шагов, не слышно. Стали подходить к Москворецкому мосту. От воды белесоватый туман поплыл. Из тумана разведка вынырнула.

Сведения неутешительные: на мосту — патруль из юнкеров, и на Красной площади — юнкера.

— Приготовиться, — негромко приказал Сапунов. Покатилась команда по цепи, от взвода к взводу.

Вышли на мост. Загремел мост под сапогами.

— Стой, кто идет?!

Еще лиц не видно, только окрик слышен. А вот и патруль. По шинели Сапунова запрыгали лучи карманных фонариков:

— Куда ведешь солдат?

— Веду куда надо.

Гремят сапоги по мосту, в руках у двинцев — винтовки. Расступился патруль, погасли фонарики.

Снова идем. Враждебно молчат дома. В темноте ка-







саюсь плечом соседа, чувствую: рука напряжена. И в общем безмолвии, и в самом воздухе напряжение.

Сапунов по-прежнему впереди. Быстрый у него шаг. Вижу его спину, вижу приклад наклоненной винтовки.

Топ-топ, топ-топ — гремят сапоги. Ни кашля, ни слов. Ни возгласа. Никогда не предполагала, что и молчание может объединять, сплачивать людей. Идешь и слышишь дыхание соседа, слышишь дробь каблуков.

Подходим к Лобному месту. В сумеречном полусвете неясно маячат фигуры. Сапунов, очевидно, разглядел их, на секунду замедлил шаг, и опять пронеслось по цепи негромкое:

— Готовьсь...

— Куда ведешь солдат?

Тени юнкеров зашевелились, задвигались.

— На охрану Московского Совета, — властно отвечает Сапунов.

— Проходите!

Начало благополучное и гладкое. Закрадывается сомнение: нет ли подвоха, не готовят ли нам западню?

Перестаю верить в тишину. Внутри все съеживается при мысли, что вот-вот в спину ударит залп.

Ба-ам-м! — прокатывается по площади. Вадрогнул сосед. Нервы. Ведь это часы на Спасской башне. Десять ударов — десять вечера.

Едва видны Минин и Пожарский. Толком не разберешь, где князь, где посадский. И они словно притаились, прислушиваются к тишине.

Неужели обойдется без стычки?

Топ-топ, топ-топ — гремят сапоги.

Из ворот Исторического музея высыпали юнкера. На патруль не похоже, очень их много — сотни две с половиною, три.

— Стой! — командует полковник.

Сапунов подает знак. Мы останавливаемся.

— Куда следуете?

— Команда двинцев. Следуем на охрану Московского Совета.

— А-а-а,— тянет полковник.— Бандиты с Двинского фронта, дезертиры, большевистские прихвостни!

Между Сапуновым и полковником расстояние сокращается.

— Сложить оружие! — приказывает полковник.

Сапунов оборачивается к нам. Слышала ли я команду «Готовься!» или мне показалось? Точно не скажу. Скорее всего, не успел он отдать команду, потому что полковник выстрелил в спину.

Не вскрикнул, не ахнул Сапунов, споткнулся и повалился на камни.

Дальше все как во сне было, как в горячке. Бросилась я к Евгению Николаевичу — спина у него в крови; ухо к груди прикладываю — ничего не слышу: стрельба вокруг, пули надо мной — дзз, дзз — так и взвизгивают.

Пока разобралась, что он пеживой, у наших патроны кончились или по последнему на брата осталось. Выходили — каждому по три патрона дали. Не густо. А у юнкеров пулемет зацокал. Лежим на камнях, мокро, холодно, у меня пальцы липнут: кровь Сапунова на руке. Хотела руку вытереть, не успела, кто-то двинцев в штыки поднял. Цуцын, наверное. Зычный у него голос.

Бросились на юнкеров. И я со всеми. Ух и было же! Кололи, прикладами сшибали, стоны, хрюск, лязг, тонот. Чтоб врага штыками дырывать, чтоб ногами топтать, чтоб у юнкерья кровь от страха стыла — злость нужна лютая, ярость бешеная. Иначе не победишь!

Прорвались мы через Иверские ворота, пробились к Московскому Совету. Сколько полегло — не скажу, не считала, не до этого было.

## XI

Предраассветная темень была густа, как смола. Грузовик оголтело прыгал по булыжникам. Кузов громыхал и трясся. В кабине жалобно скрипели пружины сидений.

Иногда, на мгновение, шофер зажигал фары. Сноп света, пугливо шмыгнув по мостовой, вырывал из мрака мокрые камни, бордюр тротуара, поспешно гас. Становилось еще темнее. Было непонятно, как угадывает шофер русло неширокой улицы.

Впереди предупредительно замигали фонарики. Двое с винтовками вышли на мостовую. Патруль.

Шофер резко сбавил скорость, словно останавливаясь, в метрах в пяти — семи от патруля полоснул по юнкерам светом, ослепил их фарами. Кажется, они успели шарахнуться в стороны, потому что автомобиль, грохоча, прошелся, никого не задев. Запоздалые выстрелы пробуравив плотную темень.

Скорость росла. В разбитое окно ударял ветер, холодил, будоражил.

«Прорвемся», — шевельнулась надежда — и, на беду, не вовремя. Грузовик отчаянно трянуло, мотор хрипло заурчал и заглох.

— Врешь! — неизвестно кому бросил шофер, выскочил из кабины во мрак, два или три раза крутнул ручкой, и мотор застучал снова.

Оставалось последнее серьезное препятствие — мост. Если проезд перекрыт баррикадами, придется поворачивать назад. Если нет...

Все было продумано. Хотя известно, на всякий случай соломку не подстелешь.

Река вынырнула внезапно, обозначенная стволами голых деревьев. Блекло-желтый фонарь горел в тусклом одиночестве. Перед мостом выгнулся шлагбаум.

К часовому из полосатой, как зебра, будки вышло несколько юнкеров, встревоженных близким грохотом машины.

Рука легла на рукоятку маузера. До моста — двадцать, от силы тридцать метров. Считанные секунды.

Шофер обманно притормозил, сбросил скорость, и вдруг с яростным треском лопнула граната. У ног часового взметнулся рыжий огонь.

— Глаза! — закричал шофер.

Мотор взревел от напряжения, грузовик бросился на шлагбаум. Осколки ветрового стекла зазвенели, мост загудел под колесами, кузов заходил ходуном.

Вдогонку грянули выстрелы, но звук их был услышан уже за мостом, когда рука отпустила рукоятку маузера, ставшую теплой и влажной.

Шофер, опьяненный скоростью, ветром, опасностью, казался одержимым. Он вцепился в баранку, слился с пею и расслабился лишь возле трехэтажного дома с часовыми у подъезда и светом в окнах.

Тормоза заскрипели:

— Прибыли!

Штернберг выпрыгнул из кабины. Под погами захрустели осколки стекла.

— Все живы? — окликнул он лежавших на дне кузова.

Сначала показалась голова двинца без папахи, потом он увидел Софью Войкову и еще одного солдата.

Оглушенные тряской и грохотом, они, наверное, не расслышали или не поняли вопроса, неуклюже вылезали из грузовика, откинули борт и осторожно опустили на землю третьего. Он был мертв.

Павел Карлович обнажил голову, склонился над двинцем. Продырявленная на груди шинель, растекшееся пятно крови.

Штернберг распрямился и пошел к двери.

Ресторан Полякова, куда перебрался Замоскворецкий военно-революционный комитет из кооперативной столовой, еще не утратил до конца примет ресторации. На внутренней, стеклянной двери бросалась в глаза надпись: «Милости просим! Дешево и вкусно!» В зале многочисленные столики были сдвинуты к стене. На полу сидели и лежали рабочие, красногвардейцы.

Через зал тянулся незакрепленный провод полевого телефона.

«Винтовок маловато», — отметил про себя Штернберг.

Он с минуту рассматривал оружие, прислоненное к стене. Преобладали берданки, винчестеры. Один красногвардеец, даже заснув, не расставался с винтовкой, плотно прижал ее к себе.

У железного бачка с кипятком толковали между собой четверо рабочих, отхлебывая небольшими глотками кипяток из железных кружек. Перехватив взгляд Штернберга, один из них пригласил его:

— Прошу к нашему шалашу. Часк дымком заварен и сахар вприглядку...

В Военно-революционном комитете никто не спал.

— Если Магомет не идет к горе... — приветствовал Павла Карловича Владимир Файдыш. Рука его лежала на вертушке телефона. — Связаться с вами невозможно.

— Отныне я ваш, — объявил Штернберг. — Добрая половина работников из центра выехала в районы. А связь...

Он махнул рукой в сторону окна, словно можно было из этой комнаты показать виновников поврежденной связи.

— Телефонную станцию захватили юнкера. Моссовет отключен.

Стало напряженно-тихо. Последняя телефонограмма, полученная в Замоскворечье из центра, сообщала об 'уль-

тиматуме Рябцева и содержала призыв прислать войска для охраны Моссовета.

Дошли ли подкрепления? Что там, в центре? Неведенье порождало тревогу.

Павел Карлович обвел взглядом сидящих. Пожалуй, он знал всех — одних меньше, других больше. Файдыша он помнил семнадцатилетним студентом, возглавлявшим одну из лучших групп по съемке Москвы. Штернберг уже тогда величал его по имени и отчеству — Владимир Петрович, но, по существу, это был мальчик. Павел Карлович вспомнил, как Владимир порезал зингеровской бритвой подбородок и неуклюжий великан Преображенский издевался над ним:

— За одного резаного двух нерезаных дают!

Теперь Файдыш стал старше на десять лет тюрьмы и ссылки. В его движениях, взгляде и голосе появились уверенность и самостоятельность.

«Опора надежная», — Павел Карлович перевел взгляд на Петра Добрынина, который сам себя называл «послом Замоскворечья в Центральном штабе Красной гвардии». «Посол» отлично знал район, людей, неплохо владел оружием, в голове его рождались бесчисленные стратегические планы. Настало время проверить их на практике.

Трамвайщик Петр Апаков сидел у самого окна и курил, пережив, очевидно, у Добрынина добрую традицию — дым выпускал в форточку. Апаков дважды бывал в гостинице «Дрезден» и оба раза приходил с дельными предложениями. Во всяком случае, трамвайные телефонные будки «эксплуатировались» разведчиками, по его собственному выражению, «на всю железку».

Остальных Павел Карлович знал понаслышке: Сокола, молчаливо-хмурого солдатского вожака, представлявшего 55-й запасной полк; Петра Арутюнянца — лобастого, черноглазого студента из Коммерческого института, о котором Добрынин говорил:



— Энергия Арутюнянца спит только тогда, когда спит Арутюнянец.

Люсик Лисинова что-то шептала насушенному Соколу. Рядом с ним, одетым в солдатскую шинель, ее белая блузка казалась особенно воздушной, а волосы еще угольнее, чернее, чем были на самом деле. Штерибберг Лисинову встречал в Московском комитете — она слыла превосходным агитатором, а в первые дни восстания увидел ее в бывшем доме генерал-губернатора. Люсик приходила с донесениями из Замоскворечья.

— Не попадетесь? — спросил ее Павел Карлович, передавая «Вопросник», отпечатанный Катенькой в ночь на двадцать шестое.

— Юнкера со студентками ведут себя корректно, — ответила Люсик, строго откинула голову, сощурила большие черные глаза, поправила на переносице пенсне, подчеркивавшее ее интеллигентность, и гордо пересекла компату, показывая, как она проходит мимо юнкеров...

— Ну, с чего начнем?

Штерибберг обернулся к стене, занятой планом района со знакомыми пометками угловых зданий, высоких каменных домов, проходных дворов.

— Так, так, — Павел Карлович вернулся к столу, взял в руки затрепанную, зачитанную до ветхости маленькую книжонку, лежавшую возле телефона, и удивленно обрадовался, узнав в ней пособие Вычегодского «Тактика уличного боя».

«Судьбе этой книжки, — подумал он, — мог бы позавидовать любой великий беллетрист. Зачитана, превратилась в лохмотья. Но с нею не расстаются...»

По тишине, наступившей в большой комнате, по взглядам товарищей он ощутил то острое петербургское, с которым ждут от него новостей. Тонкое лицо Владимира Файдыша заострилось больше обычного; Апаков докурив сигарку, приготовился слушать. Добрынин чуть приподнял

голову, увенчанную такой шевелюрой, которой хватило бы с лихвой на двоих.

«Положение сложное», — вертелась на языке первая фраза. В Моссовете кое-кто называл положение «критическим». Штернберг опустил эпитеты:

— Положение следующее.

Павел Карлович решил, что правильнее будет, если он ознакомит соратников с обстановкой, со всеми ее плюсами и минусами, не спеша с готовыми выводами, не навязывая свою или чью-либо точку зрения.

Рассказ его был предельно конкретен и краток.

Период неопределенности позади. Иллюзия переговоров между непримиримыми врагами развеяна. Комитет общественной безопасности, объединивший всю коптрреволюцию, объявил нам войну.

Какова расстановка сил?

Противник хорошо вооружен, организован, обучен. Есть сведения: на помощь Рябцеву идут с фронта казаки, драгуны, артиллерия. Намерения белой гвардии обнажились. Ультиматум, очевидно, означает: завтра-послезавтра будет предпринята попытка задушить ВРК, обезглавить восстание.

На долю казаков, ожидаемых с фронта, останется утопить в крови рабочие окраины...

Московский Военно-революционный комитет действительно оказался почти окруженным юнкерами. Территориально он отделен и удален от заводских кварталов. Чтобы упрочить его положение, вызвали из районов артиллерию, отряды Красной гвардии и солдат. Это остудит пыл господина Рябцева.

Московский комитет командировал в районы своих представителей, искушенных в военном деле. Отдан приказ о переходе в наступление. «Красный пояс», как называют окраины Москвы наши противники, должен сжаться.

— Сжаться, конечно, сжаться, — сверкая угольями

черных глаз, не выдержал горячий Арутюнянц.— Но мы сидим без патронов.

Штернберг кивнул:

— Знаю.

— Чем же мы сожжем юнкеров, голыми руками? — не унимался Арутюнянц.— Забросаем шапками?

— Сейчас обсудим и это.

Павел Карлович взял со стола истрепанное пособие по тактике уличного боя:

— В этой книжице говорится, что трехлинейная винтовка — надежное оружие, магазин ее вмещает пять патронов, дальность полета пули — пять тысяч пятьсот шагов. Можно произвести до двадцати выстрелов в минуту. Каждому солдату выдается сто двадцать патронов. По сколько патронов у вас, точнее, у нас в районе?

— На трехлинейки — по одному, на берданки — по пять,— ответил Файдыш.

Все посмотрели на Штернберга, а он вспомнил красногвардейца, заснувшего на полу в обнимку с винтовкой, вспомнил Ангела, почтительно державшего на широких ладонях мандат на оружие.

«Теперь не пропадем!» — сказал тогда Ангел...

— В других районах еще хуже,— невесело констатировал Павел Карлович.

Никто не шевельнулся. Никто не бросил реплики. Хмурые люди притихли, словно прислушиваясь или чего-то ожидая. У Апакова — напряженно-неподвижные скулы. Лисинова морщит лоб, на лице ее тень.

Все устали. Или, может быть, факты, о которых сейчас шла речь, тяжким гнетом легли на каждого?

Наверное, и то и другое. Конечно, трудно. Он всегда был против ложного бодрячества. Если жизнь велит съесть пуд соли, бессмысленно разводить ее розовым сиропом. Человек, трезво оценивший обстановку, обладает ключом к верному действию.

— Перспектива вооружиться есть.— Штерибург несколько повысил голос.— В арсенале Кремля семьдесят тысяч винтовок, пулеметы, гранаты. В Кремле наши машины и наши люди. Выхать они не могут: Кремль оцеплен юнкерами. Замоскворечье, между прочим, вплотную подступает к Кремлевской набережной. Однако к этому мы еще вернемся. Ждем мы оружие и из Тулы, Владимира, Иванова, из ближнего Подмосковья.

— Пока это журавль в небе,— заметил Файдыш. Ему, начальнику Красной гвардии района, даже относительно близкое будущее представлялось далеким. Через несколько часов Файдышу предстояло повести людей в бой.

— Хорошо, когда есть журавль в небе.— Штерибург повернулся к Файдышу.— Но нам и без синицы не обойтись. Нужна синица в руки! И не послезавтра, не завтра, а немедленно, нынче ночью.

Штерибург встал. Не было и тени усталости в этом большом человеке, так и не снявшем кожаную куртку, перехваченную широким ремнем. Ремень чуть снулз, оттянутый маузером.

— Смотрите,— сказал он, тыча пальцем в план района,— в этих шести-, пяти- и четырехэтажных каменных домах — буржуазия, купечество, чиновничество, офицеры. Вы знаете, сколько машин с оружием роздано Рябцевым в домовые комитеты?

— Из каждой форточки па Остоженке и Пречистенке стреляют нам в спину,— подтвердил Апаков.

— Нынешней ночью,— Павел Карлович утверждающе провел рукой,— летучие отряды красногвардейцев обязаны обезвредить все подозрительные дома. Сопrotивляющихся арестовать! Пусть контрреволюция послужит у нас в интендантах! Все конфискованное оружие — в ревком!..

Формировать летучие отряды поручили Петру Арутюнянцу. Через минуту его голос уже доносился из зала, где отдыхали рабочие и красногвардейцы. Оттуда дока-

тилась волна оживления, захлопали двери, загремели по коридорам башмаки.

Вот уже и на улице командовали:

— По порядку номеров рас-счи-тайсь!

Добрыни кивнул в сторону улицы:

— Сегодня буржуи недосмотрят сны. Арутюнянц потрясет их души!

Штернберг продолжал:

— Есть еще один источник оружия — школа прапорщиков. Смотрите!

Он опять ткнул пальцем в план Замоскворечья:

— Эта школа как бельмо на глазу. Здесь, у нас под боком. А если пойдем вперед, нам в спину нацелят пулеметы...

— Разрешите?

Сокол, председатель полкового комитета, верный солдатской привычке, встал. Он не умел говорить сидя. И не умел говорить тихо. Тоже привычка. На полковых митингах тихий голос не услышат.

— Прапорщики сложить оружие отказались. У них триста пятьдесят штыков, пулеметы. Штурмовать — много крови прольется.

Речь Сокола похожа на рапорт. С упрямой решимостью он оперся на спинку стула, всем видом давая понять: лезть на рожон нет смысла, но если надо — мы готовы...

— Что же вы предлагаете? — спросил Штернберг.

Вместо ответа по существу Сокол сообщил:

— Школа прапорщиков объявила нейтралитет.

— Ах, нейтралитет! — Павел Карлович сделал шаг к Соколу. — И вы в него верите?

Сокол замаялся.

— А я не верю. В дни войны и в дни революций нейтралитет — штука зыбкая, ненадежная, недолговечная. Нейтральные — между молотом и наковальней. Они колеблются, выжидают, лавируют. Вихрь событий в любую

минуто грозит захватить, закрутить, затянуть их. Особенно не люблю нейтральных, у которых в окнах — пулеметы...

Решили: не тянуть ни часу. На рассвете 55-му запасному полку обезвредить школу прапорщиков, разоружить...

В ту ночь все колесики в механизме Замоскворецкого ВРК пришли в движение; с той ночи Штернберг возглавил Военно-революционный комитет и получил право главной подписи под документами.

Не дожидаясь рассвета, Люрик Лисинова с однокурсником и другом Алексеем Столяровым взялась доставить на Скобелевскую площадь донесение. Студентов, «убегающих от большевиков», юнкера пропускали.

Зинаида Легенькая, коротко остриженная, похожая на юношу, с двумя подругами отправилась разведать обстановку в районе Кремля. Они, кондуктора трамвайного парка, перекинув через плечо рабочие сумки, готовы были держать ответ: мы в утреннюю смену, снешим в Сокольнинский парк.

Легенькую в разведчицу сосватал Анаков.

Две колонны краспогвардейцев и солдат выступили к штабу Московского военного округа и Александровскому военному училищу...

Слякотное утро незаметно перешло в слякотный, промозглый день. Дождь — непрерывный, бесконечный, временами смешанный с мокрым снегом — размыл грани времени.

Павел Карлович отыскал на карте Остоженку. В том месте, где отряд Добрынина охватывал клещами штаб, нарисовал скобу, похожую на подкову.

Если б артиллерия... Он мечтательно подумал о пушках, которые сшибли бы пулеметчиков с колокольни, с башни Зачатьевского монастыря, проломил бы стены штаба.

В донесении, зашитом в кофту Люсик Лисиновой, он просил Московский ВРК прислать батарею и пулеметы.

Где же Лисинова? Добралась ли?

Он послал донесения и более надежным, кружным путем, через Дорогомилово...

Штернберг откинулся на спинку стула, зажмурился, давая отдых глазам и сосредоточась.

В ту ночь, когда он уезжал из Моссовета в Замоскворечье, к Скобелевской площади подошла батарея с Ходынки. Прикатил на самокате Ян Пече, побывавший в мастерских тяжелой осадной артиллерии. Рабочие восстановили шестьдесят орудий из четырехсот. Самые мощные из них поставлены возле Введенского народного дома на случай обстрела Казанской, Николаевской и Ярославской дорог, на случай, если к Рябцеву на помощь придут эшелоны...

Наконец, он мысленно перенесся к Большому Каменному и Москворецкому мостам. Ему не надо было открывать глаза, чтобы проследить по карте кратчайший путь от этих мостов к Кремлю, к кремлевскому арсеналу, к оружию. В его сознании нерасторжимо соединились два слова: «Пробить коридор!»

Так он сидел пять, может быть, десять минут, вытянув под столом ноги и зажмурясь, пока не скрипнула дверь. Вошла Зинаида Легенькая.

Зина была в намокшем платке, с рабочей сумкой через плечо, в мужских сапогах. Она остановилась у стола и сдавленным голосом произнесла:

— Все. Юнкера в Кремле.

Он посмотрел на нее осуждающе, даже зло, будто можно было укорить ее за весть, с которой прошла она сквозь вражеские патрули; глянул в ее черные, встревоженные глаза, ждавшие от него утешения, спросил:

— Какие у вас факты?

Она вздохнула, положила на колени мокрый платок,

обнажила по-мальчишески коротко остриженные волосы, утерла влажный лоб.

— Факты?

Зина рассказала все по порядку.

Паия Крюкова шла по трамвайной линии, а она, Легенькая, подошла к Спасским воротам, потом к Никольским и отбивала поклоны. Сколько поклонов, столько заметила юнкеров.

У Никольских ворот ее остановил офицер, спросил, куда идет, и, узнав, что на работу, махнул рукой:

— Никакой работы не будет. Сегодня праздник, мы взяли Кремль, будем вешать большевиков.

Когда они поравнялись с Троицкими воротами, то видели своими глазами, как из ворот выходили и выезжали юнкера и офицеры, а еще позже слышали стрельбу. Кто стрелял — неизвестно, стрельба доносилась из Кремля...

— В котором часу вы слышали стрельбу?

Зинаида ответить не успела. Появился посылный с донесением. Ревком станции Москва-Павелецкая сообщал, что в Кашире остановлен эшелон казаков. Казаки высадились, переправились на противоположный берег Оки и взяли курс на Москву...

— Отдыхающих в зале поднять по тревоге, — приказал Штернберг дежурному. — Всех членов ВРК — ко мне!

## XII

Он лежал на парах в духоте и смраде казармы. Форточки открывать стражники запретили.

— Стекло выдавить, а? — неуверенно предложил сосед, багровый от жара, с мутными слезящимися глазами.

— Стекло? — переспросил кто-то. — За стекло всех перестреляют. Терпи.



— И так перестреляют,— отозвался голос.

Из-за духоты дышать становилось все труднее. Он вспомнил, как дышат рыбы, выброшенные на берег,— судорожно разинув рты, вздрагивая.

Воздух словно подогрели на спиртовке. Отчего же треплет озноб? Сначала легко, словно мышь пробежала по спине, защекоotalo, потом затрясло как в лихорадке.

Наверное, все от раны. Рапа у него в боку, жжет, кровоточит. Каждые десять — пятнадцать минут тянется рука, хочется проверить, может, кровь свернулась, на куртке сухая корочка? Черта с два! Мокро.

Товарищи перевязали. Один не пожалел нательную рубаху, изорвал на полосы, связал эти полосы, перетянул бок. Вроде бы полегчало. Да нет, самообман. Вдобавок ко всему узелки впиваются в тело. Как ни повернись — нескладно.

Жестко на нарах. Не привык Ангел ни сладко есть, ни мягко спать, но так жестко еще не бывало. И на душе пакостно, противно-препротивно. Злость на себя берет, обида душит. Его, старого боевика, обманули как мальчишку, на убой, как барана, поволокли.

Эх, дурь человеческая, нет тебе прощения, нет оправдания!

Заскрипел Ангел зубами, застонал на всю казарму.  
— Что ты? — испугался сосед.

Опять тихо. Проклятая тишина! Тишина страха. Если затопают у двери сапоги, можно прощаться. На последнюю прогулку поведут.

И чего сразу не ухлопали, не добили? Наскучило убивать? Крови досыта напились?

Тихо. До чего же тихо! Только сосед трудно дышит, только нары поскрипывают, когда с боку на бок кто-нибудь переваливается. Ангел напряг слух. Где-то далеко-далеко застрочили пулеметы. Неужели чудится, мерещится? Не в бреду же он, ума-разума не лишился. Верно,

стреляют. Бьются наши. Сражаются. Это он тут взаперти, бессильный, безоружный, нары боками продавливают.

— У-у-у-у,— вырвалось у него из горла громко и горестно.

— Ну что ты? — опять насторожился, приподняв голову, сосед.

А что ему ответишь? Что дурь собственная выходит, обида поедом ест, совесть мучит?

Как хорошо все начиналось! Там, на Скобелевской, в Моссовете, дал ему Штернберг мандат на оружие. Никогда Ангел не держал в руках такую бумагу. Доверялось ему тысяча винтовок, триста тысяч патронов. Триста тысяч выстрелов.

— Смотрите,— сказал ему Штернберг,— действуйте быстро, решительно, толково.

— Не подведу,— заверил Ангел.— Теперь не пропадем.

У Манежа казаки стояли, юнкера. Проводили взглядами грузовики.

— Ничего,— думалось тогда.— Скоро вы у нас не так поглядите.

На душе — ни страха, ни колебаний. В одном кармане — мандат на оружие, в другом — револьвер, в кузове — красногвардейцы с гранатами.

У Троицких ворот — юнкера. Молча стоят, не задираются, документов не требуют. Постучал кулаком в ворота, часовой открыл форточку, обещал коменданта вызвать.

Запятная история: с внешней стороны ворот — враги, внутри — наши.

Комендант Кремля прапорщик Берзин, большевик, быстрый такой, самостоятельный.

— Отворяй! — скомандовал часовому.— Свои приехали!

Голос у него довольный, радостный:

— Вооружайтесь, ребята! Дуйте прямо к арсеналу. Приказ получен.

Потаскал Ангел на своем веку и мешков, и ящиков, и бревен. Бог ни здоровьем, ни силою не обделил. Натаскаешься — спина гудит, руки ноют.

— Таскай, таскай, пока пупок не надорвешь, — говорил отец. — Такая наша доля.

А здесь, в арсенале, ящики с патронами словно сами в кузов прыгали. И винтовки легкими-легкими казались — новенькие, заводской смазкой пахнут.

Погрузили. Лица потные, улыбки до ушей. Сделали дело!

Скоро выяснилось: рано радоваться. Юнкера заслоны усилили, машины с оружием не пропускают.

— Пробьемся, — предложил Берзину Ангел. — Огонь откроем, на большой скорости прорвемся.

— Рискованно, — отсоветовал Берзину. — Давайте ВРК запросим.

ВРК так ВРК. Позвонили. Получили твердый ответ: — Ждите!

Дальше все как-то нескладно пошло. Приехали в Кремль Ногин, Ярославский и Аросев, с ними и полковник Рябцев явился. Оказывается, переговоры затеяны.

Собрали митинг. Рябцев запел свою песню: мол, в Кремле, в подвалах, весь запас русского золота и других ценностей много. 56-й полк большевистский. В Кремле он давным-давно вахту несет. Надо заменить его свежей частью, юнкерами.

— К черту! — закричали солдаты. — Юнкеров не пусти!

— Ребята, рви его на части! Чего с контрой ласы точить!

Митинг получился как положено: все говорят и никто не слушает. Пришлось Рябцеву на понятную идти. Согла-

сил: пусть 56-й остается на месте, пусть рота 193-го уйдет — она пришла, прежде в Кремле не стояла, а юнкера осаду снимут...

Плохо спалось Ангелу в ту ночь. Часто из казармы выходил, охрану возле машин проверял.

С реки ветер холодный тянул. Дождь моросил занудливый, долгий. Машины брезентом накрыли.

Ночь кончилась. Наступил день. Ничего не принес новый день — ни успокоения, ни ясности. Рота, как договорились, ушла, юнкера для видимости с глаз убрались, а через час-другой их вчетверо больше появилось. В окнах Торговых рядов на Красной площади выставили пулеметы.

— Миром не поладим, — сказал Ангел Берзипу. — Надо прорываться, вывозить оружие.

Наметили план: впереди пустить броневик, за ним пойдут грузовики с охраной, в хвосте колонны — второй броневик.

В Кремле стояла броневая команда, охранявшая Николаевский дворец. Бросились в гараж — опоздали: в броневиках засели офицеры.

Что делать? Как быть дальше? Оружие применить? Вроде бы не время: переговоры идут. Ждать сложа руки? Тоже негоже. По ту сторону Кремлевской стены активность подозрительная, юнкера что-то затевают.

Берзин — большевик молодой, не очень опытный. Виду не показывает, однако ясно: растерялся немного.

Пришлось опять звонить в ВРК. Звонили, звонили — гудки, хрипы. Все-таки дозвонились.

— Ждите к вечеру подкрепление, — был ответ.

До вечера еще дожить надо. А от Рябцева ультиматум: сдавайтесь, иначе с лица земли сотрем.

Заговорил бомбомет. Первая бомба пролетела над Кремлем и шлепнулась в Москву-реку. Дозорные видели, как столб воды над рекой поднялся.

Вторая бомба за памятником Александру II грохнулась.

Поднялась пулеметная трескотня, пальба из винтовок. Началось!

Опасность не расслабила, наоборот, подтянула, встряхнула: солдаты выкатили пулеметы против ворот — попробуйте, господа, суньтесь! Патронов столько — в каждого юнкера по пятьсот всадить можно, еще останутся.

Дождались вечера. Ночь спустилась. Темная. Мокрая.

Подкрепленный нет. Опять в ВРК позвонили — тихо как на кладбище. Не отвечает.

Из бронекоманды, от солдат, охраняющих Николаевский дворец, поползли слухи: в Петроград Керенский вернулся, в Москве рабочие сдались.

Верь не верь — проверить негде.

Стоят грузовики с оружием, брезентом накрыты, в темноте на сараи похожи. Жмутся к бортам часовые, зябко под дождем, тоскливо от неопределенности.

Видит Ангел, не в духе товарищи. И подбодрить печем. У самого на душе кошки скребут. Так устроен человек: если радостные ожидания — крылья растут, если горестные — ноги подкашиваются.

В девятьсот пятом, когда выбрал он себе подпольную кличку, товарищи подтрунивали:

— Ну и придумал — Ангел. Смотри, Ангел, подрежет тебе охранка крылышки.

Тогда обошлось, а пынче пришел час подводить черту. Умел жить — умей и умереть человеком.

Под утро похолодало. Дождь со снегом пошел. Ветер усилился. Ляжем здесь костями, и снегом нас укроет. А их свинцом попотчует, щедро попотчует.

Подумал так, и легче стало.

Вдруг видит: Берзин бежит. Задыхается, но бежит в сторону Троицких ворот.

— Стой! — крикнул Ангел. — Что нового?

Остановился Берзин, лица на нем нет.

— Все,— говорит.— Наши сдались. Иду открывать ворота.

— Стой, контра! — закричал Ангел и схватил прапорщика за грудки.

Остановился Берзин, дышит тяжело, глаза как у безумного:

— Сдались, понимаешь? Рябцев пять минут дал. Пустим его без выстрелов — жизнь солдатам дарует. Не пустим — смерть.

— Дарует? — злобно переспросил Ангел.

— Тысяча душ на мне, ты-ся-ча! — заорал Берзин.— Могу я их на смерть обречь? Могу? А он честное слово дал. Слово офицера.

Разжались руки у Ангела.

— Стой! — закричал он опять, но было поздно. Берзин подбегал к Троицким воротам...

Юнкера входили опасливо, с винтовками наперевес. Офицеры шли с пулеметами. Из гаража выкатил броневик.

— С ними, гад,— шевельнул губами Ангел.

Солдат и красногвардейцев построили напротив Троицких ворот.

— Сложить оружие! — скомандовал Берзин.

Кто-то первым бросил винтовку. Со злостью бросил, грохнулась о камни. Другие не бросали, клали осторожно, поближе к себе, может, надеялись, что еще понадобятся.

На солдат пулеметы наведены. И броневик хищно ствол выставил. Оглянулся Ангел: сзади тоже пулеметы... Наклонился, положил револьвер у самых ног, мандат вытащил и, не разгибаясь, в рот.

Бумага комом во рту. Жует — не прожевывается. Измолотил зубами, глотнул — она в горле застряла. Кадьяк, как челнок,— вверх-вниз, а бумага — ни с места.

Подходят к Берзину офицеры:

— Значит, ты Кремль держал?

— Я.

— Ты должен застрелиться.

— Этого я не сделаю.

Штабс-капитан, с черной повязкой на глазу, тонкий как жердь, рукой хрясть Берзина по лицу. Хрясть второй раз. Сухая у него рука, костлявая.

Прапорщик юшкой умылся. Течет кровь, а он стоит, лицо не утирает. В глаза не смотрит. Потуился. Ждет чего-то, словно к расстрелу приготовился.

Офицеры удалились. Юнкера, подобрав оружие, как по команде, исчезли. Строй солдат сломался, они зашевелились, стали оглядываться.

— Что же теперь пас, а?

Вопрос повис в воздухе.

От Николаевского дворца верховой показался. Подскакал к строю:

— Дисциплину забыли, сволочи! Как стоите? Р-р-равняйся! Стой и не шевелись! Я вас проучу, негодяи!

Погарцевал на коне, хлестнул вороного плеткой, ускакал.

Дождь прекратился. Ветер отогнал облака. Тесня друг друга, потянулись они кудлатыми стадами на запад, а над Кремлем очистился клочок неба. Подумалось: если выглянет солнце — все обойдется. Подержат в строю и отпустят.

Заграл рожок. Где он? Откуда? Кто-нибудь сигналы разучивает?

Прислушался Ангел и услышал, как сзади, где-то неподалеку, ударил пулемет, застрекотал, оборвал скороговорку и опять застрекотал.

— Что еще там?

Сразу не понял, а понял, когда рядом солдат ахнул и, вскинув руки, повалился наземь, когда вокруг застопали, заметались.

— Ложись! — пронеслось по рядам, по поздно раздалась команда, потому что и спереди ударил пулемет, и в окне казармы запылал огонек, и заголосили живые, наползая на мертвых.

Несколько человек не легли, не упали на камни, в полный рост побежали к пулемету, будто надеялись остановить это убийство безоружных.

Бегущих встретили юнкера. Двоих прикололи штыками. Они падали медленно, будто в их воле было передумать и не упасть. Что случилось с третьим, Ангел уже не видел. Он зажал руками бок и, оттянув одну руку, удивленно уставился на кровь. Боли он не почувствовал, смотрел на пальцы, соображая, своя это кровь или солдата, лежащего рядом. Возле него патекла багровая лужаца.

Оставшихся в живых построили вторично. Офицер объявил: произошла ошибка.

Люди, оглушенные пережитым, толком не понимали поручика, не понимали, что называет он ошибкой и зачем он здесь, этот щеголь в венгерке с поперечными шнурами, с маленькими звездочками в погонах, и этот конь, переминающийся с ноги на ногу, застоявшийся и резвый.

Поручик проскакал вдоль попурого строя, и не успел отзвучать цокот копыт, как опять, словно бритвой по сердцу, резапул звук рожка, колющий и резкий, и опять пулеметы ударили по безоружным...

Он очнулся на нарах. Долго лежал, не поднимаясь и не шевелясь, томимый удушьем застоялого воздуха, раздираемый обидой и бессилием.

Рапа по-прежнему была влажная, пятно постепенно растекалось по парам. Видно, крови он потерял немало, потому что от слабости кружилась голова и тянуло в сон.



И он покорно смежил бы ресницы, если б явственно не услышал отзвуки далекой, далекой стрельбы.

— Не сдались, — прошептал Ангел. — Врапье.

Он оперся на локти, сел, потом, шатаясь, побрел к окну, поддерживая рукою бок и вслушиваясь в неясную, приглушенную дождливой моросью ружейно-пулеметную пальбу.

### XIII

Недоброе Кукин чуял за версту. Его изглодала тревога: растащат чайную, разбазарят. Смута расплзлась по всему свету. За кого сейчас поручишься? Все лезут из грязи в князи. Разве Манька посчитается с тем, что Василиса дала ей, бездомной, приют, в куске хлеба не отказала? Неровен час, отравит Василису, себя хозяйкой объявит. Чем Манька хуже других, если мода такая пошла: вчера — судомойка, завтра — черт знает кем себя паречет!

Появилась у Клавдия Ивановича несвойственная ему раздвоенность. С одной стороны, нетерпение подгоняет. Скорее хочется выяснить, что с чайной? С другой стороны, тормоза невидимые притормаживают: куда спешить? Крах свой увидеть?

Перед самой заварухой побывал Кукин в кофейне Филиппова, что вдоль Глинищевского переулка вытянулась. Какое богатство! Бюсты из мрамора, фигура, из которой вода прямо в аквариум льется.

И кто он, этот Филиппов, бог, царь, герцог? А спроси в Москве любого — городского голову по фамилии вряд ли назовут, какого-нибудь там архитектора или художника, пусть самого-самого, тоже не назовут, а Филиппова каждый швейцар, каждый приказчик, каждый пэвозчик, каждый гимназист знает!

Филиппов, Филиппов! Только и слышно: Филиппов. А разве Кукин хуже?

Еще неделю назад были у Клавдия Ивановича такие заповедные мыслишки, подогретые фразой, услышанной на улице:

— Пойдем к Кукину, чайку попьем, на белку поглазеим!..

Четыре дня и четыре ночи не наведывался Клавдий Иванович в чайную. За эти четыре дня в Москве все вверх дном перевернулось. Уж на что он, Кукин, непробибаемый, но в Кремле посмотрелся на всякое, сдали нервы. Поручил ему штабс-капитан трупы обшарить: «Пощупай, документы собери, авось понадобятся».

От всей этой затеи толку чуть, ничего путного в карманах не нащупал. Оно и понятно — голь перекатная, солдаты да рабочие. Найдешь в кармане махорки на две затыжки — вот все достояние.

А ночью, едва задремал Клавдий Иванович, какие кошмары в голову полезли!

Из Кремля все трупы свезли на Моховую, в подвалы университета. Там-то он и похозяйничал среди них. У одного пятерня растопырена. Ну, пятерня и пятерня, подумаешь, невидаль, а страшно стало. Почему растопырена?

У другого шарил Кукин в кармане, труп как труп, и вдруг шевельнулся он и жалобно, тихо позвал: «Ма-ма».

Клавдия Ивановича потом прошибло, тошнота в горле подступила, руки-ноги похолодели. Живой!

Так вот все это ночью привиделось, и уже не один мертвец, все они зашевелились, задвигались. Кукин задом, задом подался к выходу из подвала, на пути пятерня растопырена, пальцы негнущиеся, сухие, как осенние ветки, ногти синие, мертвецкие!..

А в Кремле — шабаш сплошной. Одни пьют, другие большевиков дубасят, душу отводят. Нечасто бывает,

что победу на блюдечке подносят. Ведь ясно: без арсенала, без оружия Советы, как кошка без хвоста.

Переверзев охмелел от удачи. И Кукин рад-радешенек: конец близок. А на другой день Рябцев штабс-капитана затребовал, штабс-капитан Кукина с собой приватил.

Полковник Клавдию Ивановичу не понравился: маленький, лицо желтое, вялое, как жеваный лимон. На победителя не похож и на командующего не похож. Китель расстегнут, рука пухлая, и на мизинце ноготь длинный.

— Охраной арестованных займитесь лично, — приказал Рябцев штабс-капитану. — Если из Кремля убежит хоть один арестованный, если расскажет рабочим... Москва осатанеет. Смотрите в оба!

Сказав это, полковник осекся. Переверзев стоял перед ним, опустил руки по швам, сверкая единственным глазом.

Штабс-капитан не заметил или сделал вид, что не заметил обидный оттенок сказанного.

— Завтра Москва будет у ваших ног, господин полковник, — заверил он.

Рябцев, видно, не разделял подобного оптимизма. Он устало покачал головой:

— В Сокольниках большевики обнаружили эшелон с оружием. За ночь оружие развезено по ревкомам.

— Казаки на подходе, — вставил Переверзев.

— Какие казаки? — поморщился Рябцев.

— В Кашире высадились, — напомнил штабс-капитан.

Полковник безнадежно махнул рукой:

— Замоскворецкие агитаторы повернули казаков назад...

Рябцев поднялся из-за стола, брезгливо повел губами, скользнул взглядом по Кукину, сказал штабс-капитану:

— Спускайте своих людей. Час пробил!..

Клавдий Иванович свернул в переулок. Справа тоскливо поскрипывала, раскачиваемая ветром, калитка. На москательной лавке висел большой амбарный замок. А за лавкой, за двумя плюгавыми домишками, виднелась чайная Кукина и Степанидовой, стояла как ни в чем не бывало, с высокой бочкой, подставленной под дождевой желоб.

Из чайной доносился привычный голос граммофона — голос пел про очи голубые, которые погубили молодца, слышался глухой гул мужской речи. Кукин рванул на себя дверь и вошел в помещение.

Бог мой, такого многолюдства здесь он не видывал. За столиками, не раздеваясь, сидели солдаты и рабочие. Хлебали чан, делили на пайки кирпичики хлеба. У стен стояли прислоненные берданки. Говорили все разом, курили. Из-за дыма Клавдий Иванович не сразу разглядел Василису. Она, как всегда, восседала за своей стойкой. В лице ее как будто никаких изменений не произошло. Лишь приблизившись, он уловил, что она поникла, лишилась той гордой осанки, которая ее отличала, в глазах исчезло спокойное довольство, появилась затаенная нервозность.

— Живы? — тихо и покорно спросила Василиса.

— Как видишь, — буркнул Клавдий Иванович. — Что это?

Он повел головой в сторону столиков, откуда доносился многоголосый гул.

— Прикрепили, — чуть шевельнула губами Василиса.

— А деньги?

— Деньги? — прошипела она и сложила пухленькие пальцы в кукиш.

— А деньги?! — наливаясь яростью, повторил Кукин.

— Тише, — глазки Василисы зло сузились. — Подымись в светелку.

На столике с многочисленными флакопчиками из-под

духов лежал синий листок. В нем писалось о том, что все продукты из чайной Кукина и Степанидовой реквизируются для нужд революции и что оплата будет произведена после окончательной победы.

Расписался председатель Замоскворецкого ВРК П. Штернберг.

Р-р-рек-визировать!

Резкий звук, похожий на другие рычащие — р-р-разорить, р-р-растоптать — больно резанул ухо.

Кукин вобрал в плечи голову, все в нем сжалось, напряжилось: за синим листком стоял бородатый астроном, стояли версты между обсерваторией и университетом, стояли стылые вечера в Никольском переулке, стояли дни, месяцы, годы.

Этот бородач всегда был недоступен и страшен, непонятен и могуществен, — огромный, большерукий, широко-спинный, и не Кукин его, а он Кукина настиг, чтобы р-р-разорить, р-р-растоптать...

Клавдий Иванович бросился в Манькину каморку. В каморке была неотопливающаяся печка с замурованным дымоходом. Там спрятал Кукин револьверы, гранаты, патроны.

В каморке не осталось следов Манькиного пребывания: голая железная койка, большой гвоздь в стене, на котором прежде висела ее убогая одежонка.

Запихнув один револьвер в карман брюк, второй в боковой карман пальто, вытащив три гранаты, он решил, ни секунды не медля, спуститься в чайную и швырнуть связку гранат в жующих, разговаривающих, распивающих чай. Кукин злорадно ухмыльнулся, представив, как разметаet взрывом людей, как ударит горячий фонтан из пробитого медного брюха пятиведерного самовара.

«Вот вам, вот вам реквизиция!»

Но он не швырнул гранаты в собственную чайную. Рука, спрятанная в пальто, будто прилипла к кармапу.

Клавдий Иванович по-кошачьи неслышно выскользнул в переулок. Ярость повела его дворами по адресу, где его наверняка ждали надежные люди.

Когда-то в Нижегородском кадетском корпусе, накрыв шинелью, товарищи избили Кукина за донос. Злоба тлела в нем, как уголек, спрятанный под кожной сырого хвороста, тлела мучительно долго.

После этого не раз его обуревала злоба. Однако он редко чем-либо выдавал свое состояние, разъедаемый, как щелочью, мстительным чувством.

На сей раз злоба вспыхнула неистово бурно, требуя немедленной разрядки.

Штабс-капитан Переверзев наставлял Кукина: пробил час! Пока подойдут подкрепления с фронта, мы взорвем большевиков изнутри. Пожары, пьянство, грабежи, погромы, насилия, выстрелы из-за угла, страх. Хаос и анархия!

Наши люди везде — в Замоскворечье и Хамовниках, в Дорогомилове, Бутырках, на Пресне. Вперед, Кукин, отечество тебя не забудет!

Слушая штабс-капитана, Клавдий Иванович подумал: «Очередная блажь». Но теперь, после чайной, захваченной рабочими, реквизированной бородачом-астрономом, им безраздельно овладело сладостное, нетерпеливо-снедающее чувство расплаты.

Соратники разделяли его порыв. Их было четверо: подпоручик Петриченко, с двумя маленькими звездочками в погоне, подстреленный на фронте собственными солдатами за жестокость; Гаврила — сын владельца мясной лавки в Охотном ряду; студент Коммерческого института Ляхов и гимназист Серж.

Все пятеро ворвались в квартиру доктора Мильмана. Доктор оказался в больнице. Ему повезло.

Гаврила и Серж, подхватив под руки сгорбленную старушку, втолкнули ее в ванную. Дверь заколотили.

Старушка, тугая на ухо, так и не поняла, о чем говорили, что выкрикивали незнакомые люди.

Уходя, они свалили в кучу скатерти, простыни, одеяла, подушки и подожгли.

В другом месте приспешники Кукина обстреляли очередь в хлебную лавку. Подпоручик Петриченко стрелял без упора и заранее говорил, куда попадет: в лоб, в глаз, в ухо...

В большом каменном доме пятерку привлекла медная табличка, из которой явствовало, что в квартире живет присяжный поверенный.

Петриченко и Ляхов, связав почтенного господина, уверявшего, что он беспристрастный слуга Фемиды, с любопытством рылись в его бумагах и письмах. Гаврила взломал платяной шкаф и, срывая с плечиков вещи, швырял их на пол. Кукин не удержался от давнего соблазна, совал в карманы серебряные ложки с фамильными вензелями. Синеглазый Серж тискал в кухне прислугу, молодую деревенскую девушку. Испуганная наглой настойчивостью гимназиста, она с криком бросилась на лестницу, выбежала из подъезда.

В квартиру присяжного поверенного ворвался красногвардейский патруль. Первым выстрелил Гаврила. Рука у него дрожала, прицелиться он не успел. Пуля вонзилась в косяк двери, оставив маленькую, как пуговица, дырочку.

Красногвардеец вскинул винтовку, и Гаврила грузно осел на ворох пиджаков и сюртуков, выброшенных из шкафа.

Кукин, услышав крик прислуги, хотел было поспешить на помощь Сержу, но его отвлекла фаянсовая статуэтка белобокой сороки с длинным черным хвостом. Пока он раздумывал, затолкать ли сороку в карман и не отшибут ли ей крыло тяжелые серебряные ложки, в коридоре захлопали выстрелы. Кто валяется и кто оборо-

няется, он понять не успел. В грудь его уперся штык, сильные руки вывернули карманы, грубый и властный голос потребовал:

— Выходи, бандюга, пу!

Его швырнули в сарай со слепым оконцем, с запахом лежалой соломы. Какая участь постигла четверку его приспешников, он не знал. В сарае сидели двое юнкеров, встретивших его недоверчиво и настороженно. Они «щупали» новичка расспросами, и только знакомое имя штабс-капитана Переверзева уверило их, что говорят со своим.

Юнкера ничего утешительного сообщить не могли. Допрашивает армянин, вѣдливый и жестокий. Фамилия — Арутюнянц. Глазницы черные, как смерть. Шлепает — не поморщится.

— Дали нам листок, — сказал один из юнкеров. — Читайте.

Клавдий Иванович прочитал:

#### «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ ВОЕННО- РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

#### Объявляет:

Что будут подавляться самыми беспощадными мерами:

- 1) Продажа водки.
- 2) Погромы.
- 3) Стрельба из домов.
- 4) Черносотенная агитация.

Все нарушители порядка, все появляющиеся в нетрезвом виде, все чинящие насилие и грабежи — враги народа и революции, и с ними будет поступлено со всею строгостью революционного времени...»

Клавдий Иванович безучастно выпустил из рук листок, опустился на трухлявую, истертую солому. Юнкера



негромко переговаривались о том, что надо бежать на Доп, к Каледину. Кукин слушал их, не понимал, к чему эти пустые речи о Доне, если нельзя выбраться из темного сарая с гнилой соломой.

Безразличие, ненадолго овладевшее им, сменил приступ злости. Все тело его налилось той яростной тяжестью, которая требует выхода, взрыва, разрядки. Он не хотел умирать! Он не хотел умирать!

Кукин вскочил с прогретого места, заметался по сараю, щупая доски. Неужели нет доски, приколоченной слабо, небрежно, которую можно отодрать, вырвать, проделать лаз?!

Сарай был бревенчатый, обшитый досками извне. Разобравшись, он ушел в угол, глухой и темный, и начал пальцами выковыривать, выгребать слежавшуюся землю. Стоять на коленях было неудобно, пальцы сбились в кровь, но он с энергией и отчаянием греб и греб.

В дверях кто-то завозился, щелкнул засов, и вошел красногвардеец.

— Эй, кто тут сегодня поступил, давай на допрос!

Весь в земле, тяжело дыша, пошел Кукин к выходу. Красногвардеец, опершись на берданку, привыкая к полумраку, с любопытством всматривался в обитателей сарая. Он не успел вскрикнуть — железные пальцы стиснули горло, грузное тело навалилось как гора. Опрокинутый, он захрипел, задергал ногами, забился на земле.

В приступе остервенения Кукин душил, душил свою жертву, и даже тогда, когда опрокинутый обмяк и притих, он продолжал стискивать горло. Потом он не мог встать. Дрожали ноги. Дрожали руки. Что-то внутри дрожало, готовое оборваться, лопнуть, брызнуть кровью.

Наконец он поднялся, придерживаясь за стену. На щеке его была пена удушенного. В глазах рябило. Он стоял, сгорбясь, веря и не веря в косую полосу света, падавшую в приоткрытую дверь.

Темень была хоть глаз коли. Чернота непастной ночи слилась с чернотой улицы, не обозначенной ни единым огоньком. Однако город не умер, не замер, не спал.

Вот грянули один-два, три выстрела. Испуганно, торопливо они врезались, вломились в ночь и стихли. Где-то патруль, не видя противника, стрелял в божий свет. Мол, не вздумайте супуться: мы не спим, мы наготове.

Далеко-далеко, на башенке, венчавшей семизэтажный угловой дом, суетливо задергался язычок огня. Станковый пулемет бил с короткими паузами, методично, упрямо. Видимо, бил по определенной цели.

Бронетрамвай катил по Москве почти без шума, без огней, ненадолго останавливаясь, давая Павлу Карловичу возможность вслушиваться в непрочную ночную тишину и сделать пометки в тетради.

Идея оборудовать трамвай, защищенный от пуль, осенила Михаила Виноградова перед самым восстанием. Он принес Штерибергу в гостиницу «Дрезден» листок с нехитрыми чертежами и рисунком броневагона, на борту которого написал любимую строчку: «Постою за правду до-последневал!»

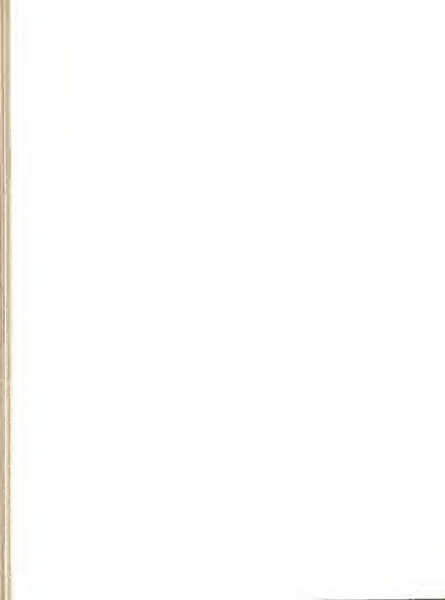
Павел Карлович улыбку пулся, вспомнив слова удалого купца Калашникова, спрятав чертежи в карман со смутной надеждой — авось пригодятся.

Анаков, которому Штериберг показал листок с расчетами Виноградова, заинтересовался:

— Прикинем.

Броневых листов в Замоскворецком трамвайном парке оказалось мало, едва хватило на кабину вагоновожатого. Думали-гадали и заменили броню деревянными рамами, простенки засыпали песком, попробовали: пуля не берет!





По предложению Штернберга внутри установили вращающееся колесо, укрепили на нем пулемет.

Так и родился «бронетрамвай», как его окрестили создатели, не очень смущаясь тем, что роль брони пришлось передоверить пятидесятимиллиметровым доскам.

Вблизи Крымского моста из чердачного слухового окна кто-то подавал световые сигналы. Красный фонарь перво моргал. Моргал то чаще, то реже, то угасал, чтобы спустя минуту снова послать в темноту ночи беспокойные сигналы.

— Ударим? — спросил Апаков.

— Ударьте! — согласился Штернберг.

Было слышно, как, скрипнув, повернулось колесо, и враз вагон наполнился стальной дрожью; гулкое эхо пулеметной очереди пронеслось в воздухе и оборвалось. Слуховое окно на чердаке безнадежно ослепло. Красный зрачок фонаря, очевидно, угас навсегда...

Бронетрамвай снова тронулся, заскользил по рельсам, лишь изредка выдаваемый внезапными вспышками — дуга высекала на стыках никем не запланированный фейерверк. Внутри вагона курильщики, обученные фронтовиками-двинцами, курили «огоньком вовнутрь», спрятав сигарки в рукава. Разговоры вели негромко. Слева от Штернберга почти не смолкал диалог голосов — молодого, спрашивающего, и басовито-приглушенного, отвечающего.

— Ну, прогоним хозяина с завода — это ясно, кто же будет хозяином? — спрашивал молодой голос.

— Сами будем хозяевами, — отвечал второй голос.

— Сами-то сами, — согласился молодой. — Но должен быть главный, к которому со всеми делами, со всеми вопросами... Ленин его назначит?

Возникла пауза.

— У Ленина поважнее дел хватит, — последовал на-

конец ответ.— И вообще никто назначать не будет. Соберутся рабочие и выберут самого толкового.

— Хорошо,— согласился молодой.— Выберут. Допустим, тебя выберут.

— Допустим.

— Ну ладно, представь, что ты — главный, самый главный на заводе. Хозяин.

— Да не будет же хозяев!

— Рабочий хозяин, наш,— поправился молодой.— Не в названии дело. Меня другое интересует. Буду я с тобой на равных или не буду?

— Конкретнее! — потребовал старший.

— Могу конкретнее. Слышал я, у Рябушинского на одну семью чуть не тридцать комнат. Конечно, турнем его из особняка, хватит, особняк рабочим отдадим. Опять же неясно — как делить комнаты? Тебе — одну, мне — одну, или тебе, как главному у нас, две или три дадут? А?

Старший помешкал с ответом. Над этими вопросами он, видимо, не задумывался. Однако нашелся:

— Я уж тебе, дурья голова, втолковывал, что мы сами хозяевами станем. Стало быть, рабочие соберутся, помогут, прикинут и все решат по справедливости. А ты поперек батьки в пекло не лезь. Сперва надо Рябцева решить.

— Решим,— ответил молодой...

На Смоленской площади бронетрамвай остановился. В большом доме со стороны Арбата вызывающе ярко светились огни.

Вражеские наблюдатели огласили площадь резкими, пронзительными свистками. Из подвалов загремели выстрелы, с чердака здания, господствующего над перекрестком, резанул воздух огонь «максима». Ночного покоя, взорванного, разбуженного беспорядочной пальбой, будто и не существовало. Шальные пули зацокали

о броневой колпак, забарабанили по деревянной обшивке трамвая.

Высоко в воздухе повисло что-то горящее. Мрак расступился. Очевидно, в верхних этажах соседнего дома подожгли и сбросили паклю.

— Ударим? — спросил Апаков.

— Не надо, — ответил Штернберг. — Задний ход!

Трамвай медленно покати́л задним ходом, удаляясь из зоны обстрела. Скоро растревоженная Смоленская площадь осталась в стороне. Темные, с редкими огнями, с редкими светлячками раскуренных сигарок в окнах, уплывали улицы.

Ночь властвовала над городом. С Остоженки и Пречистенки доносилась вялая перестрелка.

Линии воюющих сторон обозначились четко и резко. Данные дневной разведки полностью подтвердила ночная рекогносцировка.

— А верно ли, — не унимался молодой голос, — что при нашей власти на всю Москву не останется ни одного буржуя?

— Верно, — подтвердил приглушенный бас.

— Хм, — хмыкнул молодой. — С кем же мы тогда бороться будем?

На Калужской площади, высоко подняв могучие стволы, стояли тяжелые орудия. Возле них топтались артиллеристы, поеживаясь от сырости и холода, прятали озябшие руки в рукава.

Изредка взглядывая в окно, Павел Карлович неизменно испытывал удовлетворение при мысли, что теперь брошенные французские орудия не бутафория, что ими можно не только пугать слабонервных прапорщиков. Правда, пришлось изрядно повозиться. Сначала выяснилось, что наши снаряды к французским орудиям не подходят. Выручил университетский товарищ, инженер, мас-

тер на все руки Евгений Александрович Гоппус, обточивший снаряды. К счастью, смерть, спрятанная в стальную оболочку, вела себя покорно, прежде назначенного часа не взбунтовалась. Вторая навасть — не было прицельных приспособлений, точнее, офицеры попрытали их, упустили, пытались обезвредить орудия. Тут уж на помощь артиллеристам пришел сам Павел Карлович, точно рассчитавший расстояние до целей.

Владимир Файдыш забрался с наводчиком на макушку самого высокого здания, чтобы приметить ориентиры: железную красную крышу штаба МВО, трубы, башенки.

Пришла наконец и батарея тяжелого артдивизиона. Штернберг тормозил Московский ВРК не зря: эту батарею он расположил на Воробьевых горах, откуда вся Москва просматривалась как на ладони. Огневые позиции оборудовали как раз там, где когда-то бродил оп, ожидая Варю, приглашенную на воскресную прогулку.

Стволы направили на засевших в Кремле юнкеров...

Остановка была за малым — за разрешением открыть по врагу артиллерийский огонь. В Московском Военно-революционном комитете опять, как прежде в вопросе о переговорах, мнения разделились.

— Как,— негодовали противники артиллерии,— мы будем расстреливать из пушек Москву, с ее густонаселенными кварталами, с памятниками национальной культуры? Ни в коем случае!

— Нет,— возражали сторонники артиллерии,— мы не будем расстреливать из пушек Москву, мы откроем огонь по главным опорным пунктам белой гвардии. Мы не вправе ждать, пока Рябцев получит подкрепление и задушит революцию. Надо действовать!

Да, контрреволюция перешла к обороне. Кризис с оружием преодолен. Бесчисленными ручейками стекается помощь рабочей Москве. Попытка поддержать Рябцева провалилась: казачий полк, высадившийся в Кашире,



повернул обратно. Но сколько таких полков, посланных белыми генералами, рвутся к Москве? Сколько эшелонов с артиллерией, сколько бронепоездов? Где гарантия, что их так же успешно, как под Каширой, остановят агитаторы, или железнодорожники, или пушки?

А если нет? Если начнется с новою силою страшная сеча?

Вот уж поистине «промедление смерти подобно». Надо немедленно смять, разгромить белое ядро. Не лезть же на стены, изрыгающие пулеметный шквал, с винтовками! Пусть заговорят пушки!

Разрушения? Как бы точно ни били артиллеристы, разрушения неизбежны.

Жертвы? Жертвы тоже неизбежны. Но их будет в сто, в тысячу раз больше, если не разгромить врага сейчас, обрушив на него всю свою силу, все средства подавления. Революция не побеждает уговорами.

На Калужской площади, перед окнами ревкома, неподвижно стояли безмолвные орудия. Артиллеристы по-прежнему поживались от холода. Подходили красногвардейцы, хлопали ладонями по броне, о чем-то спрашивали солдат. Те пожимали плечами.

Павел Карлович обмакнул перо и, обращаясь в Московский ВРК, написал:

«Дальнейшее промедление и малая решительность могут весьма губительно отразиться на успехах революции, поэтому Замоскворецкий Военно-революционный комитет предлагает начать работу шестидюймовых орудий и просит высказать свое мнение Военно-революционный комитет по этому поводу. Предварительно предлагается сдать юнкерам и в случае отказа с их стороны начать свои действия с 10 ч. утра.

*П. Штернберг».*

Короткие осенние дни и длинные осенние ночи слились в нечто огромное и нескончаемое. Город оглох от канонады, улицы стали темными от людских потоков. Заводы Михельсона и «Поставщик», Листа и Бромлея, фабрики Жако, Эйнем, Брокер самоотверженно пополняли отряды красногвардейцев.

Замоскворечье, создавшее собственный арсенал в кинотеатре «Великан», вооружало рабочих. Конечно, одноэтажное здание, названное «Великаном», могло вызвать лишь улыбку. Но, что поделаешь, такова человеческая слабость — прикрывать несостоятельность трескуче-громкою фразой. Впрочем, неказистое строение честно несло службу, дав под своей крышей приют ящикам с винтовками, патронами, гранатами.

Проезжая мимо «Великана», вокруг которого колыхалось море человеческих голов, Павел Карлович подумал, что на ноги поставлены уже не отряды, не полки, поднялся вооруженный народ.

Грузовик, хрипло сигналив, с трудом пробирался через многолюдные улицы. Возле Калужской заставы, выбравшись на простор, шофер облегченно вздохнул. В лицо ударил тугой и хлесткий ветер скорости.

Воробьевы горы озарялись вспышками. Тяжелая батарея вела огонь. Красногвардейцы, приехавшие в грузовике со Штернбергом, рассыпались по ближним склонам.

— Привез вам охрану, — сказал Павел Карлович комиссару. — Батарею без охраны нельзя.

Вместе они поднимались на взгорок. Внизу петляла Москва-река, темная от частых дождей, дальше, за островками дач, простирались пустыри со свалками нечистот и живодерными дворами, а еще дальше подымался гигантский город с устремленными в небо бездымными трубами заводов, маковками церквей, блеклых, не золотящихся

из-за хмурого дня; и совсем будничными казались кварталы то многоэтажных, то приземистых, вросших в землю, домов.

Мощный цейсовский бинокль сокращал расстояния. Опытный глаз безошибочно определил обстановку.

Наступающие подковой огибали центр. Судя по вспышкам, наши орудия били от Большого театра, от церкви Никиты Мученика, с Берсеневской и Софийской набережных.

Столбы огня и дыма вставали, очевидно, над «Метрополем».

Штернберг повернулся чуть влево, отыскал каланчу над Кудринской, хотел отыскать зоосад, но видимость была плохая, да и вряд ли зоосад, тем более дом напротив, можно было разглядеть даже в мощный цейсовский бинокль. Как там Иришка? В случае обстрела, догадается ли Аппа Ивановна увести ее в боковую, толстостенную комнату, обращенную окнами не на улицу, а во двор?

В октябрьские дни, когда Партийный центр переехал в Коммерческий институт, в Замоскворечье, Павел Карлович на ходу повидал Варю. Они перекинулись двумя-тремя словами. Он узнал, что Варя на несколько минут заезжала домой. Иришка болела. Простуженная, в сильном жару, она безучастно лежала в постели. Анна Ивановна врачевала ее горчичниками.

«Должно помочь», — сказал он, но Варя прочла в его глазах ту скрытую тревогу, которую посторонние обычно не замечали. Она догадалась, в каком направлении работает его мысль. Как раз тогда обсуждалась необходимость активизировать бои. Не растеряется ли Аппа Ивановна? Ведь с больной Иришкой в сырой подвал не пойдешь... И посоветоваться, как обычно, не с кем, все надо решать одной...

Заметив, что Штернберг смотрит совсем не в ту сторо-

ну, где развернулось главное сражение, комиссар батареи насторожился:

— Что-нибудь увидели? Передвижение белых?

— Нет,— ответил Павел Карлович.— Немного отвлекся.

К ближайшему оружию поднесли лоток со снарядами. Вслед за оглушающим грохотом послышалось шипение рассекаемого воздуха. Минуту-другую спустя в цитадели Кремля, над Николаевским дворцом, взметнулось, набухая и разрастаясь, бурое облако.

— В точку,— похвалил комиссар.

Тем временем красногвардейцы окопались на склонах. Убедившись, что батарея защищена от всяких неожиданностей, и представив общую картину боя, Штернберг помахал шоферу: заводи!

Грузовик, громыхая и дребезжа, помчался знакомой дорогой в Замоскворечье.

Остоженку трясло от пулеметных очередей. Юнкера перерыли окопами подступы к штабу МВО, вгрызлись в землю, укрылись за штабелями дров, за железными койками, сцепленными колючей проволокой.

Еще вчера они подымались в контратаки, однако отброшенные, оставив трупы за проволокой, присмирели, залегли.

Красногвардейцы — дом за домом, метр за метром — надвигались на штаб. Снаряды шестидюймовых орудий с треском лопались во дворе, вырывая комья земли, кромая деревья. Один снаряд угодил в дровяной завал, хаотически вздыбил, разбросал бревна.

Юнкера обреченно отстреливались.

— Под пули не лезть,— приказал Штернберг.— Штаб на последнем издыхании. Артиллеристам снарядов не жалеть.

— Понятно,— сказал Арутюнянц.

Они стояли у окна, прикрытого мешками с песком. Верхняя часть его оставалась незащищенной, и противоположную стену методично клевали пули. Штукатурка осыпалась, наполняя комнату сухой пылью и трухой.

Внизу, у самого дома, темнел полузасыпанный окоп. Валялись покореженные винтовки, юнкерская фуражка, котелки.

Когда Павлу Карловичу доложили, как брал этот окоп Добрынин, он только головой качнул: ну и ну! Добрынин запросил с фабрики Цинделя тюки с хлопком. За каждым тюком укрылся красногвардеец. Передвигая тюки, непробиваемые пулями, бойцы приблизились к позиции юнкеров и забросали ее гранатами...

И Зачатьевским монастырем овладел он дерзко и лихо. Пока юнкера на колокольне меняли пулеметную ленту, Добрынин проскочил «мертвую» зону... И вот у этого проклятого дома 15/17 вырвался вперед, первым...

— Что-нибудь у него осталось? — спросил Штернберг Арутюнянца.

— Вот, — протянул Арутюнянец.

Это был изрядно измятый план Замоскворечья. На сгибах он истерся до дыр. На полях — карандашные зарисовки: колокольня, башенка на крыше, нагромождения баррикады, девичья головка, а рядом — санитарная сумка.

«Любил рисовать, — вспомнил Штернберг. — Даже жеваться не успел. Сколько ему было? Двадцать два, двадцать три? А штаб МВО обложил, как берлогу медведя. Теперь им не уйти...»

Сутки назад Штернберг допрашивал пленного, посланного на разведку штабом. Плечистый, грузный мужчина с маленькими, плутоватыми глазками был задержан красногвардейцами. Подозрение вызвало его чрезмерное любопытство: уж очень настырно он выспрашивал, кто командует на Остоженке.

— А тебе зачем? — спросили у любопытствующего.

— Служу я в Ушаковском переулке, вот и хочу знать, кто тут у нас главный.

— Чего с ним лясы точить, ведите в штаб,— приказал старший красногвардейского патруля.— Там разберутся.

Мужчину опознали местные жители: он, действительно, служил дворником в Первом Ушаковском переулке, входил в домовый комитет «по борьбе с красной заразой». Дворника препроводили на допрос к Штернбергу.

Выяснилось, что генерал, возглавивший оборону штаба МВО, пребывает в полной уверенности, что кто-то из его бывших коллег — генералов или полковников — изменил присяге, изменил Временному правительству и теперь искусно ведет против него наступление. Вояке и в голову не могло прийти, что теснит его и сжимает в кольцо окружения рабочий с Телефонного завода, и дня не служивший в регулярной армии. Вот и послал генерал дворника выяснить, кто именно командует на Остоженке, посулив за сведения красненькую.

«Расскажу Добрынипу,— подумал тогда Павел Карлович.— Пусть порадуетя и посмеется».

Ответный огонь юнкеров заметно ослабел. Они, конечно, поняли: ловушка захлопнулась.

— Под пули не лезть,— вторично приказал Павел Карлович, зная горячий нрав Арутюнянца, сменившего на Остоженке Добрынина.— Без надобности не рисковать!

Они спустились по черному ходу во двор, через лаз в заборе пырнули в переулок и направились к тайной Бахтина.

— Навестим рапеных,— предложил Штернберг. Как бы ни был он занят, всегда выкрапвал несколько минут, чтобы побывать в лазарете.

В нос ударили больничные запахи. Тяжелые раненые лежали на кроватях, остальные — на нарах, сколоченных наспех, со следами зарубок острого топора.

— Как с медикаментами? — спросил Штернберг Софью Войкову.

— Спасибо, привезли, — кивнула она.

— Для первой надобности все есть?

— Хлороформа в обрез.

Павел Карлович обвел взглядом комнату. Раненые обернулись к нему, ждали: что скажет?

— Сегодня идем на Кремль, — сообщил он. — Белая гвардия на последнем издыхании.

— А мы в постелях нежимся, — вздохнул красногвардеец, тряхнув нерасчесанной головой. Он приподнялся на локотках, побарабанил пальцами по фанерному щитку, прибитому к стене. — Не ходок я! Хотел в честь победы в «Метрополе» отобедать!

— Еще отобедаешь! — вставил сосед. — Аппетит у тебя хороший!

— К погтю их, беяков, надо, как вшей ползучих! — сказал солдат-двинец, размышляя о чем-то своем. Поверх фланелевого одеяла лежала у него шинель, истертая и полинялая, как у всех побывавших на фронте. — А мы, пожалуй, отвоевались.

Штернберг вполголоса спросил Софью:

— Очень тяжелые есть?

Она спрятала под косынку льняную пряжу и глазами показала на койку, стоявшую в полутемном углу комнаты:

— Боюсь, не вытянет. Разрывной пулей его, в живот. Всю ночь бредил, выкрикивал: «Меркурий, Меркурий».

Павел Карлович сел на табурет возле раненого. Лицо его, совсем молодое, заливал неестественный румянец. «Жар!»

И в глазах раненого был нездоровый, стеклянный блеск. В раненом Павел Карлович узнал одного из студентов, которые двадцать шестого октября приходили к нему в Моссовет, на Скобелевскую.

«Меркурий, Меркурий,— мысленно повторил Штернберг.— Что ж, выздоравливай, доберемся и до Меркурия, вот только бы на земле уладить».

Он ободряюще коснулся руки студента:

— Держитесь!

Тот даже шепотом не смог ответить, слабо шевельнул головой...

Штернберга угнетали потери: вчера скосило Добрынина, сегодня убита Лисинова. И как она оказалась в окопе, когда он велел ей после задания отдыхать?..

Арутюнянц ждал Штернберга во дворе, курил, прислушиваясь к стрельбе. Со стороны штаба доносились хлопки винтовочных выстрелов, редкая дробь пулемета. Они пересекли мостовую и поднялись по ступенькам серого, в дождевых потеках, дома. В просторной голой комнате вдоль стен лежали убитые. Тела были накрыты куртками и шинелями. Непривычно торчали башмаки со стоптанными подметками. Из-под серой шинели, прорванной в нескольких местах, выглядывал один сапог с рыжим пятном на голенище.

— Где Люся? — спросил Штернберг.

Они прошли до окна, Арутюнянц склонился и откинул пальто. Люсик Лисинова лежала у самой стены. Кто-то положил ей под голову маленькую подушечку. На гладком, молодом лице не было ни единой складки, ни единого пятнышка. Прорбор, как белая тропинка, разделял ее густые черные волосы.

Павел Карлович вспомнил, как день назад Люсик последний раз шла сквозь патрули юнкеров на Скобелевскую площадь с его донесением. Ходила она почти всегда с Алексеем Столяровым — однокурсником по институту.

«Пойдем, джан?» — спросил Алексей.

«Наверное, влюблены друг в друга,— подумал тогда Штернберг.— А что означает «джан»?»

Он забыл их спросить об этом и теперь, конечно, уже



не спросит. Эту подушечку, пожалуй, положил Столяров... Павел Карлович бережно накрыл Люсино лицо.

Они молча опять прошли мимо тел с торчащими башмаками, вышли в переулок к машине.

— Москворецкий мост, — сказал Павел Карлович пришедшему шоферу. Возле моста он рассчитывал догнать головную колонну, которую Файдыш вел к Кремлю.

Они отъехали не очень далеко. С Остоженки стрельба не доносилась — ни пулеметная, ни ружейная.

«Юнкера сдались», — догадался Штернберг.

По дорогам к Москворецкому и Каменному мостам двигались отряды красногвардейцев. Из домов высыпали жители. И хотя где-то еще шел бой и бухали пушки, люди, очевидно, чувствовали близость победы.

На перекрестке, окруженный зеваками, стоял бронетрамвай.

Один из рабочих укреплял над дверцей красное знамя. Петр Апаков, перетянутый ремнями и патронными лентами, с гранатами на поясе, сурово смотрел куда-то в сторону. На щеках бугрились крутые желваки.

«Он всегда мрачен. Неужели это с тех пор, когда Праксovia, избитая исправником, родила мертвого ребенка?»

Грузовик прогромыхал мимо бронетрамвая, мимо двух или трех отрядов, вооруженных берданками, и за мостом догнал головную колонну.

В Кремль входили через Спасские ворота. Башня была изрядно побита снарядами; часы, игравшие «Коль славен», молчали. Время, отпущенное былым хозяевам Кремля, истекло.

Навстречу Замоскворецкой колонне высыпали откуда-то монахи. Все в черном, как вороны, с дергающимися на груди крестами, они признали в Штернберге старшего и, упав на колени, просили пощадить побежденных.

Широко ступая, он прошел мимо них, чувствуя, как жжет его изнутри сухой огонь, как горчит во рту, словно он наглотался едкого дыма.

То тут, то там попадались убитые. Камни сплошь были в выбоинах, валялись гильзы. Жидкими группками уходили юнкера, обезоруженные и отпущенные «под честное слово». С них брали обещание не поднимать оружие на Советы. Он подумал: оправданно ли это чрезмерное милосердие? Борьба не закончена.

Из казарм, томившиеся под стражей, щурясь на свет, выходили солдаты 56-го полка и арсенальцы — исхудалые, с ввалившимися глазами, с грубыми повязками на ранах. Они бросались в объятия к красногвардейцам, что-то говорили, плакали. Один из них, ширококостный, с квадратными плечами, сгорбясь, держался за бок и, улыбаясь во все лицо, смотрел на Штернберга.

«Да это ж Ангел!» — узнал Павел Карлович.

Стоя на броневике, проехал Ведерников. Из рта у него торчала погасшая трубка. Отряды с красными знаменами с разных сторон вступали в Кремль. В общей массе выделялись черные бушлаты балтийских матросов. От легкой и быстрой поступи балтийцев металась лента их бескозырок.

«Успели!» — подумал Штернберг о матросах. Он знал, что Владимир Ильич Ленин торопил петроградцев с помощью москвичам. Балтийцев, отправлявшихся в Москву, Ильич напутствовал словами:

— Не забывайте, товарищи, Москва — сердце России, и это сердце должно быть советским...

Въехала машина, по бортам — красная материя, в центре — фанерный щит, слова на щите крупные, различные отовсюду:

«ТОВАРИЩИ

РАБОЧИЕ И СОЛДАТЫ!»

Юнкера и белогвардейцы сдались. После кровавой схватки, благодаря героическим усилиям кровью спящих солдат и рабочих, враги народа разбиты. Много

жертв отняла борьба. Много драгоценной пародной крови пролито за дело мира и свободы. Никогда не забудет революционный народ эти жертвы и эту кровь. Честь и слава павшим борцам. Продолжать дело их жизни — завет живущим!

Да здравствует победа! Да здравствует Советская власть!»

Вдоль бортов украшенной машины теснились люди.

Первым Штернберг узнал Михаила Федоровича Владимировского. Он тряс своей короткой бородкой, горячо говорил, наклоняясь к Пятницкому. Пятницкий вдохновенно кивал. А вот и Варя, она оперлась рукою на крышу кабины грузовика.

«Партийный центр весь здесь!» — догадался Павел Карлович.

Варя вглядывалась в колышущиеся толпы людей, разыскивала, очевидно, его. А он был так приметен: на голову возвышался над окружающими, кожанка, обрызганная дождем, блестела, большое лицо, озаренное тем особым светом, что излучается изнутри, казалось помолодевшим. И чтоб Варя скорее его увидела, он высоко поднял руку и помахал ей.

А рабочие и солдатские колонны все прибывали и прибывали. Вспыхнули песни, что-то кричал ему Файдыш, светилась от счастья Зинаида Легенькая, прикалывая к его кожанке красный бант.

— Нашей победе — ура!

Зычный голос раздался из самой гущи толпы, вверх полетели папахи, шанки, кто-то выхватил из кобуры маузер и уноенно салютовал. Люди, вздрогнув от неожиданности, вспомнили про свое оружие, и тысячи трехлинейек, берданок, винчестеров, револьверов поднялись над головами и расстреляли хмурое осеннее небо.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Между Вяткой и Камой

О мать революция! Не легка  
Трехгранная откровенность штыка...

*Эдуард Багрицкий*

## I

«Арзамас. Главкому тов. Вацетису. Доношу, что, прибыв 13 сентября в район 2-й армии, я застал армию в полном развале. Штаб находился в состоянии тяжелой дезорганизации, от армии оставались несколько партизанских отрядов, оторванных от штаба, окруженных неприятелем, плохо снабженных и морально разложившихся. Усилиями Реввоенсовета-2 удалось в короткое время сплотить эти отряды вместе с прибывшими свежими полками и отрядом Азина и сформировать две дивизии, о результате действий которых вам своевременно доносилось.

Дальнейшее продвижение вперед в пределах указанной вами задачи задерживается вследствие малочисленности сил, еле достаточных для того, чтобы удерживать завоеванные позиции против многочисленного неприятеля.

Армия ослаблена также вследствие крайней нужды во всех видах снабжения, особенно артиллерией.

Для дальнейшего развития достигнутых успехов и выполнения задачи, а также для быстрой ликвидации Ижевского восстания нахожу необходимым усиление армии тремя правильно организованными полками и всеми видами снабжения. Артиллерию необходимо довести до штатов двух дивизий.

О последующем вашем распоряжении прошу не отказывать в срочном уведомлении.

Командарм-2 *Шорин.*

Члены Реввоенсовета *Штернберг, Гусев.*

Павел Карлович проследил, как расписался командарм. Перо в его руке ходило быстро, резко, буквы были угловатые, колючие. После фамилии Шорин поставил жирную точку, ударив пером, как клювом, по листу.

Эта точка как бы выражала энергию и решительность командарма: точка — значит все, подписано — будет сделано, а колючие буквы передавали особенности его характера — тоже колючего, неуступчивого, твердого.

Шорин прошелся по каюте, закурил. Вся его фигура — ладная, коренастая, словно скроенная из единого куска — свидетельствовала о прочности и силе этого человека. Он немного подымял, сел за стол и уткнулся в карту Ижевско-Воткинского района.

Сергей Иванович Гусев расписался легко, привычно, подошел к иллюминатору, из которого открывался вид на берег Вятки, на белую церковь, на пароходы, толпившиеся у причалов. Гусев стоял боком, в своем темном френче с большими накладными карманами, руки закинул за спину: погрузился в раздумье.

Оснований для раздумий было более чем достаточно: 2-й армии предстояло брать Ижевск и Воткинск. Белая группировка в два с половиной раза превосходила по численности. Разведка доносила, что оборона глубоко эшелонирована, окопы опоясаны проволокой, защищены минными полями, подходы пристреляны. Да и город — не вольный простор, каждый дом — крепость.

Кто-кто, а Павел Карлович, один из руководителей октябрьских боев в Москве, хорошо знал, чем чреват штурм города. По его заданию разведчики добыли путеводители по Ижевску, архивные отчеты о состоянии до-

мов, дорог и средств связи. Начальник штаба поначалу удивился, зачем все это, а потом обрадовался: разведчики нанесли на план города каменные здания, стратегически важные перекрестки, удобные и неудобные подступы к оружейному заводу, к плотине, к электростанции, к тюрьмам. Все это положили на стол Шорипу.

Сейчас он то замирал над картой, то водил карандашом по плану Ижевска. Папираса, положенная на краешек чернильницы, забыто струила дымок. Шорин время от времени вздергивал кверху усы, тер кулаком подбородок, наконец поднялся из-за стола и сказал:

— Придется собираться в Москву, Сергей Иванович. Надо.

Голос Шорина не знал вопросительных интонаций. Его «надо» было сгустком раздумий, анализа, военного опыта, неумемного желания победить. Видимо, он пришел к выводу, что без помощи из Москвы «ижевский орешек», начиненный двадцатью пятью тысячами белых офицеров и солдат, не разгрызть.

Гусев обернулся на голос командарма, но ничего не ответил. Пенсне Сергея Ивановича отражало блики, падавшие из иллюминатора, и прочесть что-либо в глазах его было невозможно.

Шорин взглянул на Штернберга. Тот ответил ему взглядом, означавшим: давайте бросим на весы все «за» и «против», а потом уж решим.

Командарм сел, тяжело упер локти о стол, нахмурился, выжидательно посматривая то на Штернберга, то на Гусева. Он не проронил ни слова, лишь в глазах затаился упрек: мол, почему молчите, товарищи комиссары? Разве вам обстановка неясна?

— У белых значительный перевес, — сказал Павел Карлович. — На какие скрытые резервы мы можем рассчитывать?

Вопрос, заданный Штернбергом, не предполагал от-

вета. Скорее это была форма разговора, помогавшая заострить внимание на главном.

— Может быть, в Ижевске вспыхнет восстание против белых? — продолжал Штернберг. — Такой поворот, пожалуй, исключается. Рабочие города — лучшая их часть — давно ушли в Красную Армию. Те, кто остался, расстреляны или брошены в тюрьмы. Крестьяне окрестных сел?

Павел Карлович наблюдал, как простое, грубоватое и насупленное лицо командарма размягчилось. Он слушал внимательно, сосредоточенно, с готовностью понять и принять сказанное.

Еще недавно Шорин, бывший полковник царской армии, участник двух войн, храбрый командир и кадровый служака, к высказываниям политических комиссаров относился настороженно. Вслух он не говорил об этом, но поза, взгляд, нетерпеливое, раздраженное подергивание усов выдавали его с головой, недвусмысленно расшифровывались: что, мол, вы можете посоветовать мне, боевому офицеру, вы, не служившие в армии? Одно, мол, дело писать прокламации и выступать на митингах, читать в университете лекции и смотреть на звезды, другое дело — воевать.

Постепенно это кастовое пренебрежение к невоенным, пусть даже не пренебрежение, а сомнение в их возможностях у командарма улетучилось. Он убедился, что комиссары обладают магической властью над людьми, нередко мыслят недоступными ему категориями, да и военное дело изучали всерьез.

Однажды Гусев и Штернберг пустились в рассуждения о Клаузевице, о котором Шорин, конечно, слышал в училище, даже листал его «Учение о войне», но теперь смутно помнил его теории и не смог бы достойно дискутировать со своими комиссарами.

Штернберг напомнил слова Клаузевица о людях в

революционной войне, которые, не имея военного образования, оказываются отличными предводителями войск, а Гусев чуть ли не дословно цитировал его высказывания о том, что великими становились только полководцы, умевшие дерзать.

Разумеется, Шорин не знал, что Гусев, будучи в десятые годы корректором «Военной энциклопедии», основательно штудировал военных теоретиков, понимая, что большевикам без сражений не обойтись, а Штернберг, готовясь к боям в Москве, с доскональностью ученого изучил военные работы Энгельса, добрался и до Карла Клаузевица, прусского офицера, одного из творцов стратегии как науки.

Познания политкомиссаров в военной науке для Шорина оказались неожиданными. Однако еще большее впечатление на командарма произвело их умение анализировать обстановку, подымать те пласты, до которых он никогда не докапывался.

Шорин умел трезвый расчет сочетать с дерзким маневром, упорство в обороне — с ошеломляющей храбростью в наступлении. Однако, готовясь к битве, подсчитывая количество штыков и стволов, он никогда не задумывался, сколько в городе рабочих и кому сочувствуют окрестные крестьяне. Он полагал: воюют только армии. По Штернбергу, получалось иначе: воюет народ. Павел Карлович подчеркивал классовый характер армии и той среды, которая ее питает. Он очень убедительно рассуждал о поведении крестьянина-середняка. И верно: еще недавно здешний крестьянин уклонялся от борьбы, помогая то красным, то белым, стараясь не отрываться от своего клочка земли, от своей избы. В случае нажима подавался в «зеленые» банды дезертиров, прятался в лесах. Но вот закрепились белые, землю отдали помещику, а крестьянина погнали умирать за этого самого помещика. Тут-то середняк понял, с кем ему по пути. И потяпулись



крестьяне из-под Сарапула, из-под Арска и Малмыжа во 2-ю армию...

— Да,— продолжал Штериберг,— крестьяне окрестных сел пополняют и будут пополнять наши ряды. Но без усиления артиллерии, без — пусть еще нескольких — крепко сколоченных полков Ижевск не взять.

Штериберг поднялся со стула и грузно прошелся по каюте. Он сознавал, как нелегко сейчас не только командованию Восточного фронта, но и Москве выкроить подкрепление для 2-й армии.

Командарм задержал взгляд на Павле Карловиче: за последние полторы-две недели он заметно исхудал, за стеной каюты по ночам раздавались взрывы кашля, в густой бороде и гриве волос, окаймляющей голову, все щедрее серебрилась паутина седины. Деревянная кобура маузера оттягивала ремень, перехвативший изрядно потертую кожаную куртку. Эта куртка, и высокие сапоги, и маузер плохо сочетались в сознании Шорина с тонким пенсне на переносице, с длинными, изящными пальцами Павла Карловича. Особенно шокировало командарма, когда член Реввоенсовета совсем по-интеллигентски просил дежурного адъютанта:

— Будьте любезны, принесите сегодняшнюю сводку...

Гусев по-прежнему стоял возле иллюминатора, закинув руки за спину. Он так и не ответил командарму на предложение поехать в Москву. Его губы, чуть припухшие, обычно добродушно-полные, смягчавшие выражение сурового лица, сегодня были сомкнуты, взгляд сосредоточен.

Непросто было решиться на поездку в Москву, к Ленину, за помощью, зная общее положение. Украина и Белоруссия — под пемцем. В Мурманске и Архангельске — англичане и американцы. Во Владивостоке — японцы. Белочехи захватили Сибирь. На Дону и Кубани распоясались казачьи атаманы. Черноморский флот потоплен.

На Белой и Вятке, на Волге и Каме бесчинствуют белогвардейцы. По почным дорогам, по лесам и оврагам рыщут банды, чиня грабежи и кровавые расправы...

По реке прошел катер, накатилась волна, качнула штабной пароход. Шорин снова уткнулся в карту, расставив игольчатые ножки циркуля. Гусев подошел к нему вплотную и тоже склонился над картой. Вся она нестрела пометками: большие и малые стрелы — одни, причудливо изгибаясь, другие с неумолимой прямоотой — были нацелены на Ижевск. Петляла речка Иж, синело пятно пруда, на берегу которого стоял оружейный завод.

Наверное, все трое в эти минуты думали о заводе, способном ежедневно выпускать до тысячи винтовок. Тысяча винтовок при нынешнем оружейном голоде!

— Сделаем все возможное на месте, — сказал наконец Гусев. — А не сможем, — он развел руками, — придется ехать.

## II

Если сравнить его жизнь с рекой, то река эта была бурной, порожистой, с подводными скалами, с обманчивой тишиной глубоких омутов, с внезапными изгибами и гибельными крутоворотами. Но в сентябре восемнадцатого года течение его жизни изменилось так стремительно и резко, как никогда прежде, кажется, не менялось.

Штернберг, назначенный членом коллегии Народного комиссариата просвещения и заведующим отделом высших учебных заведений, готовил «революцию в вузах». Прежде всего, предстояло разработать такую реформу, которая распахнула бы двери университетов перед теми, кто раньше доступа туда не имел; предстояло открыть дорогу молодому, свежему, талантливому, одолев касту

учебных чиновников, насаждавших косность; наконец, предстояло повернуть университеты лицом к новой жизни.

Павел Карлович побывал у Тимирязева. Климент Аркадьевич болел. Был он бледен, щеки ввалились, по волнистые волосы, как обычно, разрезал пробор, глаза смотрели возбужденно. Он не изменил своей привычке — гостя усадил в мягкое кресло недалеко от «дарвинской» этажерки, сам сел в жесткое, с деревянной полукруглой спинкой и слушал Штернберга с юношеским пылом, иногда вставляя реплики и поглаживая длинную белую бородку.

Да, Климент Аркадьевич вызвался горячо поддерживать реформу в высшей школе, он всю жизнь боролся против рутины в российских университетах.

— Н-но н-нас м-мало,— сказал Тимирязев. Он всегда, волнуясь, заикался.— П-полияльные чиновники от науки д-дадут бой...

Тимирязев вдруг уверенно, легко, словно никогда и не заикался, прочитал стихи:

Бесконечны, безобразны,  
В мутной месяца игре  
Закружились бесы разны,  
Будто листья в ноябре...

Штернбергу понравилось выражение Тимирязева «полияльные чиновники», понравилось, что настроение у него наступательное, даже стихи «про бесов» вспомнил. А что касается боя...

Климент Аркадьевич не ошибся. Активных союзников у Штернберга оказалось не так уж много. Первым, конечно, был Луначарский, из профессоров — Покровский, Рейснер.

На предварительном заседании по реформе высшей школы Павел Карлович ощутил молчаливую враждебность старой профессуры.

Нашлись и откровенно воинствующие, дерзнувшие поугатать: не слишком ли спешите, не началось бы опять. Эти, не пожелавшие прикрыться маской лояльности, намекали на недавний левозсеровский мятеж.

— Ну что же,— ответил Павел Карлович.— Если и сегодня начнется стрельба, мы возьмем винтовки и пойдем на улицу, а если это не понадобится, то почему нам не заняться делами высшей школы?..

4 сентября 1918 года открылось совещание по реформе в вузах. Штернберг подготовил доклад. Но доклад не состоялся — докладчика вызвали в Совнарком. Проблемы высшей школы пришлось отодвинуть до более спокойных времен. Штернбергу поручалось срочно выехать на Восточный фронт. Его назначили членом Реввоенсовета.

Крутой поворот не требовал от Павла Карловича внутренней перестройки. С юношеских лет он усвоил истину: свои убеждения надо защищать. Оружием, ценой любых испытаний, ценою жизни. Шагнул же в костер инквизиции Джордано Бруно, но от идей своих не отступился!

Жизнь великих астрономов питала гордость Штернберга — тайную, нераскрытую, невысказанную. Ну, казалось бы, есть ли на свете призвание более отрешенное от земных тревожений, чем призвание астронома, год за годом наблюдающего жизнь небесных тел? А ведь не кто-нибудь, а Николай Коперник, десятилетия живший в высокой башне крепостной стены, окружавшей собор в Фромборке и оборудовавший там обсерваторию, едва псы-рыцари подступили к родному городу, стал душой его обороны!..

Получив мандат члена Реввоенсовета, Штернберг уехал домой и тут же принялся укладываться в дорогу.

Снял со стены легкую алюминиевую зрительную трубу, предназначенную для земных наблюдений. Кожаную тужурку, в которой ездил со студентами на практику в

Крылатское и которую не снимал в дни октябрьского восстания, то ли Варя, то ли Анна Ивановна спрятала вместе с зимними вещами в сундук. Тужурка пахла нафталином. Варя — ее Луначарский отпустил с вечернего заседания коллеги Наркомпроса — подергала пуговицы. Две из них угрожающе болтались. Она взялась пришивать их.

Потом она заглянула в карманы, вынула клочок бумаги с какими-то записями о калибре снарядов, о запасах пороха. Записка, видно, лежала с октября семнадцатого.

Протянула ее Павлу Карловичу. Он прочитал. Глаза их встретились. Не говоря ни слова, оба подумали об одном и том же: опять снаряды, опять порох.

Анна Ивановна разожгла самовар. Обычно из-за хронической нехватки топлива разогревали его клочками ненужных бумаг. Сегодня пустили в дело несколько щепок от старой, развалившейся табуретки. Они весело запылали.

В самоваре научились варить и картошку. По две на ужин, да еще запас на дорогу.

Трехлетняя Иришка заснула на диване. Еще вчера она сидела у него на колене — грустная, притихшая, будто предчувствовала разлуку. Разбудить? Решили не будить. Павел Карлович склонился над ней и поцеловал прядь волос, раскинутых на подушке.

— Не попрощались, — значит, скоро свидитесь, — ободряюще пообещала Анна Ивановна, а сама всхлипнула и отвернулась, утирая фартуком глаза.

На вокзале была толчея, посадка бурная и суматошная. Солдаты ломились в вагон с оружием, бывшие офицеры были во френчах со срезанными погонами, рьяно толкались мешочники. Кто-то втиснулся с чайником — брал на станции кипяток. Кипяток пролился, ошпаренные матерились и чертыхались, а виновник оправдывался:

— Не нарочно, господа хорошие, не нарочно!  
Поезд тронулся. Павел Карлович с трудом пробился к окну. Варя шла за вагоном невеселая, тревожная.

Паровоз визгливо крикнул, низкий дым длинным хвостом разметался по перрону.

Поезд шел к фронту. Впрочем, тыла в восемнадцатом году, кажется, не было.

Соня и пыхтя, слабосильный паровоз устало дотащился до Вятки. Высадка, как и посадка, была бурпой: мешочки, запрудив вагонный коридор корзинами, рундуками и торбами, бранились, толкались, спешили, будто куда-то опаздывали. Кто-то крикнул:

— Чего лютуете как на пожаре?! Все же доехали!..

Штернберг про себя отметил это «все же». Дорога по тем временам прошла благополучно. Правда, поезд делал от силы десять — двенадцать километров в час. У каждого леска паровоз останавливался и пронзительным гудком скликал пассажиров заготавливать дрова. Свежий, с корня лес сваливали в тендере. Сырые поленья вяло тлели. Как говорят, ни пару ни жару.

На одной из таких стоянок налетела банда то ли белых, то ли зеленых, однако машинист дал полный ход. Штернберг ухватился за поручни и вскочил на подножку. Кое-кто сесть не успел, но поезд ушел. Бандиты обстреляли хвостовой вагон. Ранили одну женщину.

«Все же доехали!..»

На улицах, пока Павел Карлович добирался до губисполкома, от его внимания не ускользнули приметы прифронтового города. Дважды встретились вооруженные отряды. Проехал грузовик с рабочими, в руках — винтовки с примкнутыми штыками. Грузовик фыркал и чихал вонючим бензином, двигался небыстро, видимо патрулируя улицы.

Иван Васильевич Попов — председатель Вятского чрезвычайного губернского штаба — встретил Штернберга радостно.

— А мы вас ждем, вчера еще ждали! — воскликнул он, крепко пожимая руку. — Сергей Иванович уже здесь.

Сергей Иванович Гусев, назначенный одновременно со Штернбергом членом Реввоенсовета 2-й армии, прибыл в Вятку на сутки раньше. Попов протянул Павлу Карловичу большую кружку кипятку, поставил миску с клюквой и тут же послал посыльного за Гусевым.

Под перочинным ножом аппетитно захрустела румяная корочка белого каравай.

— Хорошо живете, — сказал Штернберг.

— Живем, — ответил Попов, опустив «хорошо».

Павел Карлович старался есть медленно, не показывая, как он голоден. А голод был острый, сосущий, потому что поезд безбожно опоздал. Картофелины с квадратиком пайкового хлеба были съедены еще вчера днем, да и погрузка дров немилосердно разожгла аппетит.

Оглядевшись, он понял, точнее, догадался, почему хозяин кабинета опустил слово «хорошо». Открытое, юношески чистое лицо Попова, его доверчиво-ясные глаза как бы говорили: весь я тут перед вами, ничего не прячу, не таю. Они, эти глаза, после первой вспышки радости показались Штернбергу безмерно усталыми.

«Замотан, — подумал Павел Карлович и, увидев на диване свернутое серое одеяло, еще больше уверился в своей мысли. — Здесь и дышет и ночует».

На стене, у которой стоял письменный стол Попова, висел чей-то портрет. Портрет был невелик, чуть больше обычной фотографической карточки, однако на голой стене выделялся.

«Ленин», — не сразу узнал Штернберг, близоруко щурясь. Портрет, вырезанный из газеты, был не очень четким.

Перехватив взгляд гостя, Попов спросил:

— Свежую газету не захватили?

Павел Карлович порылся в саквояже и протянул «Правду»:

— Уезжал в спешке, боюсь — не последняя.

Попов быстро отыскал место, где печатались бюллетени о состоянии Владимира Ильича, и, бормоча вполголоса, прочитал:

— «...9 часов утра. Температура — 36,3°; дыхание — 26, пульс — 110—120. Ночь спал с перерывами. Самочувствие лучше. Кровоизлияние в плевру не нарастает. Общее положение серьезное».

— А теперь? — Попов ждал ответа.

— Кажется, опасность миновала, — не сразу сказал Штерпберг.

Он вспомнил все, что рассказывала Варя, а Варя беседовала с Вейсбродом и Семашко, почти не отходившими от Ильича. И еще он вспомнил рассказы тех, кто стоял рядом с Лениным, когда раздались выстрелы эсерки Каплан, когда Ленин, уже раненный, воскликнул: «Товарищи, спокойствие!.. Держитесь организованно...»

Наверное, следовало обо всем этом поведать Попову, но в дверях показался Гусев. Они обнялись.

— Вот и приехали! — голос у Сергея Ивановича был звонкий и возбужденный. — Теперь нас двое. Есть хоть кому поплакаться. Слушайте!

Картина, нарисованная Гусевым, повергала в уныние. Штаба армии, можно сказать, не существовало. Зачатки или, как он выразился, «зародыш» штаба состоял из нескольких командиров, оторванных от войск. На вопрос о месте пребывания полевого штаба они ответили:

— Где-то на пароходе, кочует по Вятке.

С разрозненными отрядами, составляющими армию, связи не было. Штабники раздобыли карты, несколько биноклей, старенький «Ундервуд» со стертой буквой «П»,



так что слово «приказ» — наиболее часто употребляемое слово — читалось «риказ». Достали для штаба десятка два дыроколов, не было, правда, донесений, которые предстояло прокалывать и подшивать.

Лишь две фамилии назвали штабники — Азина, участвовавшего в боях за Казань, и Чеверева, отбивавшегося от противника юго-западнее Ижевска.

— Полный развал, — заключил Сергей Иванович. — Положение хуже губернаторского.

— Надо начинать с головы, — убежденно сказал Штернберг. — Без хозяина дом — сирота. Нужен командарм.

— Нужен, — вздохнул Сергей Иванович. — Но Москва не выделила — некого. И комфронта сказал: ищите на месте.

— Вы кого-нибудь не порекомендуете? — обратился Штернберг к Попову.

Попов грустно мотнул головой. Положение казалось ему катастрофическим. Между тем и Гусев, и Штернберг держались так, будто эта катастрофа надвинулась не на них, а угрожает бог весть кому и бог весть где. Павел Карлович молча рассматривал свои длинные, изящные пальцы. На одном из них во время погрузки дров появилась ссадина. Сергей Иванович, закинув руки за спину, отошел к окну.

— Иван Васильевич! — Гусев неожиданно обернулся. — Сколько бывших офицеров вернулось в Вятку, не ушло к белым и стало у вас на учет? Более тысячи? Вот видите! Более тысячи! Скорее несите сюда личные дела! В этой комнате родится командарм, должен родиться...

Старые подпольщики, бывалые революционеры Гусев и Штернберг давно усвоили непреложную истину: безвыходных положений не бывает. Не ждать же, когда магна небесная свалится на голову! Не роптать на судьбу —

ох да ах, — не тратить душевных сил на бесплодные жалобы — трудно, невозможно, невысказимо... Выбран путь — надо идти. Поставлена задача — надо решать. Думай, действуй, верши!

В конце июля восемнадцатого года Ленин подписал декрет Совнаркома о призыве на действительную военную службу бывших офицеров, врачей, фельдшеров, лекарьских помощников, военных чиновников. Декрет декретом, но отношение к «бывшим» было прочным и устойчивым, вошло в плоть и кровь. Одни им не доверяли, другие видели в них неприменных завтрашних предателей, на время сменивших окраску. Не случайно кочевало по России: «бывший», как редиска, — сверху красный, а внутри белый.

Штернберг и Гусев были далеки от такого закоспелого унрожденчества. Социальные взрывы — они это отлично сознавали — пробуждали честных людей, с повелительной неумолимостью вели их из стана врагов революции в стан друзей.

Предатели? Да, были среди «бывших» и предатели. В бочке меда не без ложки дегтя. Но большинство... те, кто порвал со своим классом или с классом, их вскормившим, кто поверил в революцию и решил служить ей, были люди мужественные, нужные. Оттолкнуть их значило совершить историческую глупость, нанести ущерб делу.

...В губернском штабе звонил телефон, Попов отвечал, приказывал, советовал.

— На ипподроме... С оружием? Обязательно задержать! — настаивал он. — Завтра допрошу!

До Штернберга и Гусева, поглощенных чтением, едва доходили слова Попова. Стона личных дел таяла медленно.

— Познакомьтесь с этим поручиком, — протянул Гусев листы Павлу Карловичу.

— С бывшим поручиком,— поправил педантичный Штернберг. И спустя несколько минут качал головой: — Боюсь, не перспективен.

Гусев подержал личное дело, пошуршал листами и отложил в сторону. Уж очень хотелось ему «открыть» поручика, который повторил бы судьбу Михаила Тухачевского — самобытного, талантливое, победоносного командира Красной Армии! А ведь тоже бывший подпоручик...

Наконец, Павла Карловича привлекла фотографическая карточка Василия Ивановича Шорина. В упор глядели волевые глаза. Непреклонная решимость жила в этом взгляде. Угадывалась личность, человек такого склада, который, если пойдет, то не свернет, если скажет, то исполнит.

Конечно, фотокарточка — это еще не человек. Можно легко ошибиться, обмануться, выдать желаемое за действительное. Однако рука не поднялась безучастно отложить личное дело в сторону. И Павел Карлович, подзвав Гусева, вместе с ним начал листать бумаги Шорина.

Шорин закончил Казанское юнкерское училище. Это училище в России хорошо знали, потому что оно было единственным, куда принимали юношей недворянского происхождения. Отбор был жесткий.

— Обратите внимание, как он подымался по служебной лестнице,— посоветовал Сергей Иванович.

Действительно, в мирное время Шорин «не рос». Но в русско-японской и империалистической войнах он неизменно отличался, проявлял отчаянную храбрость, после ранений, даже тяжелых, возвращался в строй, был награжден и Георгием, и георгиевским оружием.

Пожалуй, самым убедительным «за» в пользу Шорина была последняя страница его военной биографии. После Февральской революции солдаты завоевали право выбирать своих командиров. Шкурников и держиморд из-

гопями. Командира 102-го Вятского полка Василия Ивановича Шорина избрали командиром дивизии...

Встреча состоялась на следующий день в губернском штабе. Крепко сбитый, плотный и крутоплечий, с четкими движениями кадрового военного, с узловатым рубцом на виске — последняя фронтовая отметина, — Шорин стоял перед двумя комиссарами, наделенными особыми полномочиями. Он сразу определил, что люди они невоенные и по тому, как здоровались, и как садились, и как задавали вопросы.

— Мы хотим пригласить вас служить в Красную Армию, — сказал Штернберг.

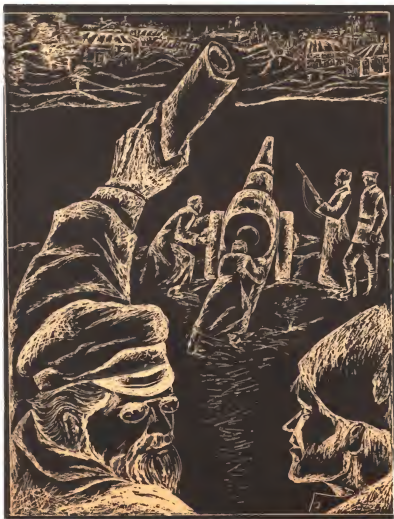
Шорин, подтянутый, собранный в кулак, напярк ноздря, сомкнул брови, на лбу прорезались две острые складки. Он молчал, не шелохнувшись, лишь нервно качивая кадыком.

— Как вы относитесь к этому предложению? — продолжал Гусев.

Густобородый комиссар в кожаной тужурке, с гривастой копной волос на голове и пронизательно-добрими глазами смотрел прямо в душу, словно все понимал. И то, что Шорин, хлебнувший полной мерой на востоке и западе, ушел из старой, прогнившей армии бесповоротно; и то, что ему, кадровому офицеру, немогут сидеть без дела в своей вятской квартире и жить на деньги, которые зарабатывает уроками музыки дочь; и то, что он военный от первой до последней клеточки, что это его жизнь, призвание, назначение.

— Мы предлагаем вам возглавить 2-ю армию Восточного фронта, — сказал Гусев. — Не скроем, сегодня она в плачевном состоянии, а завтра должна решать большие задачи...

И Шорину рассказали все, как есть. Он слушал, глава его искали на карте упоминаемые пристани, станции, города.





— Так.— Он встал, снова качнул кадыком, посмотрел открыто и твердо.— Позвольте доложить мои соображения завтра в десять ноль-ноль.

Он пришел ровно в десять.

— С вашим предложением согласен,— сказал Шорин.— Считаю: необходимо взять пароход, штабников, десятка два солдат охраны и двигаться в село Вятские Поляны. Штаб должен быть в центре расположения армии. Медлить нельзя!..

### III

Когда Гусев при первой встрече сказал Штернбергу, что в армии «полный развал», эти слова воспринимались как нечто отвлеченное. Что они означали на практике, стало ясно лишь в Вятских Полянах.

Большое село раскинулось широко. На лобном месте возвышалась церковь. Над нею кружили голуби, а внизу, на просторной и пыльной площади, пестрели лавки. Жителей в селе было менее восьмисот, зато лавок — около сорока. На каждые двадцать жителей — лавка.

По реке Вятке баржи и пароходы увозили отсюда хлеб, дрова, лесоматериалы. Местные капитаны любили напоминать, что в перечне крупнейших рек Европы не Вятка шла за Вислой, а Висла за Вяткой.

Душой и центром села был базар. По воскресеньям шла бойкая торговля — продавали ароматное, свежее масло, яйца, круглые, как солнце, караваи хлеба, жареных кур, подрумяненных, еще теплых, прямо с пылу, с жару, из печи.

Крестьяне не гнушались «никколаевками» и «керенками», давно отвергнутыми в Москве, а на соль и махорку менялись особенно охотно.

Партизанский отряд — человек триста, квартировавший в Вятских Полянах, как бы растворился в большом селе. От теплых изб, от щедрого приварка, от истомленных «безмужичьем» молодых отрывать становилось все труднее, идти под пули — тем более. Дисциплина в отряде день за днем падала.

Когда штабной пароход причалил к дебаркадеру, посыльных послали разыскать командира местного отряда. Его нашли в купеческой избе. В тесно заставленной комнатами и буфетами горнице с иконой и тлеющей лампадкой в углу командир, скорее похожий на атамана, сидел в исподней сорочке за столом, уставленным яствами. Он вперил в посыльных помутневшие глаза и с трудом выдавил:

— К-какой Рев-воен-совет? Я с-сам Рев-воен-совет. Вот! И ударил себя по животу...

Штернберг с тремя красноармейцами отправился проверить, как охраняется мост через Вятку.

Издали фермы моста казались гигантским узором. У самого въезда на мост прилепилась, как ласточкино гнездо, будка часового. Будка пустовала. На полу валялись затоптанные окурки.

Пройдя по мосту на противоположную сторону реки, увидели караульную землянку. В ней стояли продавленный тюфяк, облезлый стол. Здесь же обнаружили прислоненные к стене две винтовки.

Часовых нашли метрах в тридцати от землянки, среди кустарника. Горел костер, в котелке булькала кипящая вода, пахло рыбой, луком, перцем.

«Часовые» были в распахнутых рубахах, один потягивал сигарку, другой неторопливо помешивал деревянной ложкой уху. Они недружелюбно глянули на пришельцев. Видимо, больше других смутил их высокий, в кожаной тужурке. Сквозь пенсне он сверкнул глазами и резко скомандовал:



— Встать!

Инстинкт сработал, а может, яростная власть приказа подняла их на ноги. Они стояли — один с деревянной ложкой, другой с сигаркой, не застегнув ворота, враждебно выжидая, что будет дальше.

— Арестовать! — приказал Штернберг...

Примерно такую же картину увидел Шорин близ железнодорожной станции. Гусев, пройдясь по селу, вернулся в штаб обескураженный.

— В отряде расхлябанность полнейшая, бойцы пререкаются: кто приказал, да зачем приказал, да этот приказ не обсуждали, да мы за него не голосовали...

Военных моряков и вовсе захлестнула анархистская вольница. Два корабля — осколки речной флотилии — стояли у причалов, содрогаясь от плясок, хмельных песен, переборов гармоники, бесшабашного разгула. Некий Бабкин, командовавший кораблями, явился на вызов Шорина пьяный, держался вызывающе: печего, мол, учить, сами с усами, что хочу, то и ворочу.

Бабкина арестовали.

В Реввоенсовет пришли два моряка, оба большевики.

— Плохо дело, — пожаловались они. — Братки узнали об аресте Бабкина, «бузу затевают». А тут еще из Вятки анархисты своих газет понавезли, месяца за три собрали. Пошли газеты по рукам, словно в костер керосин плеснули...

Павел Карлович взял одну из газет. Даже название настораживало — «Вятская свободная коммуна». Точки над «и» как бы ставили эпиграфы:

«Долой власть человека над человеком!

Анархия — мать порядка!»

Пожалуй, дальше можно бы и не читать, но Павел Карлович скользнул глазами по стихам:

Красные знамена,  
Ужас бастиона,

Молодой свободы приглушенный крик..  
Горе, слезы, стоны,  
Дикие законы,  
Наглая милиция и солдатский штык.

Сквозь зарифмованный сумбур пробивалась идея автора: коль законы, так дикие, ведь мать порядка — анархия!

— Пойдем на корабль,— сказал Штернберг.— Надо потолковать с народом.

Моряки заметно колебались, чего-то опасаясь.

— Пошли! — решительно настоял Штернберг.

В ростре у самого борта стояла шлюпка. Павел Карлович забрался в эту шлюпку.

— Вроде трибуны будет,— посоветовал один из матросов-большевиков, а сам, заботливо оглядевшись, подумал: подальше от греха, от толпы. Безопасней.

Второй матрос пошел скликать команду.

Собирались не спеша, сходились ленивой походочкой, руки в брюки, в зубах сигарки, бескозырки сбиты на затылок, кто в тельняшке, кто в бушлате.

Матросы рассаживались, с любопытством поглядывая на гостя: что скажет, что еще будет? Прослышали — из Москвы, прослышали — член Реввоенсовета армии.

Штернберг терпеливо поглядывал на пестрое сборище, задерживая взгляд то на одном, то на другом, пытаясь понять, что за человек, что спрятано под этой шелухой и бравадой.

Расталкивая товарищей, по палубе, как по бульвару, прошла и остановилась перед шлюпкой тройца: один с гармоникой, другой, повязанный косынкой, с закатанными не без умысла рукавами — виднелась татуировка, третий рыжий, как осенний лес, глаза узкие, не глаза — щелки, усы тонкие, как лезвие.



— Это было в конце августа.

Оборвав фразу, выждал. Головы были повернуты к нему. Глаза смотрели в его глаза. Он продолжал:

— Тридцатого августа эсерка Каплан стреляла в Ленина. Когда Ильича привезли домой и шофер Гиль захотел помочь ему, Ленин отказался от помощи. Он хотел, чтобы вы, я и все мы... — Штернберг широко повел рукой, — знали, что он, Ильич, на ногах, что и в самую трудную минуту он с нами...

Штернберг, читавший лекции гимназистам, курсисткам, студентам университета, давно научился, не сосредоточивая на ком-либо специального внимания, подмечать состояние слушателей, мимолетные взгляды, осторожные движения, слышать тишайший шепот.

Он видел: здоровяк большевик, стоявший у самой шлюпки, накренил чуть набок голову и слушал, приоткрыв рот; «пират» с татуировкой подпер подбородок и тоже слушал; рыжий сосредоточенно пощипывал кончики усов...

«Пружина беседы не должна расслабляться!» — мелькнуло в мозгу Павла Карловича, и он, вынудив из тужурки свежую «Правду», сообщил:

— В газете напечатано приветствие Ленина войскам, взявшим Казань.

Подержав «Правду» перед собой, Штернберг как бы представил зримое подтверждение своих слов и рассказал, почему Ленин, еще не оправившись от ран, занимается военными делами.

Очевидно, матросы толком не знали, что делается на белом свете: о действиях японцев на востоке, англичан и американцев — на севере. О зверствах пемцев. Не знали, почему пришлось потопить Черноморский флот. Слушали.

— Да и здесь, у нас под носом, в Ижевске, — говорил Павел Карлович, — бесчинствуют белые. Впрочем, где

они не бесчинствуют? Вот вы, — Штернберг указал рукой на ближайшего матроса, чью фразу «нехай говорить» услышал еще тогда, когда курчавый красавец пиликал на гармошке, — вы из каких краев?

— С-под Бахмача, — нахмурился матрос. — Пид ним-цем наш.

— А вы? — Павел Карлович обратился еще к одному.

— Из Сибири я, — буркнул нелюдимо-насупленный матрос в бушлате, накинутом на тельняшку. — Батьку моего убили.

— Слышите?! — переспросил Штернберг, будто сомневался, что все расслышали ответ сибиряка, и тем самым еще раз заставил задуматься над словами «батьку моего убили».

Теперь пропасти между Павлом Карловичем и матросами не было. Он чувствовал, понимал — мост перекинут, пусть не очень надежный, не капитальный, но уже не пропасть... Правда, едва он заговорил о дисциплине, о порядке — он опасался и ждал этого, — пошел шумок, повскакивали защитники арестованного Бабкина, посыпались реплики:

— За решетку упрятали, не позволим!

— Он наш — нам и разбираться!

— На свободных матросов руку подняли!

Брызнул опять анархистский взрыв.

— Тише! — потребовал Штернберг... — На заседание трибунала пригласим матросов. Сами поймете, кто превратил ваш корабль в плавучий кабак...

Страсти начали стихать, но боцман, сидевший на груде свернутых канатов, истерично выкрикнул:

— Верните Бабкина!

Неожиданно отозвался рыжий матрос:

— Да чего там! Шкура — Бабкин!

Желая погасить перепалку, Штернберг заговорил о том, что не сегодня завтра на помощь флотилии придут

военные корабли Балтфлота, прибывают и черноморские матросы с потопленных крейсеров и эсминцев, что жизнь начнется совсем иная, что адмиралу Старку суждено кормить рыб в Вятке и Каме...

Вернувшись к себе, на штабной пароход, Павел Карлович сбросил тужурку. Рубаха под ней была мокрая, хоть выжимай. Затылок налился свинцовой тяжестью.

Расслабил ремень, откинул назад голову, смежил ресницы. Надо было минут пять — десять передохнуть. Вот-вот придут люди, вызванные для организации армейского трибунала. А вечером — собрание штабных коммунистов. После собрания — Реввоенсовет. Решили сегодня же утвердить состав 1-го и 2-го сводных полков.

Из окрестностей Вятских Полян в село стягивались разрозненные партизанские отряды. Их преобразовывали в роты, батальоны, полки. Заново рождалась армия.

В дверь постучали. Штернберг стянул ремень, надел тужурку, пригласил:

— Заходите.

День продолжался...

## IV

Шорин был крут, вспыльчив, нередко груб. Болея за дело, заботясь о людях, об их довольствии, крыше над головой, в общении проявлял нетерпимую резкость.

Однажды Павел Карлович был свидетелем такого эпизода.

К Шорину вошел Виктор Ладухин, оставленный при начальнике штаба для особых поручений. Штернберг еще днем познакомился с новичком. Ладухин прошел ускоренный курс училища, успел повоевать прапорщиком на германском фронте.

Лицо Ладухина, едва знакомое с бритвой, было совсем юным. Павел Карлович опасался, не накинуд ли он два-три года, чтобы попасть на фронт?

Оказавшись лицом к лицу с командармом, вытянувшись в струнку, Ладухин доложил:

— Представляюсь по случаю назначения и прибыл для доклада сводок.

Шорин, всецело поглощенный картой, буркнул:

— Раньше нельзя было? Кладите!

Ладухин положил на стол сводки и попросил разрешения доложить.

— Положили? — командарм наконец приподнял голову. — Можете идти.

Павел Карлович без труда представил, что делалось на душе молодого штабиста. Он щелкнул каблуками, прошел, как по линейке, к двери и осторожно — не скрипнула бы — прикрыл дверь за собой.

Куда круче складывались обстоятельства, если командарм обнаруживал непорядок, отклонение от его приказов, беспечность, нерадивость, неосведомленность.

Как-то к Штернбергу вбежал побледневший адъютант с запиской, начертанной рукой командарма:

«Наштарму-2.

Андреева-Корсикова за преступный обман — расстрелять!

*Шорин».*

Резолюция вепчала докладную записку начальника артснабжения армии Андреева-Корсикова о наличии боеприпасов. Что приключилось? Павел Карлович знал: Андреев-Корсиков — старый служака, знакомый Шорину по фронту. Работает с усердием, вертится как белка в колесе — центр снабжает армию из рук вон плохо.

Штернберг зашел к Шорину, миролюбиво спросил:

— Василий Иванович, что натворил Корсиков?

Шорин потер кулаком подбородок, медленно оторвался

от бумаг, тяжело посмотрел на Штернберга. Голубые, выцветшие, словно вымытые дождями, глаза командарма вдруг стали стальными, как его френч:

— Обман!

Он хотел еще что-то добавить, но сдержался. У командарма уже было несколько стычек с комиссарами. Его пороховой вспыльчивости они противопоставляли выдержку и твердость. Больше всего Шорина распаляло внешнее спокойствие Штернберга, сочетавшего интеллигентское «будьте любезны» с жесткой непоколебимостью: упрется — не сдвинешь.

— Может быть, послушаем объяснения самого Андреева-Корсикова? — спросил Павел Карлович, и адъютанту, показавшемуся в дверях, приказал: — Будьте любезны, начальника артснаба сюда!

Андреев-Корсиков вошел без ремня, в сопровождении конвоира.

Суть дела оказалась в следующем.

Помощник Корсикова не вычел израсходованные снаряды, и они попали в докладную, представленную командарму. Шорин распределил боекомплект между полками. А на армейском складе снарядов оказалось гораздо меньше...

Корсиков, конечно, заслуживал наказания. Однако ошибка была поправима, не расстреливать же человека.

— Благодарите бога и комиссара, — сказал Шорин. — И учтите: второй раз благодарить вам не придется...

Командарм и Штернберг остались одни. Павел Карлович раздумчиво, как бы самому себе, сказал:

— Трудно, очень трудно. Чем большая дана нам власть, тем осторожнее надо ею пользоваться. — Помолчал, вздохнул: — Вам не приходилось над этим задумываться? А я иногда думаю: субъективизм, честолюбие, повышенные эмоции, неумение или нежелание подчинять себя делу, попытка подчинить дело себе — и наша власть



обернется произволом. Нелегкий крест мы несем, Василий Иванович...

Шорин внимательно посмотрел на комиссара: мол, куда гнет? Но глаза его не казались больше стальными — скорее серыми, с размытыми наплывами голубизны.

Медногорлые трубы сводного оркестра грянули внезапно и мощно. Сонные голуби, чистившие перышки на колокольне, встревоженно взмыли над площадью.

Не случайно, наверное, трубы военных оркестров всегда были спутниками батальонов и полков в дальних походах. Не случайно, наверное, в раскатах музыки — и звон клинков, и скороговорка пулеметов, и басовитый голос мортир.

Боевые кони, услышав трубные звуки, прядают ушами, вскидывают головы, а всадники чувствуют, как пробегает по вороным дрожь нетерпения. И солдаты, слитые в стальные шеренги, незримо для себя, без команды, без понуждения распрямляют плечи и словно пьют эти медные звуки — хмельную брагу походов и побед.

Шорин, Штерибург и Гусев стояли на трибуне, сколоченной из торопливо оструганных досок. Шершавые перила выдавали спешку.

Большие буквы пламенели на свежей древесине: «Красные орлы! Крепите дисциплину, крепите выучку! Будьте храбрыми — в этом порука наших успехов!»

Закатное солнце зажгло луковку церкви, позолотило колокол, и казалось, что от раскатов музыки он подрагивает, торжественно и мерно позванивая.

Войска выстроились в каре. Еще не было единой формы — у кого сапоги, у кого ботинки, у кого френчи, у кого гимнастерки, но у всех были пятиконечные звездочки, вырезанные из красной материи, у всех были винтовки.

Придирчивый Шорин, конечно, видел изъяны строя: и

равнение безупречное, и выправка оставляла желать лучшего, однако не анархистские кучки с распахнутыми воротами — полки, организованные войска!

Павел Карлович взял с собою зрительную трубу. Мощные линзы приблизили самый отдаленный уголок площади. Он узнал моряков: черные бушлаты, полосатые, как арбузная корка, тельняшки. Узнал рыжего матроса с острыми усиками, со сбитой набекрень бескозыркой, обнажившей огненный пучок шевелюры. Узнал и обрадовался: здесь он, с нами!

Реввоенсовет построил войска армии для торжественного митинга. Было очень важно, чтобы бойцы вчерашних разрозненных отрядов ощутили себя частицей единого воинства. Поводом для митинга была встреча много тысячного отряда Владимира Азина, участвовавшего в освобождении Казани. Отряд возвращался в свою армию.

Об Азине члены Реввоенсовета слышали еще в Вятке от Ивана Васильевича Попова. Возглавив роту из латышей-коммунистов, получивших огневое крещение под Двинском, и вятских красногвардейцев, Азин ушел на фронт, действовал находчиво, дерзко.

Говорили о нем по-разному: талантлив, смел, своенравен, бесшабашен, горяч, честолюбив.

Шорин дотошно изучил по донесениям действия Азина, взял в расчет удачи и промахи, угадал в нем вожака полупартизанской вольницы, хлебнувшего из сладкой чаши славы, — брал Казань.

На заседании Реввоенсовета решили встретить азинов торжественно, как подобает встречать победителей, а потом уж не резко, не единым ударом, постепенно, тактично наводить в отряде настоящий армейский порядок...

Ненадолго смолкший оркестр, видимо, получил условный сигнал — музыканты зашевелились, трубы грянули марш, и на площади появился серебристо-серый скакун с горделиво вскинутой головой и с всадником в кожаной

куртке, отливавшей глянцевитым блеском. Конь на мгновение замер, грациозно взметнувшись на дыбы, всадник прищипорил его, и скакун понесся с легкостью, близкой к полету.

— Азин, Азин! — пошло по шеренгам.

Изящный, гибкий, слившись со скакуном так, что чернела кожей спина и белела заломленная каракулевая папаха, Азин резко натянул поводья и пружинисто соскочил с коня у самой трибуны.

Азинская конница и пехота выстроились шеренгами во всю длину площади. Командарм и члены Реввоенсовета пошли вдоль рядов, поздравляя бойцов с возвращением и победой.

Красноармейцы и командиры, припорошенные походной пылью, белозубо улыбались, в осанке, во взглядах жили удаль и гордость победителей.

Шорин, указывая на кожаные куртки и брюки бойцов, спросил у Азина:

— Это откуда?

Каждый пятый был одет в кожу.

— Захватили в Казани, — объяснил Азин. — Особо отличившимся сшили.

Павел Карлович всматривался в лица, в одежду. Вот один с короткой стрижкой, волосы едва-едва отросли. Догадался: после тифа... И уже ранен: рука забинтована.

А вот бравый боец — усы, как у командарма, офицерское галифе, натянутое с трудом, не по росту, чужое, на широкой пряжке ремня напильником или кирпичом затерт двуглавый орел...

Митинг завершился парадом войск армии. Взмокшие музыканты трубили во всю мочь.

На площади остались колен, продавленные артиллерийскими орудиями. Луковица церкви померкла — солнце закатилось за крыши изб, за деревья...

На вечер назначили заседание Реввоенсовета.

Собрались у Шорина. Командарм сидел за столом, неразговорчивый и раздраженный: перед заседанием ему сообщили, что бойцы Азина затеяли драку с мензелинцами и сильно поколотили одного красноармейца.

Штернберг сидел у стола, размышляя, как сделать, чтобы не допустить «перекала» страстей. Командарм взвинчен — ходят желваки. Азин, видно, тоже из тех, кто начинен порохом — взорвется. А дело от взрыва вряд ли выиграет.

Дежурный адъютант внес самовар и чашки. Командарм вопросительно покосился на Павла Карловича.

— Моя идея, — кивнул Штернберг на самовар.

Шорин раздраженно тернул подбородок: вот, мол, придумал чай распивать!

Азин вошел легкой, энергичной походкой. Все на нем сверкало: шаровары с малиновыми лампасами, лакированные сапоги, кожаная куртка, сабля в серебряной оправе, придерживаемая левой рукой, живые карие глаза на тонком, словно точеном, лице.

Он по всем правилам, с безупречною четкостью строевика представился Шорину — был уже паслышан о строгостях командарма. Сердце Шорина не размягчилось, он кивнул на стул, даже не сказав «садитесь».

Заседание Реввоенсовета открыл Штернберг. Он сказал, что отряд Азина встречен с заслуженными почестями, а сейчас предстоит деловой разговор о сильных и слабых сторонах отряда, о его расформировании и создании сводной дивизии регулярной Красной Армии.

Азин, заметно попикший после холодного приема, оказанного командармом, при словах о «слабых сторонах отряда» и о «расформировании» окаменело замер и залился багровой краской.

Разумеется, он знал, что из разрозненных отрядов формируются полки, что его отряд не исключение. Однако никогда его, неизменно удачливого командира, не при-

нимали так сдержанно, если не пренебрежительно. Не затевается ли тут что-либо?

Что-то вроде судилища? Ведь было же такое: бывший подполковник Муравьев, закоренелый эсер, назначенный командующим Восточным фронтом, поднял мятеж, хотел уничтожить Тухачевского. Чудом спасли командарма симбирские красноармейцы.

К Азину судьба всегда была милостива. Все, за что он брался, ему давалось. Его активная натура жаждала дела, а взявшись за дело, он проявлял гибкость, изобретательность, отвагу.

В августе восемнадцатого в Вятке сформировали первый батальон — четыреста штыков, взвод конников и две пушки. Во главе батальона поставили Азина. Через две недели батальон ворвался в Арск. С ходу захватил станцию Собакино. Перед штурмом Казани под началом Азина собралось уже более трех с половиной тысяч бойцов...

И вот он — в Вятских Полянах! Он, бравший Казань, вернулся с многотысячной пехотой и конницей. И не его ли орудия — четырнадцать целехоньких, с надежным запасом снарядов — оставили на площади глубокие колеи? А что в итоге? В итоге ему, как бедному родственнику, кивком головы указали на скамейку. Но это еще не все. Сейчас, как он понял, начнут перемывать его косточки, судить и рядить о «слабых сторонах отряда», формировать дивизию, чтобы потом его, Азина, оставить у разбитого корыта...

Азин внутренне сжался, напрягся, склонил голову и устоялся в одну точку.

Штернберг предоставил слово командарму. Шорин лестно отозвался о первых успехах азинского батальона. Отметил находчивость, смелость, умение внезапно атаковать.

— Партизанские наскоки были успешными, — сказал Шорин. Словом «наскоки» он как бы смыл похвалу.

Далее командарм жестко отчитал Азина за потери у Высокой Горы.

— Здесь,— сказал он,— военная неграмотность граничила с преступлением.

Действительно, у Высокой Горы азинцы получили кровавый урок. Тут могло кончиться полной катастрофой.

Не разведав подступы к селению, не уточнив, какими силами располагают белые, без боевого охранения Азин повел колонны на Высокую Гору. В старину, когда противники сшибались в открытом поле, это называлось «иду на вы».

К сожалению, в открытом поле оказались только азинцы. Белые, засев в окопах полного профиля, почти неуязвимые, ударили в лоб по колоннам из пулеметов и ружей. Началась паника...

Надо отдать должное Азину: он остановил бегущих, не дал белым развить успех. Больше того, он за сутки подготовился к новому бою, переломил в войсках настроение и взял Высокую Гору.

Шорин сказал и об этом, но сказал вскользь, а о неоправданных потерях говорил резко и возмущенно. И в завершение, больно ударив по самолюбию Азина, снова повторив слова «о военной неграмотности», заключил:

— Партизанщины не потерплю!

Азин порывисто встал. Ни на кого не глядя, бросил:

— Да, бабушки нам гувернанток не занимали... И в белых академиях мы не учились... Прежде командование ценило Азина. Ну что ж...

Он метнул быстрый взгляд в сторону двери, очевидно решая, уходить или не уходить.

Шорин молчал, не сводя холодного взгляда с Азина. Намеки — пусть и необоснованные — насчет гувернанток в белых академиях адресовались ему.

— О бабушках вы напрасно... Зря... — Штернберг под-

нялся, подошел к Азину и, мягко коснувшись плеч, посадил его на прежнее место.— Речь ведь идет не о бабушках — о конкретном деле. О нашем деле.— Он горько покачал головой: — Так нельзя, дорогой Вольдемар Михайлович. Не придет же нам в голову брать под сомнение труды Энгельса по научному коммунизму только из-за того, что отец его был фабрикантом, владельцем текстильного предприятия в Бармене?

Неожиданное сопоставление, так обнажившее нелепую, в обиду сорвавшуюся фразу, и столь же неожиданное обращение по имени и отчеству «Вольдемар Михайлович» — латышское «Вольдемар», а не «Владимир», как обычно называли его в России, очень подействовали на Азина. Он порывался встать, объяснить, но его опередил Гусев.

— Позвольте,— сказал он.— Мне хочется все поставить на свои места.— И Сергей Иванович заговорил о том, что Реввоенсовет, отдавая должное заслугам Азина, не занимается раздачей лавровых венков.

— Вы не красна девица,— напирал Сергей Иванович.— Нужны вам не комплименты, а деловая помощь.

Азин снова вспыхнул, когда Гусев рассказал, как азинцы, едва разгрузились из эшелонов, устремились на базар менять барахло на самогон, как учинили драку с мензелинцами...

— И усвойте, вы обязаны усвоить,— Сергей Иванович круто перевел разговор на другие рельсы,— что военные специалисты привлечены в Красную Армию по декрету, подписанному Лениным. Война — не игра. Помимо добрых порывов нужны знания. Полковник старой армии Василий Иванович Шорин пришел к нам,— Гусев выделил слово «нам», — с богатейшим опытом. Партия доверила ему армию. Видите шрам на виске? — продолжал Сергей Иванович.— Это не единственная рана нашего командарма. И георгиевское оружие, и Георгия он тоже

получил не за голубые глаза. Передайте наш разговор своим подчиненным.

Едва Гусев замолк, Азин решительно шагнул к командарму и протянул ему руку. Этот порыв был обезоруживающе-искренен. Шорин сжал протянутую руку.

— Ну вот, — сказал Штернберг, облегченно взглянув на Сергея Ивановича и пододвигая к самовару чашки. — Принципы формирования дивизии обговорим за чашкой чаю.

Собственно, чаем высокопарно называли кипяток. Заварки не было. Ее заменяла клюква.

Павел Карлович принялся перочинным ножом колоть сахар на мелкие дольки. Шорин захрустел кусковым — его ровные, крепкие зубы кромсали белую твердь рафинада. Клюква, раздавленная в чашке, брызнула кисловатым соком и, подымаясь со дна все выше и выше, медленно окрасила бесцветный кипяток... Теперь он был доволен затеей Штернберга, которая еще недавно казалась неуместной.

## V

Хлестали ливни. Даже днем нависал полумрак. Ветер срывал с деревьев листья и швырял их в лица с потоками воды. Раз или два в разорванных тучах голубели просветы, но надежды не оправдывались — опять напоздали темные, как дымы пожарищ, низкие, обложные, косматые облака. Молнии чертили причудливые зигзаги, прокатывался гром. Гул уходил далеко-далеко и где-то обвалом рушился на землю. Лишь к утру ясная синева расплескалась от горизонта до горизонта. Солнце, словно промытое и обрадованное, что вырвалось из многодневного заточения, светило особенно ярко, сверкало и дробилось в лужах и лужицах изрезанной колеями проселочной дороги. Тарантас, в котором ехал Штернберг,



мерно потряхивало. Солома в тарантасе пахла прелью сырого сарая.

Впереди трусил рысцой разъезд конников. В ночном бою они не участвовали, лошади застоялись и были рады разминке. Один смуглолицый боец с красивыми зубами и доброй улыбкой, в огневой лисьей шапке, судя по акценту башкир или татарин, вдруг рванулся на коне в сторону от дороги, метнул копье. Через несколько минут он поравнялся с тарантасом: на копье был суслик, пронзенный насквозь.

— До госпиталя часа два-три, — напутствовал Павла Карловича Азин. — Поспите в дороге.

Действительно, спать хотелось. Солнце, по-осеннему мягкое и теплое, размаривало. Пьянили запахи жнивья. Но сон не приходил. Сначала Штернберг засмотрелся на башкира в огненной лисьей шапке, грациозно-легкого, слившегося с пегим конем, потом пытался отвлечься и забыться в полудреме, но, очевидно, возбуждение минувшей ночи еще не прошло: ночью, форсировав реку Вала, азинцы с боем овладели большим селом.

Тарантас по-прежнему потряхивало на выбоинах. Миновали овраг с глубокими вымоянами: дождевые потоки четко обозначили путь стекавшей воды. Все чаще попадались скирды сена, предвещаая близкое селение. Навстречу, погопя низкорослую лошадедку, ехал крестьянин.

— Здравствуйте! — приветствовал его Штернберг. — Кто в селе, отец?

— Теперича красные.

— А до госпиталя далеко?

— Да недалеко уже. На бугор взъедете, по правую руку будет ветряк, а по левую — гошпиталь.

Крестьянин с интересом оглядел густобородого человека и, убедившись, что вопросов больше нет, стегнул свою лошадедку кнутом:

— Ну, дохлая! Шевели ногами!

Такой тесноты он никогда прежде не видел. Койки были сдвинуты. Белые давным-давно не менялись: по серым простыням и наволочкам растеклись ржавые пятна йода. В палате стоял смрад, усиленный резкими запахами лекарств и несвежих бинтов. Форточки не открывались, потому что койки стояли впритык к окнам, а по ночам осенние заморозки застекляли лужи.

У самой двери лежал тяжелораненый — весь в бинтах, бледный, как сама смерть. С его сухих, иссеченных трещинами губ срывались выкрики:

— Огромный петух! Рыжий петух клюет мою печень!

Он замолкал, но ненадолго. И снова, нервно дергаясь, голосом, полным мольбы, зывал:

— Прогоните петуха! Убейте! Он клюет мою печень! «Бредит», — подумал Штернберг.

Павел Карлович прошел в глубину палаты, поздоровался, представился. На койках зашевелились, кое-кто приподнялся, даже сел.

— На фронте сейчас горячо, — продолжал Павел Карлович, — но Реввоенсовет считает дела госпитальные тоже первоочередными. Вот я и приехал к вам.

Из темного угла раздался возглас:

— Давно пора!

Штернберг не оправдывался, хотя он, как, впрочем, Шорин и Гусев, считанные дни назад прибыл в армию. Еще в пути, плывя по Вятке и встретив госпитальное судно, увидев забинтованных, опирающихся на костыли, печально глядящих вслед пароходу, он дал себе зарок: прежде всего наладить помощь раненым. Отдавая отчет в том, как важно это им, пострадавшим на поле боя, он понимал, что не менее важно это для нравственного здоровья тех, кто в строю. Человек, твердо стоящий на ногах, не испытывающий потребности помочь другому человеку, чьи ноги перебиты, — нравственный урод.

Раненые, лишь на первый взгляд безучастные, оживились: сначала раздавались реплики, отдельные фразы, потом заговорили, перебивая и дополняя друг друга.

Общая картина обозначилась довольно быстро. В госпитале два врача, один из них — начальник, которого раненые ни разу не видели. Сестры выбиваются из сил, но поспеть везде не могут. Снабжение плохое. Курева нет дней десять. О событиях на фронте раненые узнают от случая к случаю.

— Так и живем, — сказал бритоголовый красноармеец с тугими перекрестиями бинтов на груди и с глухой повязкой на правой руке. — Про газеты забыли, какие они есть. Может, где война кончилась, может, где новая началась — ничего не знаем. А махорку привезут — и на самокрутку бумагой не разжиться. Нет газет, товарищ комиссар. Так и живем. Письмо написать старухе тоже некому.

И он крутнул в воздухе рукой, неуклюже-широкой из-за пухлой перевязки.

Слово «письмо» больно кольнуло Штернберга: он вспомнил заснувшую на диване Иришку, тревожную, невеселую Варю, провожающую поезд, вспомнил, что ни разу не написал им, — телеграмма не в счет!

А бритоголовый не унимался:

— Старуха небось убивается, свечу по мне в церкви заказала, а я лежу, как барин, шею наедаю... Что ни говорите, в госпитале — не в окопе...

Начальник госпиталя расположился в отдельной избе. Из-за стола, заваленного бумагами, навстречу Павлу Карловичу поднялся сухой, узкоплечий человек с редкими блондинистыми волосами, плохо прикрывающими лысину. Представляясь, начальник госпиталя не назвал ни фамилию, ни имя-отчество. В его тусклых, скучающих глазах, едва он узнал, что перед ним член Реввоенсовета,

мелькнуло движение мысли, и он заулыбался — вымученно, растерянно, выжидательно.

— Не сочтете ли желательным отдохнуть или отобедать с дороги? — спросил начальник.

— Не сочту! — отрезал Штернберг. — Меня интересует, сколько в госпитале раненых.

— Извольте.

Начальник сел за широкий стол. С одной стороны стола стояли картонные коробки с какими-то карточками, с другой — стопами лежали скоросшиватели.

— По отчету в прошлом месяце у нас числилось, — начал было начальник госпиталя, но Павел Карлович оборвал:

— Отчеты пока меня не интересуют. Сколько на излечении раненых сегодня, сейчас? И сколько вы можете принять завтра, если развернется наступление?

— Извольте, — снова сказал начальник, раскрыл зеленую папку и заскользил глазами по строчкам. Разволновавшись, он, видимо, перепутал папку, взял другую, но там нужных цифр не оказалось, и он сконфуженно признался:

— Извините, но за этот месяц отчет еще не составлен...

Все — и сам он, и дело, которому он был призван служить, все было погребено в курганах бумаг. Не заглянув в отчеты, в справки, в донесения, он не мог ответить ни на один вопрос. Он не знал в лицо ни одного раненого.

— Сколько у вас тяжелых, подлежащих эвакуации в тыл? Сколько легкораненых? Когда они могут вернуться в строй?

— Извольте, извольте, — почтительно отвечал начальник и суетливо переставлял карточки, погружаясь в подсчеты. В эти минуты его глаза, кажется, одухотворялись, а пальцы ловко отбрасывали костяшки: он подсчитывал на счетах тяжелораненых...

Возвращался Штернберг в Вятские Поляны с предельной торопливостью. Возница нахлестывал коня. Овраг, изрезанный дождевыми потоками, остался позади. Пренебрегая тряской, набрасывал в блокноте: срочно сменить начальника госпиталя; подобрать комиссара; запросить из Москвы и Вятки врачей-хирургов; наладить снабжение...

Перед глазами навязчиво возникал сухой, узкоплечий человечек с редкими, зализанными волосами на лысеющем черепе. Он так и не назвал фамилии. Служебная единица. Зачем ему фамилия, имя? А бумаги, скоросшиватели, карточки! Вырвалось:

— Бумажный червь! Да, да, бумажный червь!

Павел Карлович вспомнил недавнюю статью в «Правде» — «Как мы помогаем белогвардейцам». Как точно! Как метко — о тех, присосавшихся, сидящих под нашей вывеской, но не наших, чужих, чуждых... Значит, не только здесь, в глухом госпитале, появились эти насекомые?! Значит, плодятся... И как выживают они на сквозняках военной эпохи, когда огонь и голод, когда огромные силы сшибаются насмерть... И как разжиреют они в тепле, в сытости, в довольстве?..

Штернберг поежился. Дорога сползала в долину Вятки. Громче зацокали копыта, сверкнула полоса реки, и потянуло свежим ветром. Где-то далеко ухнула пушка. Шевельнулись, дрогнули уши резвой лошади, и шибче побежала она по влажному, петляющему по степи проселку.

## VI

Это было 1 октября. Утро выдалось хмурое и холодное. Арестованных подгоняли стражники, шпыняли прикладами, покрикивали:

— Не спи на ходу! На том свете огоспишься! А пу живеет!

Цепочкой подымались по дощатому трапу — понурые, безмолвные. В полусвете позднего утра арестованные казались призраками — многие были в кальсонах и рубахах. Одежду содрали с них еще в тюрьме.

Старая, побуревшая от времени баржа, подогнанная к причалу, разинула, как беззубый рот, один из люков. Люди исчезали в этом люке, он глотал их беззвучно, а на смену исчезнувшим шли все новые и новые.

— А-а-а! — вдруг раздался крик. Стражник в косматой бараньей папахе саданул прикладом очередную жертву. И снова все замерло, лишь однообразно шаркали башмаки.

Люди, раздираемые предчувствиями, понимали: баржа — в лучшем случае — плавучая тюрьма, скорее — плавающая могила.

В Сарануле, в тюрьме, они просидели несколько недель. После эсеровского мятежа загнали туда всех большевиков и сочувствующих большевикам. Сначала своих, местных. Потом стали прибывать из Ижевска и Воткинска. Начались расстрелы.

Первым увели председателя Саранульского укома Ивана Седельникова.

— Держитесь! — крикнул он в коридоре. Его густой, басовитый голос узнали многие. Послышался шум, удары. — Товарищи, дер...

Голос его оборвался. Сбитого с ног поволокли, матерясь, стражники.

Следующей ночью увели более тридцати. Потом еще тридцать шесть. А потом почти голых, в одном белье, повели всех... На баржу... Девятиаршинная глубина трюма, как гигантская яма, поглотила свыше семисот человек. Захлопнулись люки. Сверху придавили их тяжкими якорями. В сырой и стылой мгле расползлись люди.

Кто-то на дне трюма обнаружил кипы рогож, заготовленных для упаковки товаров и, очевидно, забытых. По-

луговые баржевики потянулись к рогожам, приспособлявая их вместо одежды. Рогожи грели плохо. Спасение было в одном — сгрудиться, согреть друг друга теплом собственных тел.

В крепких и толстых стенах трюма на носу светлело небольшое отверстие — единственный глазок во внешний мир. Анисимов, моряк, ходивший на судах, определил: вверх по Каме тащат, впереди — буксир.

Куда? Зачем? Ищут ли стражники место поглубже и поглубже, чтоб утопить, как слепых котят, беспомощных, запертых, безоружных?

Мунтян, молодой парень, поседевший на глазах товарищей, истерзанный побоями еще в тюрьме, надрывно, обреченно вдруг закричал: «Не хочу! Не могу!» — и стал стучаться в люк.

— Чего там! — рыкнули сверху. Послышалось, как, скребя по палубе, сдвигают громоздкий якорь.

— Параша!

Открыли люк. Пучок света упал в бездну трюма. Мунтян — худой, с горящими глазами, запеленутый в рыжую рогожу, перехваченную бечевкой, — плеснул из параша в физиономию ближайшего стражника, а сам прыгнул в Каму.

Его подстрелили, вытащили из воды и, бросив на палубу, растоптали сапогами. Липкие, кровавые пятна растеклись по палубе...

В отверстие на носу перестал проникать свет. Единственное око налилось чернотой. Наступила почь.

— Чем подышать так, лучше там, наверху, задушив хоть одного гада...

Это сказал Ефим Колчин, сарапульский рабочий, однажды уже похороненный. Как-то его завалило в шахте — Колчин добывал камень для шоссе для дороги, которую строило земство. Родня не чаяла увидеть Ефима, но товарищи откопали его.

— Чем так подыхать...— повторил Колчин и вздохнул.— Я готов...

Те, кто сидел рядом, кто знал его, кто и в крошечном мраке мог представить его жилистое, в крутых узлах мускулов тело, его цепкие, жесткие, крепкие руки, не сомневались: Колчин пойдет на все. Не спасует.

— Без оружия не взять их, покосят всех, как траву,— сказал старший из братьев Красноперовых. Их было трое. Похожие, как близнецы, обычно неразлучные, Красноперовы и здесь, перед смертным часом, оказались вместе.

— Значит, хана? Крышка? — спросил чей-то голос.— На наших надежды никакой?

— Пока земель не засыпали, надейся! — вставил Колчин.

— Кабы земель,— не унимался все тот же голос.— А то, как лягушки, забулькаем...

Утро обозначилось струйкой света, которая робко засочилась сквозь носовое отверстие.

— Мы в Гольянах,— сообщил Анисимов, приникший к отверстию.— Над берегом церковь, совсем белая, солдатня на берегу, костер, ведро на рогатине. Уху варят, пожалуй!

Наверху слышалась возня, грохот сдвинутого якоря, распахнулся люк.

— Эй, вы, пёлюди! — В люк заглянул мясистощекий, похожий на гуленя фельдфебель.— Жрите, да не обожритесь, это вам на двое суток!

И в люк полетели четвертьфунтовые пайки сырого, комковатого хлеба.

Что тут поднялось! Стоявшие под люком ловили хлеб и конвульсивно глотали его. Спазмы голода сводили горло. Кто-то уже хрипел. Те, кто оказался в стороне, бросались к люку, в полосы света, сбивая соседей. Из глубины отчаянно нажимали, пытаясь пробиться к центру.



— Сто-о-ой! — с невероятной яростью закричал Красноперов. — Сто-о-ой! Слушать меня!

Темная, клокочущая звериная власть инстинкта, движимая голодом и овладевшая толпой, словно натолкнулась на какое-то препятствие. На мгновение толпа замерла.

— Люди! — закричал Красноперов. — Люди! — он всю свою страсть и боль вложил в этот призыв. — Поделим хлеб поровну! От люка всем отойти!

Красноперову приходилось выступать в Сарапуле на Базарной площади перед большими массами людей. Выступал на собраниях, на митингах. Но такой силы его голос не обретал никогда. И толпа, готовая, как бочка с горы, покатиться, набирая скорость, неуправляемая, слепая и страшная, внезапно ощутила тормоза. Мгновение, вырванное Красноперовым у стихии, решило все. Ему вняли. А вняв, подчинились. Самых надежных поставили делить хлеб — Колчина и таких, как он...

В этот день на долю баржевиков выпало еще одно испытание, куда тяжелее и трагичнее первого. В полдень все ощутили сильный толчок — в борт баржи ткнулась какая-то посудина.

— Выходи! — скомандовал фельдфебель. — Отправляем в Ижевск, в тюрьму. Там отогреетесь.

Никто не шевельнулся.

— Выходи, говорят! — повторил фельдфебель, схватил за руку стоявшего у люка баржевика, стражники поддели его на штыки и бросили на палубу. Он кричал страшным криком, бился на шербатых досках, извиваясь и корчась.

Арестованные начали выходить. Шли как сквозь строй. Слева и справа, образуя коридор, стояли каратели и подгоняли прикладами. Унылая цепочка в нелепых рогожах тянулась на соседнюю баржу, исчезая в чреве такого же темного и сырого трюма.

Братьев Красноперовых фельдфебель остановил, подряд всем трем надвинул на глаза шапки и подряд три раза выстрелил. Кровь брызнула на мясистые щеки убийцы.

Цепочка баржевиков напряглась, метнулась назад. Петухов ухватился за стропила, закричал отчаянно, в голос: «Не пойду!», но его прикололи штыком. Остальных, дубася прикладами, погнали в соседнюю баржу.

Среди стражников расхаживал Кудряшов. К шапке его был приколот клочок белой материи — отличительный знак восставших белоэсеров. В Сарапуле он сидел в тюрьме, его переводили из камеры в камеру, он подслушивал разговоры и теперь, прицеливаясь взглядом то в одного, то в другого баржевика, что-то нашептывал фельдфебелю.

— Вот ты где, шкура! — закричал на Кудряшова один из арестованных. Кудряшов бросился к нему с клинком. Он бил его, тяжело дыша и остервенясь. Тупой клинок изодрал рубаху, набрякшую полосами кровоподтеков, ватек правый глаз, а из узкой щелки левого, как огонь, горели боль и ненависть.

Кто-то из стражников, не выдержав, подскочил и заколол лежащего штыком...

Кровавая вакханалия длилась несколько часов. Пришел, очевидно, новый приказ, и арестованных перегнали в старую баржу, в которой они плыли из Сарапула.

Снова наступил вечер. Снова в носовом отверстии погасла струйка света. Мрак сомкнулся.

В трюме глухо постанывали. Тела по-прежнему жались друг к другу. К ночи трюм выхолаживало все сильнее. Ослабленных людей тряс озноб. Ничем нельзя было остановить эту изматывающую, проклятую тряску.

— Околеем, — сказал кто-то равнодушно, смирясь, видно, с неотвратимым.

— Забыли нас,— добавил другой голос горько.

— Расскулились,— зло сказал Ефим Колчин, и соседи его, сидевшие плотно, тело к телу, ощутили, как под рогожей у Ефима напряглись мускулы.

По Каме прошел пароход — баржу качнуло. Голоса стихли. Только избитые то в одном, то в другом конце трюма продолжали постанывать. Воздух пропитался тошнотворным запахом запекшейся крови.

Наступила ночь.

В освобожденном Сарапуле жизнь бурлила, как никогда. Храпя и разбрызгивая бело-зеленую пену, проносились кони с посыльными; через город шли и шли батальоны, осененные кумачом; усталые бойцы задорно подмигивали встречным молодкам.

Кое-где еще дымились бревна сгоревших домов, кое-где зияли воронки, под ногами хрустело стеклянное крошево осколков. Опытный глаз Штернберга, знакомый с городским боем, подмечал следы пулеметных очередей и выбоин от снарядов на стенах церквей. Обычно их господствующее положение используют наблюдатели и пулеметчики, и, конечно, не случайно Азин приказал бить по колокольням.

Сколько же здесь церквей?! Большепокровская, Никольская... А если стать лицом к Каме, то по левую руку важно пыжится собор. Была в Сарапуле даже мечеть с глубоко надвинутым покатым куполом. Павел Карлович представил себе внутреннюю стену мечети, обращенную к Мекке. В ней непременно есть небольшая ниша — михраб, под которой возвышается кафедра для чтений Корана.

Больше всего позабавил Штернберга фанерный щит, приколоченный у входа в мечеть. Кто-то размашисто вывел: «Наша взяла! Не дадим белым уйти за Каму!»

Двуколка на мягких рессорах, реквизированная у кого-то из богатеев, легко катилась по мостовой, взметая облачко пыли. Штернберг был в хорошем расположении духа. Радовали встречи с добровольцами — они шли из Можгинской и Агрызской волостей, многие в лаптях, с котомками и мешками, русские, удмурты, башкиры.

Военных ободряло пополнение, а Штернберг видел в этом и иную, не менее важную сторону — крестьянин и здесь, в Прикамье, разобрался, кто даст ему землю и лучшую долю.

А на станции, где покрикивали маневровые паровозы, вытянулся длинный хвост эшелона, в который грузили рожь и зерно. На паровозе подрагивала широкая лента: «Подарок Красной Москве от Железной дивизии».

Павел Карлович выступил на нескольких митингах. Он рассказал, что в Москве — единственном городе России, насчитывающем более миллиона жителей, — хлеб продается по карточкам, но и по карточкам не всегда бывает.

— Так же как в бою нужны патроны, Москве нужен хлеб, — сказал Штернберг.

На призыв откликнулись. Первому эшелону предстояло доставить москвичам 20 900 пудов ржи...

Двуколка быстро приближалась к штабу. Над подъездом колыбался красный флаг, а на улице толпились жители Сарапула — родственники узников «баржи смерти». Они ждали известий о судьбе близких, надеялись: пришли наши — наши должны помочь.

О «барже смерти» Штернберг узнал еще в штабе армии. Ему показали перехваченную радиограмму. Сообщалось в ней и о том, что на помощь белым в Гольяны идут три корабля.

Баржа, как установили разведчики, стоит в Гольянах. От Сарапула тридцать пять верст. Допустим, не так-то

сложно пересечь фронт, но скрытно, без боя пробраться в Гольяны невозможно. Белых там много. Есть артиллерия, конница. Начнется стрельба — долго ли баржу пустить на дно или швырнуть в трюм связку гранат. Ни один узник не спасется...

Утром Штернберга обступили родственники узников. Они слышали — прибыл член Реввоенсовета, и хоть толком не знали, что это означает, однако сочетание слов «революция» и «совет» внушало надежду.

— Сделаем все, что в наших силах, — заверил Павел Карлович. — Большого обещать не могу...

Жена одного из узников коснулась его руки. Он почувствовал, как дрожат ее пальцы. Взглядом, полным отчаяния и боли, она заглядывала ему в глаза. И, прочитав в них обнадеживающую решимость, женщина, сказав «спасибо», отошла к толпе, понуро притихшей и расходившейся...

Люди, люди, как уберечь вас? Как спасти эту баржу, семьсот человек, самых надежных, самых преданных? Оставленный в Сарапуле комполка Головка — необузданно-горячий и напористый — рвался в Гольяны. Но трезвый расчет исключал действия конников или пехотинцев. Оставалась надежда на моряков — в Сарапул шли миноносцы Волжской военной флотилии.

— Поки солнце зийде, роса очи выисть, — сказал Головка, привыкший рассчитывать на клинок, предпочитавший журавлю в небе синицу в руках...

Едва двуколка остановилась у штаба, он выбежал навстречу Штернбергу. Улыбался во весь рот, обнажая большие, прокуренные зубы.

— Пришли, товарищ член Реввоенсовета, в столовой они, кормим!

В столовой сипел пузатый самовар, пахло паленым угольком. На тарелках желтели бутерброды — ломтики черного хлеба с голландским сыром. Моряки-командиры

один за другим подымались, представляясь Штернбергу. Фамилий он не запомнил, легче запоминались названия миноносцев — «Прыткий», «Прочный», «Ретивый». Среди командиров была одна женщина — вызывающе молодая, с зеленовато-серыми большими глазами, с удивительно правильными чертами лица, с темными звеньями собравших жгутом кос. Морской китель из плотного сукна оттенял ее женственность.

Заметив, что член Реввоенсовета удивлен, она представилась:

— Лариса Михайловна Рейснер, флаг-секретарь флотии.

Павел Карлович слышал от Гусева о подвигах двадцатитрехлетней женщины, дочери профессора, совершенных ею в боях за Казань. Сергей Иванович говорил:

— Кто не видел ее мужественной женственности, тот ничего не знает о красоте.

Это была правда. И Павел Карлович благодарно подумал, что нечасто природа бывает так царственно щедра. И, подумав об этом, сочувственно посмотрел на чубатого Головки, который хмурился и, борясь с самим собою, косился в сторону Ларисы Рейснер.

По сдержанной сосредоточенности флотских командиров Штернберг понял: все им известно о Гольянах, о «барже смерти». И конечно, они понимали: едва вышли из огня — и опять в полымя.

— Перед большим и решающим наступлением мы не имеем права рисковать боевыми кораблями, — сказал Павел Карлович.

Флотские командиры с выжидающим неодобрением подняли на него глаза.

— Мы не имеем права и оставить на растерзание наших людей, — продолжал Павел Карлович.

Поднялся старший из флотских командиров — круто-

плечий, с волевой складкой у рта, с проникательно-умными глазами. На лбу его чуть виднелась полоска, оставленная плотной фуражкой.

— Нельзя терять ни минуты, — твердо сказал старший. — Пожелайте нам успеха!..

## VII

Над вольным, неоглядно-широким разливом Камы появилось рыжее солнце. Узкие тела миноносцев скользят по реке. Быстрые буруны, идущие от бортов, покачивают на воде плоский солнечный диск. Берега отступили далеко-далеко, но бипокль мгновенно приближает сначала один — высокий, обнаживший желтизну глинистых обрывов — и второй — весь в покосах, в короткой щетине золотой стерни.

На повороте реки выбежали на крутой береговой откос две прямоствольные густые пихты, почти от земли и до макушки укутанные хвоей, сверху темной, ниже посветлее; выбежали и замерли, загляделись на раздолье реки, на цепочку миноносцев; вспыхнули на солнце одной своей стороной и скрылись за поворотом.

Впереди остров, он похож на большую зеленую рыбу, всплывшую посреди Камы. Река огибает его, как бы обнимает слева и справа.

Плывут миноносцы, длинные, остроносые, как щуки. Вспокоенно взметнулись над водой белые лебеди.

На «Прытком» в проворных и гибких руках сигнальщика заплясали флажки, то взлетая вверх, то скрещиваясь, то снова взлетая. Команду приняли на «Прочном» и «Ретивом», поползли вниз флаги.

Прощаясь с командирами, Штерибург рассказал о перехваченной радиোগрамме, о подкреплении, которое ждут в Гольянах. Решили: раз ждут — пусть дождутся,

белая флотилия адмирала Старка идет им на помощь...

Коренастый Георгиади — командир «Прыткого» — не отрывал бинокля от глаз.

В окуляры видны змеящиеся окопы. Значит, линию фронта прошли. Мелькнула деревенька с рыбацкими плоскодонками на берегу, показался солдатский бивак — в козлы составлены ружья, на плечах — погоны. Белые!

Комендоры сдернули брезентовые чехлы с орудий, притаились. «Прыткий», идущий в голове кильватерной колонны, сбавил ход, вахтенный начальник спросил в мегафон:

— Чьи люди? Кто тут старший?

— Я! — отозвался унтер, вытянулся, тараща глаза на миноносец, подчиняясь начальственному строгому голосу.

— Адмирал Старк приказывает прибыть на миноносец! — снова звучит в мегафон.

«Прыткий» стопорит машины. Унтер возится с лодкой, распутывая причальную цепь, возится больше, чем того требуют обстоятельства, и внезапно бросается в горловину прибрежного оврага.

Струя пулеметной очереди взбивает бурунчики земли. Георгиади командует:

— Полный вперед!

Спокойна река, спокойны ее берега, но громко стучат машины в стальном теле миноносцев.

Гольяны открылись с левого борта. Белокаменная церковь венчала высокий берег. Близ церкви темнела трехдюймовка, обратив свой ствол на Каму. На колокольне виднелся «максим». Все прибрежные склоны и песчаная отмель белели палатками, горели костры, солдаты отдыхали, куховарили, с ленивым любопытством и бесчестностью поглядывая на корабли.

Миноносцы, миновав пристани, развернулись. Бортовые орудия наведены на трехдюймовку, на колокольню, на солдатский лагерь.



Старая, побуревшая баржа — плавучая тюрьма — посреди реки. Она на якоре. Охранники — на палубе. Их внимание привлечено миноносцами.

У пристани неказистый буксир «Рассвет». Его чуть скошенная труба выбрасывает грязный дым.

У вахтенного начальника «Прыткого», недавно окончившего училище, отлично поставлен голос. Он усилен мегафоном: «Его превосходительство адмирал Старк приказал...» Все получают четкие указания: на барже вынуть якорь и на буксире следовать с арестованными в Уфу.

Кого-то из конвойных, кажется фельдфебеля, смущает, что в Сарануле красные: как, мол, пройдем Саранулу?

— Красные на рассвете бежали в Агрыз, — отвечают в мегафон. Стражники ликуют, выкрикивают приветствия.

«Рассвет» плавно подошел к барже, минута, вторая — буксирный конец перекинут, натянулся, как струна, баржа качнулась, поплыла...

Миноносцы вытянулись в кильватерную колопцу. На мостике «Прыткого» Георгиади утирает платком лоб. Тело корабля подрагивает, за кормой вскипают пенные буруны. А впереди далекие, бледные и неясные вечерние огни Саранула.

А потом была Базарная площадь над Камой, вместившая весь город. В колышущейся тесноте перемешались люди в бушлатах и шинелях, в пальто и куртках, люди в рогожах и в сером, почти черном белье. Их торопливо утепляли, накидывая поверх рогож платки и одеяла.

Гремел полковой оркестр, с трудом заглушавший возгласы, плач, всхлипы, крики радости и отчаяния.

Чубатый Головка обнимал коренастого Георгиади, а

Лариса Рейспер и Ефим Колчин вели под руки изможденного, похожего на скелет старика.

Семидесятипятилетний Шемякин, известный сарапульский рабочий, оказался самым старым на барже. Он поднялся на дощатую трибуну, тяжело дыша, кого-то разыскивая глазами и, очевидно, не находя. И когда смолкла, замерла, напряженно притаилась площадь, Шемякин пошевелил губами, попытался что-то сказать, но не сказал — спазм сдавил горло. И тогда он низко-низко поклонился людям и зарыдал, затрясся, как в ознобе, и в голос закричала чья-то мать или жена, и в горьком смятении опять зашвелились бушлаты и шинели, куртки и рогожи.

И уже в дороге, оставив далеко позади Сарапул, Штернберг неотступно слышал эти голоса, всхлипы и рыдания, а перед глазами стояла та самая женщина, которая утром перед штабом коспулась его руки, она стояла с отрешенно-измученным, полуживым стариком в рыжей рогоже и, глотая слезы и светясь счастьем, показывала рукой на него, на Павла Карловича.

Кони увозили его в Вятские Поляны. Пенсне почему-то запотело — все виделось как в тумане, в горле першило, а он думал о том, какой лютой, какой свирепой карой надо наказать тех, кто подымает бездушно-косматую лапу на жизнь человеческую...

## VIII

Берега Вятки лизнуло предзимье: заишевели прибрежные кусты, на мелководье появились корочки наледи, вода свинцово отяжелела. Пришли вести, что в верховьях, у города Вятки, река замерзла, и, опасаясь, что флотилию затрут льды, командарм приказал штабу перебраться с парохода на берег.

Реввоенсовет разместился в купеческом доме. Шорин

запаял гостиную, или залу, как выразился адъютант, и пригласил Штернберга и Гусева отужинать у него.

Зала не казалась просторной — была чрезмерно заставлена. Широченный буфет в полстены всем своим видом как бы говорил: вот я каков! Он грузно стоял на толстых дубовых ножках и вместил столько блюд и тарелок, чашек и чашечек, построенных по ранжиру белых слоников, словно собрал все это по всей России. Миниатюрную игрушечность слоников подчеркивала большая, в натуральную величину фаянсовая кошка, желтая-желтая, будто выкупанная в яичном желтке.

Указав на рояль, Шорин тихо, мягко, в несвойственной ему манере сказал:

— Была бы Аннушка — чего-нибудь сыграла...

Он, видно, гордился дочерью, тем, что она играет.

— Что ж, можно и сыграть. — Гусев сел к роялю, пальцы коснулись клавиш, и негромко, вполсилы, хорошо поставленным голосом запел:

Не пой, красавица, при мне  
Ты песен Грузии печальной:  
Напоминают мне оне  
Другую жизнь и берег дальний.

Пальцы Сергея Ивановича уходили влево, и весь он клонился влево, потом плавно клонился вправо, словно волны мелодии его раскачивали.

Хорошо пел Сергей Иванович! Очень хорошо! Подобреши, подернулись грустью глаза Шорина. Штернберг не заметил, что, пока играл Гусев, двигались его тонкие пальцы, будто и они касались клавиш.

Как они музицировали с Федором Александровичем Бредихиным! Как упоенно Федор Александрович водил смычком, а он аккомпанировал, аккомпанировал, и это длилось часами...

Но Гусев, Гусев — вот сюрприз! Павел Карлович не знал, что его коллега, как и он, с детства отличался незаурядной музыкальностью, что когда-то в бытность студентом, в Петербурге, в Мариинском театре, он покорила знаменитого Фигнера, исполнявшего партию Германна в «Пиковой даме».

Когда дали занавес и Фигнер, выйдя на авансцену, почтительно раскланивался, Сергей Иванович с галерки пропел несколько фраз из арии Германна. Голос прозвучал так свежо, мощно и впечатляюще, что заставил самого Фигнера разыскивать неведомого певца...

Гусев доиграл романс. В воздухе еще дрожали отголоски мелодии, растворилось, но еще слышалось пропущенное светлой грустью «напоминают мне они другую жизнь и берег дальний», а он откинулся к спинке кресла, спросил:

— Чья это божественная музыка, дорогой Павел Карлович?

Губы Штернберга чуть дрогнули в доброй усмешке: — Я тоже люблю Глинку, дорогой Сергей Иванович.

Гусев кивнул, склонился к роялю, лицо его стало серьезным, строгим, и комната наполнилась звуками, исполненными соборной торжественности.

Уже не задавая вопроса, Сергей Иванович снова откинулся в кресле и вопросительно посмотрел на Штернберга. Павел Карлович «принял игру»:

— Узнаю великого кантора, родившегося ровно за сто восемьдесят лет до моего рождения в тюрингском городе Эйзенахе. Если вам этого мало, — с улыбкой добавил Штернберг, — то фамилия этого гения в числе самых коротких — она состоит из трех букв.

Шорин с напряженным интересом наблюдал за «игрой» двух своих соратников. Последнюю неделю они мотались по армии, он оставался в штабе и чувствовал, как порой не хватает их и как неожиданно, по-новому

раскрываются они всякий раз, эти комиссары, певедомо где и когда набравшиеся всего, чем жлв человек.

Между тем «поединок» продолжался. Пальцы Гусева опять плыли по клавишам.

— Ну как вам?

Гусев уже не спрашивал, чья музыка.

— Эта опера — чудо, вершина, — Павел Карлович воздел обе руки к потолку, — но название — «Жизнь за царя» — он конфузливо повел плечами — не по мне...

— Все это так, — как бы согласился Сергей Иванович, — однако ж вы знаете, что название Глипке навязал государь.

— Название навязал государь, — подтвердил Штернберг, — а приятели посоветовали оперу посвятить Николаю I. Тоже, конечно, навязали.

— Ладно вам, — буркнул Гусев. — Это был компромисс. Иначе это гениальное создание не услышала бы публика. Вы отрицаете компромиссы?

Павел Карлович, помолчав, глухо выдавил:

— Наверное, будь я автором этой оперы, публика при моей жизни ее не услышала б...

— Хватит вам воевать, — нарочито-строго сказал Шорин. — Прошу к столу.

На столе в огромной горячей сковороде подрагивала и вздыхала круглая, как луна, яичница.

Шорин налил в большие купеческие бокалы первача:

— Посошок на дорогу. Дня через два Сергей Иванович будет в Кремле...

Все задумались о насущном, о главном, о том, чем жили.

Хотя была среда, во 2-й армии справляли первое за два месяца воскресенье.

Бокалы сдвинулись, звеня негромко и немного торжественно.

Над полями курилась утренняя дымка, над водой подымался пар, нависал пухлым облаком. Воздух был теплее земли. Ночные заморозки обжигали траву.

Деревня Юкси, окутанная белесоватым туманом, еще спала. Ветер теснил туман, отгоняя его в лизины, к оврагу, и в просветах словно всплывали деревья, избы, желтая полоса деревенской улицы. В сладкое забытие рассветного сна все чаще врывался порывистый топот копыт.

В просторной избе — самой просторной в деревне Юкси, четырьмя окнами выходившей на улицу, — замигали керосиновые лампы. Привязанные к изгороди, перемипались еще не остывшие после быстрого бега оседланные кони.

Командиры, входившие в избу, пахли сыромютными ремнями, крепким табаком, степным ветром.

Едва все расселись, штабники приколотили к стене карту Ижевско-Воткинского района. Самодельная, склеенная из больших белых листов, она заняла всю стену. Жирные стрелы от Чепанихи, от Девятова, от Ожмоса, от Лудзи Норьи, от Акшур Бадьи были нацелены на Ижевск.

Командиры и комиссары, созванные на расширенное заседание Реввоенсовета, находили на карте номера своих полков и молчаливо прикидывали, кто будет слева, кто справа, какие рубежи придется брать.

Два дня назад в полки пришел приказ комапдарма:

«Доблестные героические войска Второй армии! Перед вами Ижевск. Последний оплот белогвардейщины и прочей сволочи Камского района.

Я отдал приказ перейти в решительное наступление. Так идите и возьмите его...»

«Идите и возьмите его» — эти слова врезались в сознание.

2 октября восемнадцатого года Ижевский завод был упомянут в недвусмысленно-требовательной телеграмме Главкому Вацетису, подписанной Владимиром Ильичем:

«Крайне удивлены и обеспокоены замедлением с взятием Ижевского и Воткинского. Просим принять самые энергичные меры к ускорению. Телеграфируйте, что именно предприняли».

В эту же пору, по расчетам Шорина и Штернберга, в Москве, у Ленина, должен был появиться Гусев и рассказать о неотложных нуждах армии. И, видимо, он появился. Положение сразу изменилось, словно в плотине, перекрывшей реку, открыли шлюзы. Из Москвы, из штаба фронта, пришли вести: во 2-ю армию срочно направляются подкрепления. И сегодня, накануне штурма Ижевска, пополнив свои дивизии, Реввоенсовет решил ознакомить командиров с планом операции и с силами белых.

1-я линия обороны — окопы полного профиля и проволочные заграждения.

2-я линия обороны — несколько рядов окопов полного профиля. Соединенные ходами сообщения, прикрытые пятью-шестью колючими проволочными заслонами, усиленные опорными пунктами, они образовали прочный узел сопротивления.

Блиндажи в четыре паката, утепленные землянки позволяют солдатам надежно укрываться от артиллерийского огня и обогреться.

Подступы к окопам пристреляны из пулеметов и орудий.

3-я полоса обороны, подступавшая почти вплотную к степам города, — траншеи, вырытые на самых прорывоопасных направлениях.

Павел Карлович наблюдал за сидящими. Командир кавполка Турчанинов чуть ссутулился и стал похож на большую птицу. Как всегда в минуту трудных раздумий,

он опустил руку на рукоять сабли, что-то обмозговывая; Алексей Северихин, командир 3-го сводного полка, перешептывался со своим комиссаром Ильей Аронштамом. Павлу Карловичу нравилось, что между ними постоянный контакт, всегда они вместе и решают все вместе, дополняя друг друга. Северихин — медлительный, суровый, Аронштам — быстрый, живой, мягкий. Очень разные, они сошлись. У Алексея Ивановича — участника брусилковского прорыва, кадрового военного, видимо, фортификационные укрепления белых не вызвали такой озадаченности, как у других, впервые с ними столкнувшихся, и он оживленно шептал что-то комиссару.

Взгляд Штериберга скользнул по лицам нескольких командиров-новичков. Они прибыли с пополнением, он и фамилий всех не запомнил, лишь на одном глаза его задержались — был он тонок и сух, как жердь, с удлинённым большим лицом. Собственно, не внешность привлекла Штериберга — он запомнил, как новичок, посланный в Москву на военную переподготовку и вырвавшийся оттуда, говорил об ученье: «На кой ляд мне вся эта премудрость с греческим катапультom, когда надо драться с белой сволочью».

Вроде бы хорошее чувство вело этого сухопарого рубаку из учебных классов на фронт, но высокомерное пренебрежение к ученью тревожно кольнуло сознание.

«Ишь лихач, — качнул головой Павел Карлович, подумав: «Не укоренился бы этот метод — препятствия брать наскоком, на ура, не постигать всю сумму явлений, не распутывать узлы, а разрубать их по живому, действовать по принципу: «Эх, взяли!»

Рой мыслей пронёсся в голове Павла Карловича, прежде чем он остановил свой взгляд на Александре Чевереве, командире 4-го сводного полка. За Чеверевым он наблюдал обычно с особым интересом. Его круглое лицо, всегда доверчиво открытое, мгновенно отражало все ду-



шевные движения: гнев и радость, раздумья и сомнения. Непредсказуемы были только его порывы. Малейшая несправедливость вызывала в нем неудержимую ярость: как расвирепевший орел, бросался он на обидчика, подлца, негодая.

Еще подростком Чеверев попал в тюрьму, сильно помяв полицейского, который избивал бурлака; у себя в полку, ни секунды не колеблясь, он расстрелял конюха, изнасиловавшего девушку.

И еще одно отличительное качество было у Чеверева — удивительное чутье, редкая интуиция. Штернберг называл это качество «душевым барометром».

Павел Карлович видел по лицам: нелегко на душе у командиров полков. Невесело помалкивают, ждут: кто первым обратится с вопросами к командарму? Чевереву тоже неясно, как пройдет его полк вражескую оборону, шквал кинжального огня, густые ряды проволоочной щетины. Но большие, синие чеверевские глаза, поглядывающие на Шорина, как всегда мрачноватого и замкнутого, как бы говорят: чего супишь брови, ведь сейчас сам все объяснишь и укажешь.

Природная сметка не обманула Чеверева. Командарм медленно, словно преодолевая тяжесть, взваленную на его плечи войной, поднялся, строго оглядел сидящих, сказал:

— Оборона у белых серьезная. Численно противник нас превосходит. Все ли я взвесил, отдавая приказ о штурме Ижевска?

Шорин помолчал, продолжая спрашивать глазами: ну, кто ответит? Однако, никто не ответил. Ответа ждали от него.

— Да, я взвесил все. План мой таков.

Штернберг поймал себя на мысли, что сухая, сжатая, без единого лишнего слова, без восклицаний, без эпитетов речь командарма очень впечатляет.

«План мой таков» — три слова, ничем не усиленных, но каждое, как гвоздь, вколоченный по самую шляпку, входит в сознание.

Шорин объяснил, как должна разворачиваться операция по штурму Ижевска.

— Вятская дивизия и отряды особого назначения наступают с севера. Туда же переброшены два новых полка. Это создает у противника впечатление, что главный удар — с севера. Разведка подтверждает: рыбка клюнула приманку. Основные силы белых стягиваются на север.

Командарм взял со стола указку, ткнул в ту часть карты, где чернели стрелы, нацеленные на Ижевск, властно произнес:

— А главный удар будет с юга!

Потом он рассказал о десанте, который высадит Волжская военная флотилия в Гольянах. Этот десант, совершив ночной марш-бросок, перережет дорогу, соединяющую Воткинск с Ижевском. Воткинская группа белых окажется запертой, изолированной.

Военная хитрость даст 2-й армии численное превосходство над противником, возможность бить его по частям...

В просторной избе погасили керосиновые лампы. За окнами серело утро. Туман поредел, отступил, спустился в овраги. Застоявшиеся кони, прняив на спину седоков, закусив удила, с топотом понеслись по длинной улице к околице, к проселку, убегающему в молочную мглу степного простора.

Зароился последний день перед штурмом Ижевска.

## X

Небо с вечера затянуло тучами, темными и тяжелыми, а ночь навалилась своей густой чернотой на землю, придавила ее, тревожно-притихшую, настороженную.

Земля еще дышала дневным боем, не рассеивался устойчивый запах жженого пороха, где-то поблизости, наверное в воронке, тлела сырая шинель убитого — оттуда тянуло горелым.

За день наступления дивизия Азина выбила белых из первой полосы обороны. Дух в войсках был отличный, это Штернберг ощутил на митинге, когда на его призыв: «Даешь Ижевск!» — взметнулся вверх и заколыхался лес ружей. В эту секунду стрелки часов показали шесть — заговорила артиллерия. За час артподготовки снаряды разметали частоколы колючей проволоки. Едва дым осел, пехотницы бросились к окопам. Борьба завязалась упорная, с атаками и контратаками, но к вечеру, нещадно теснимые, белые отошли на вторую линию обороны.

Пока все шло по плану, однако по обе стороны незримого, укрытого почным мраком фронта затаилось предчувствие неотвратимо близкого завтрашнего боя, более трудного и кровавого, чем отгремевший.

У противника — Штернберг хорошо видел в свою зрительную трубу — над землянками и блиндажами суетливо металась пскры. Белые грелись, очевидно, у раскаленных железных печек. Иногда всполошенная стрельба разрывала тишину — не выдерживали нервы ночного охранения, которому мерещились наступающие.

В нашем стае тоже не спали. Допымал холод — ноябрьские заморозки колюче щипали. Кое-кто умудрялся, конечно, дремать сидя, притулясь к холодному глинистому срезу траншеи. Другие, набросав веток и разведя на дне воронки скупой костерок, грели руки, толковали о том, о сем, отгоняя навязчивые предчувствия завтрашнего боя.

— Землицу у помещика отщипнули, чернозем — хоть на хлеб мажь, покопчить бы к весне и...

— К весне, — хмыкнул сосед. — Ты до обеда завтра

доживи. А то отщипнут тебе землицы три аршина, и вся песня.

— Не трави мужичью душу тремя аршинами,— вмешался третий.— Вот скажи им, Колчин, где мы побывали! На дне могилы валялись, в барже смерти гноили нас, а мы вот, видишь, в ад не спешим. наших мучителей, чтоб не смердели, завтра в Ижевске сами землей присыплем.

— Ладно, поживем — увидим,— примирительно сказал тот, грозивший тремя аршинами, и выгреб штыком из золы картофелину, одетую в черпую корочку.— На, поваляй во рту...

В окопах, о чем бы ни говорили, все вертелось вокруг одного: жизни и смерти, а жизнь и смерть зависели от завтрашнего боя.

Дойдя до изгиба траншеи, Павел Карлович задержался: в окопе толковали о звездах.

— Ишь, прожгли темень, заморгали.

— Им что — они вечны. Не первый век моргают, не последний.

— Ничего, еще и пам поморгают.

— Звезды высоко,— вздохнул кто-то.— А смерть недалеко...

Павел Карлович, слушая солдат, поймал себя на мысли, что где-то читал о войне, о жизни и смерти и о небе, которое увидел герой, тяжело раненный, упавший на землю. В те минуты он видел только небо — огромное, бесконечное, с плывущими облаками.

Видно, в роковые минуты человек невольно обращается к нетленному, вечному, к тому, что было до и будет после нас.

Где же это он читал? И вмиг вспомнил и удивился своей забывчивости: да ведь это князь Андрей, да, да, князь Андрей под небом Аустерлица...

И Штернберг опять небыстро зашагал вдоль глубоких

воронок с догорающими поленьями, вдоль окопов, в которых бессонно шевелились и лениво переговаривались солдаты. Обрывки случайных разговоров почему-то западали в душу, перемешивались со своим, пережитым в эту ночь, долгую, как вечность.

Спать не хотелось — бодрил холод, будоражили людские голоса, неотступные и неизбывные заботы. Временами он останавливался и глядел на позиции белых, потом оборачивался и видел далеко в тылу, километрах в пяти-шести отсюда, багряные всполохи огней, разгонявших темень. Солдаты, не понимая, что там в тылу полыхает, высказывали догадки: небось банда какая-нибудь деревню подожгла... Может, скирды горят... А Павел Карлович смотрел и радовался этим огням.

Часа три назад он отыскал инженера Белоцерковца и удивился, что железнодорожная рота на отдыхе. Мосты белыми взорваны. Это исключало участие бронепоезда в штурме Ижевска.

— Почему не восстанавливаете мосты? — спросил Штернберг.

Белоцерковец был бледен, изможден, доведен до той степени усталости, когда все уже трын-трава. Он виновато протянул:

— Азин тоже об этом...

И передал Штернбергу записку от Азина:

«Инженерам Белоцерковцу и Моисееву. Из-за вас, друзья, остановка. Когда мост будет готов? Немедленно исправляйте. Жду срочно готовности мостов. Азин».

— Люди не совы, в темноте не видят, — развел руками Белоцерковец.

— «Люди не совы», — жестко сказал Штернберг. — Срочно подымайте людей, разводите костры — света хватит, бревна не иголки в стогу. К утру нужен мост!..

И теперь, оглядываясь на багряные отсветы в тылу, он

почти не сомневался, что мост будет, что орудия бронепоезда загрохочут в самую пору...

После железнодорожников Павел Карлович побывал в полку у Чеверева. Разговор был важный, о деле, в, как-жестя, говорили не зря...

Вчера, когда сгустились сумерки и бой почти угас, к Штернбергу привели задержанного — то ли церебежчика, то ли лазутчика. Павел Карлович приказал штабистам направлять к нему всех, кто что-либо знает о положении в Ижевске.

Задержанный оказался рабочим. Белые «расчищали» город. Уводили арестованных на окраину, к болоту, прикалывали штыками и сбрасывали в глубокую яму. Он рассказал:

— Очнулся я, еще не понимаю, что живой. Увидел рядом кого-то — рот открыт, голова запрокинута, вижу — мертвец, а рука дергается. Конвульсии, что ли. И страх, да что страх — ужас обуял, меня как кипятком окатили. Пополз из ямы. Выполз. А куда подашься? Не добила, так добьют. Чуют свой конец — совсем озверели. Решил к вам, по болоту...

— Болото непроходимо, — вырвалось у Штернберга. Пленные не раз говорили ему, что со стороны болота — ни войск, ни укреплений. Там не пройти и так.

— Известно, по нему не ходят, дороги есть. А мы в детстве на спор ходили. По центру — до пояса, где по грудь...

С этим рассказом и пришел Павел Карлович к Чевереву. Правый фланг 4-го сводного полка упирался в болото.

Чеверев слушал очень внимательно, потом склонился над картой, вздохнул чуб, что-то прикидывая, и вдруг широко заулыбался, на круглых щеках заиграли ямочки, по-юношески чистая непосредственность выплеснулась бурно и восторженно:

— Ой, ладно, ой, складно! И черт нам теперь не брат! Ходят люди, и мы пройдем! А го душа пыла — сколько б ребят на поганой этой проволоке осталось! А что вода стылая — стершим, не сахарные, не растаем...

Окопы змеились, ходы сообщения уводили все дальше. У белых опять захлопали выстрелы.

«Нервничают», — отметил про себя Штернберг.

До рассвета он решил добраться до Малой Венья, где разместились штаб Северихина, и с его полком вступить в Ижевск. 3-му сводному поручили первым прорваться к оружейному заводу и предотвратить возможные диверсии...

Ноябрьская ночь, густая и вязкая, как плотный полог, накрыла землю. Чем ближе было к рассвету, тем упорнее заползала в окопы апобкая стынь. Солдаты не спали. Тлели светлячки сигарок, не смолкали приглушенные разговоры. Все ждали утра. Липшь костры, не дожив до рассвета, почти погасли, и если вспыхивали под порывами ветра мертвым светом, то ненадолго, как бы прощаясь, заволакиваемые пеленою серого непла.

Это было неожиданно, нереально, немыслимо — в окопах от Кирхнерова до Гондырева слышали музыку. Звучки духового оркестра, приглушенные расстоянием, долетали, едва слышимые, словно струились с небесной высоты или из-под земли. Было что-то зловеще-тревожащее в этих звуках, потому что возникли они к концу артподготовки, когда дым и пыль еще не осели, когда лопались в стане белых последние снаряды.

Штернберг оттянул выдвижную трубку и навел конус зрительной трубы в сторону Ижевска, навел и не поверил своим глазам: с пологого холма, сохраняя образцовое равнение, спускался духовой оркестр, очевидно сводный, — столько сверкало труб! Ударник, до подбородка скрытый

огромным барабаном, отчаянно взмахивал рукой. Десятикратное увеличение позволяло разглядеть даже лица оркестрантов, идущих как на парад.

Алексей Северихин и Илья Аронштам нервно переменились рядом со Штерибергом, а он комментировал увиденное:

— Да что же это?! Офицерские роты, безупречный строй, белые перчатки, ритмичное колыхание рук!

С минуты на минуту в окопах ждали сигнала к атаке. Артиллерия смолкла, пыль ночи осела, провололочные заграждения словно унесло осколочным ураганом. Но сигнала к атаке не было. Вероятно, и там, на командном пункте дивизии, произошла заминка.

Наконец вдоль окопов на бешеной скорости, припоровив коня, пронесся штабной посыльный. Чуть свесиваясь на бок, он громко выкрикивал одно и то же:

— Без приказа не стрелять! Подпустить поближе! Без приказа не стрелять!

Взмыленный конь храпел, посыльный, наверное, сорвал голос или умчался слишком далеко, чтобы его слышать. А по полю, из конца в конец едва обозримому, двигались густые и темные прямоугольники вражьих колонн.

Вот над ними взметнулось сероватое облачко шрапнели, вот ахнули пушки и фонтаны земли выросли посреди колонн. Черные гривы разрывов скрыли навсегда погребенных. Штериберг лихорадочно водил трубой, но так и не нашел ударника с огромным барабаном, не видел и трупов — ряды сомкнулись, и по-прежнему раздражающе четко отбивал шаг офицер с пышными полукружиями усов и двумя крестами на груди.

Колонны сплошной стеной падали на окопы. Стало ясно: орудия не успеют дать более двух-трех залпов — и белые приблизятся к окопам.



Звуки оркестра доносились все четче и громче — опьяняющие, гипнотизирующие, парализующие психику. Порой их заглушали разрывы, мелодия обрывалась, но опять и опять оживала, нарастая и страша своей неуязвимостью. В такт ей зловеще правильно взлетали и твердо ударили в землю тысячи вражеских ног.

Штерибург вдруг почувствовал нечто похожее на головокружение. Внутри что-то за холодило, будто он проглотил ледышку или комок снега. И в это же мгновение его пронзила мысль — привычная, давно ставшая неотъемлемой частью его существа: а как они, эти люди в окопах, доверенные ему, подвластные его воле? И, словно разорвав пути, стянувшие обе ноги, он боком, боком стал пробираться по окопу, грудью, руками касаясь застывших у бруствера, прикипевших к винтовкам солдат. Он, как заведенный, повторял слова: «Спокойно, товарищ, надо выждать, спокойно, спокойно». Он ощутил напряженные спины, он видел окаменевшие лица, он всей кожей понимал это ожидание, похожее на ожидание пули, загнутой в ствол.

Один рыжеусый солдат в ответ на его «спокойно» обернулся и благодарно кивнул — слова застряли у него в горле, другой истово принялся молиться. За спиной кто-то вскрикнул и смолк. Только топот белых колонн не смолкал и надвигался. Без зрительной трубы Штерибург не различал лиц, они смутно сливались в одно движущееся пятно, хотя ему казалось, что тот пышноусый офицер с крестами по-прежнему скидывает ноги.

Дойдя до края окопа и повернув назад, Штерибург с удивлением увидел: над окопами вдоль бруствера, обращенного к врагу, медленно идет человек. Приблизясь, он узнал комиссара полка Илью Арошштама, маленького, смуглого, в очках. Он ободряюще скидывал руку, что-то крича, неестественно улыбаясь. Но люди видели его над окопом, и это было невероятно важно.

Наконец, как порывистый ветер, пронеслась команда: «Огонь!» Солдаты вздрогнули. Живительная судорога шевельнула неподвижных, оцепеневших. Ведь самое трудное, самое страшное — бездействие...

Белые падали под пулями, но ряды смыкались, гремели медные тарелки оркестра, офицеры с винтовками наперевес бегом бросились к окопам. Ветром, яростью, накалом боя сдуло с их лиц бесстрашие манекенов, они таращили глаза, бугрили желваки, пытались перекрыть грохот.

На бруствер вскочил, вскинув маузер, Алексей Северихин. Вряд ли слышали бойцы своего комполка, но наверняка поняли и, словно подброшенные неведомой силой, рванулись из окопов навстречу белым. Они хлынули, как лава из кратера вулкана, подхлестнутые свирепой тяжестью ожидания, запекшейся ненавистью и враждой. А на правом фланге, будто из земли, возник шачдив Азин, перехваченный красным кушаком — своим опознавательным знаком в сражении. Все узнали его кожаную куртку, его белую каракулевую шапку, его легкую, брошенную вперед фигуру, словно созданную для боя.

На безбрежном поле от Кирхнерова до Гондырева завязался беспримерный — не на живот, а на смерть — рукопашный бой.

В сражении за Ижевск 7 ноября 1918 года чаши весов опасно колебались.

2-й Мусульманский полк прибыл в армию в канун наступления. В шесть утра началась артиподготовка. Реввоенсовет получил тревожащие сведения — по пути к фронту из полка дезертировали десятки бойцов. Спешка, вынужденная и неотвратимая, лишила командование возможности расследовать причины массового дезертирства,

изучить положение в полку. И это едва не сказалось роковым образом.

Обстрелянный из лесу белыми, 2-й Мусульманский, бросив винтовки, пулеметы и орудия, в панике разбежался. Фланг оголился.

Последствия были бы катастрофическими, если б не действия командарма, умудренного опытом двух войн. Еще перед наступлением, преодолев скрытое сопротивление командиров полков, у которых каждый боец был на учете, он создал резерв в армии. В критическую минуту резервные батальоны закрыли брешь, созданную 2-м Мусульманским...

Не прорвалась к Ижевску и многотысячная колонна белых из Воткинска. Десант, высаженный в Гольянах, ночным форсированным маршем прошел к деревне Динтем-Чабы и устроил на дороге засаду. Колонна, полагая, что она в глубоком тылу, беспечно двигалась навстречу своей гибели. Шквальный огонь уложил белогвардейцев в открытой степи, а штыковая атака моряков и пехотинцев завершила дело...

Самая кровавая сеча разыгралась между Кирхнеровым и Гондыревым. Рукопашный длился без малого два часа. Огромное поле превратилось в долину смерти.

Когда-то Штернберг видел картину: лежат убитые, поверженные, смешались кони, люди, кружат в предчувствии пира жирные вороны... Но жизнь сильнее искусства.

Страшны и нелепы позы убитых. Трубач, опрокинутый на спину, держит во рту медный мундштук прорывленной осколками трубы. Мертвец скрючился в последней агонии. В его открытых, застеклевенных глазах застыл ужас надвинувшейся смерти. Он был еще живой, когда она, холодея и парализуя, заглянула в его глаза...

Вот офицер, брошенный навзничь. На нем — солдат, сжавший на горле клещи-пальцы. Кто-то, видимо, выст-

релил солдату в спину, и оба опи, словно обнявшись, на земле...

Еще не смолкли стоны в долине смерти, еще несет горелым и жженым от израненной земли, еще ошалело носится обезумевший конь, волоча по полю тело офицера, не выдернувшего из стремени ногу, а полк Северихина ворвался в Ижевск. Штернберг тяжело дышит; не сорваться бы, сердце бешено колотится. С ним — комполка и комиссар. Аронштам коротконог, поспевает с трудом, Северихин — крупный и плотный — весь в испарине.

Штернберг, словно всю жизнь жил в Ижевске, ведет проходными дворами, кратчайшими переходами — у него план, составленный им самим. Скорее, скорее! Надо спасти оружейный завод, предотвратить взрывы, диверсии.

А на вокзал по новому мосту уже ворвался, изрыгая огонь, бронепоезд «Свободная Россия». На путях, как черное чудовище, выставил покореженные бока опрокинутый паровоз. Фырча, он выбрасывает пар, и заклиненный истеричный гудок гудит не смолкая.

Полк Чеверева вышел к пустынной, незащищенной части города по болоту. В ледяной ноябрьской воде судороги сводили ноги, немели руки, схватывало дыхание. Люди, как лешие, вырвались на сушу. Никто и ничто не могло сдержать напор болотных солдат!

Дело венчали конники Турчанинова. С тачанок хлестали свинцом перегретые пулеметы — в кожухах кипела вода. Всадники рассыпались по узким коридорам улиц, спеша к плотине, к тюрьмам, к водокачке, к арсеналу...

Бой в городе угасал. Отстреливались фанатики-офицеры, для которых плен был страшнее смерти.

Штернберг с группой уцелевших рабочих обходил цеха оружейного завода. Молчали станки. Пугающая немота царила вокруг. В закопченные окна струился скудный свет приближающегося вечера.

— Когда вы сможете дать стране винтовки? — спросил Павел Карлович пожилого рабочего с прокуренными усами, с выпирающими скулами худого, обтянутого кожей лица.

— А людей дадите?

— Полтыщи арестованных рабочих спасены, — ответил Штернберг. — Дадим на время мастеровых из армии.

Рабочий сощурил глаза, потер щеку рукой — большой, волосатой, с отметинами вьезшегося металла. Несколько минут он молча прикидывал и ответил:

— Если работать днем и ночью, нужна неделя...

В это же время командарм-2 вызвал к себе штабного телеграфиста. На лист бумаги легли угловатые, твердо выведенные слова:

«ЭКСТРЕННО.  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ  
КОМИССАРОВ  
ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

Доблестные войска 2-й армии шлют горячее поздравление с великим праздником и подносят город Ижевск. Сего числа в 19 часов 40 минут город Ижевск взят штурмом.

Командующий 2-й армии *Шорин*,  
политкомы *Гусев, Штернберг»*.

Когда-то в детстве отец, рассказывая о своих товарищах по оружию, поведал мне историю одного пограничника, погибшего в бою.

Отец участвовал в первой мировой войне, штурмовал Зимний, бил барона Врангеля в гражданскую, десять лет служил на границе. Конечно, он немало повидал и немало испытал. Но почему-то его рассказ о смерти пограничника, получившего одиннадцать ранений и не оставившего свой пост, особенно врезался мне в память. Я не помню ни имени, ни фамилии бойца, ни даже года, когда это произошло, но помню, что упал он лицом вперед, на свою винтовку, в которой не осталось ни одного патрона, и правой рукою в предсмертных судорогах сжал пучок зеленой травы.

— Вот видишь,— сказал отец,— важно, как человек жил, и очень важно, как он закончил свою жизнь.

Тогда по малолетству я не придавал значения этим словам, они будто и позабылись, растворились во времени, и лишь спустя десятилетия возвратились ко мне, полные значения и смысла.

В ту пору я прошел, проплыл, проехал по маршрутам жизни Павла Карловича Штернберга. Мне казалось, что повесть о нем логически завершается октябрём семнадца-

того года: сбылась его мечта, свершилось то, к чему он стремился, чему служил, не жалея себя.

Я привык к этой мысли, да и сейчас она кажется мне справедливой, но подспудно, помимо моей воли родилось не утолимое никакими уговорами разума желание прикоснуться к последним неделям жизни этого большого и сильного человека. Я выехал в Омск. Иртыш, скованный панцирем льда, заснул до весны. По руслу реки, как по гигантскому коридору, проносился шквал ветра.

Укутанные в полушубки, пританцовывали на морозе энтузиасты подледного лова рыбы. Один из них выдернул рыбку на поверхность. Она, отчаянно изгибаясь, заплясала на льду и буквально на глазах плюхнулась у ног рыбака, намертво схваченная морозом.

В Сибири стоял ноябрь, тот самый месяц, что и тогда, в 1919-м, когда войска командарма Тухачевского на плечах бегущих колчаковцев ворвались в Омск.

К командарму спешил член Реввоенсовета фронта Павел Карлович Штернберг. Мост через Иртыш был взорван, лед искромсан снарядами, темнел полыньями.

Омичи показали мне прибрежный откос недалеко от моста:

— Здесь они переправлялись.

— Решаю, проскочим с большого хода, — рассказал шофер Иван Кудрявцев, который вез Павла Карловича. — Но у самого берега машина провалилась под лед, хорошо еще неглубоко. Кстати сказать, мороз двадцать шесть градусов. Стоим по пояс в ледяной воде, лезем на берег, не за что ухватиться. Нас трое — Штернберг, я и Андреев, второй шофер.

Кудрявцев и Андреев — молодые, крепкие — перенесли «купание» в Иртыше без серьезных последствий. Павла Карловича увезли в госпиталь. Пока снимали с него колюче-хрустящую обледенелую одежду, пока растирали тело и готовили горячую ванну, он, быть может,

вспоминал летнее обострение туберкулеза, боли в сердце и лечение в Ильинском, в подмосковном санатории, куда уехал по настоятельному требованию Реввоенсовета Республики. Вот что написал о его тогдашнем состоянии Климент Аркадьевич Тимирязев:

«...Я вошел в комнату, он сделал попытку присесть на постели, но когда я напомнил ему требования врачей — опустился на подушки. Мне и теперь, стоит закрыть глаза, чтобы вызвать это последнее впечатление: обескровленные, будто изваянные из белого мрамора черты лица, истомленные, но все еще оживленные обычной приветливостью, но как будто менее уверенной в себе улыбкой, а на белой подушке разбросаны темные волосы, пронизанные частыми серебряными нитями преждевременной седины».

Картина, нарисованная Тимирязевым, весьма малорадостная, но Штернберг, как только почувствовал себя бодрее, покинул и санаторий, и Москву и снова вернулся на фронт.

В Омске повторилось нечто подобное. Проснувшись в белоснежной постели, Павел Карлович решил, что самое страшное и опасное миновало. Конечно, он понимал: сегодня выступить перед войсками, поздравить их с победой он не сможет, однако встречу с командармом откладывать не захотел и отправился к Тухачевскому.

Армия Тухачевского совершила беспрецедентный тридцатидневный переход от Тобола до Омска. Форсировали реки, опрокидывали контратакующих. Шли без отдыха.

Разгром Колчака — «верховного правителя» Сибири — породил крылатое выражение: сибирский снег станет саваном погибающей буржуазии.

Штернберг, назначенный членом Реввоенсовета Восточного фронта в октябре, с командармом-5 ни разу не встречался, хотя немало слышал о нем. Личность Тухачевского привлекала, его имя окружал ореол романтики.



Рассказывали, что в юности, будучи кадетом, Тухачевский смастерил скрипку и искусно играл на ней. Став офицером, в разгар империалистической войны он попал в плен, несколько раз бежал из заточения, а однажды, проломив пол товарного вагона, выпрыгнул на полном ходу. Побег удался.

В сентябре восемнадцатого двадцатипятилетний Тухачевский, уже командуя армией, совершив ряд неожиданных, ошеломляюще-дерзких маневров, взял Симбирск. Ильич, прикованный к постели, откликнулся на взятие родного города телеграммой. Он писал, что «это самая целебная, самая лучшая повязка» на его раны.

Павел Карлович в ту пору находился в Вятских Полянах. Сдержанный, крайне скупой на похвалы Шорин сказал ему: «Этот подпоручик утрет нос любому генералу. Он рожден для побед».

Штернберг ехал к командарму-5, питая к нему самые добрые чувства. Узнав, что Тухачевский создал в своей армии Высшие курсы штабных и строевых начальников, Павел Карлович был безмерно обрадован. Как же! Такое начинание, рожденное в трудных, походных условиях! Учитъ побеждать, вооружать знаниями! Не рассчитывать «на авось», на случайную удачу или отчаянную лихость, осознанно управлять ходом событий...

Потребность в этом возникла уже тогда, а Штернберг, знавший цену знаниям и предвидевший возможности науки, понимал, как важно, как жизненно необходимо это будет завтра...

И еще одно качество Тухачевского располагало к нему. На Восточном фронте выходил журнал «Вестник аудитории военного дела». Резко выделялась среди напечатанного работа Тухачевского «Стратегия национальная и классовая». Она поразила Павла Карловича глубиной, проблемностью, аналитичностью мышления. А командарму едва перевалило за двадцать пять...

И вот — встреча. Свидетельств о ней очень мало. Однако, зная особенности, склонности, интересы и устремления этих людей, нетрудно ее представить. Обсуждались наверняка и проблемы, связанные с освобождением Омска. Надо было решить, например, судьбу огромных трофеев — в столице Западной Сибири захватили триста тысяч пудов хлеба, пятьдесят тысяч пудов сахара, сорок тысяч голов скота...

В разгар беседы вошла в комнату Мавра Петровна — мать Тухачевского, не раз приезжавшая на фронт к сыну. Ширококостная, с крупными, выразительными чертами крестьянского лица, она принесла густо заваренный чай и ароматную малину. Мавра Петровна, очевидно, очень верила в целебную силу лесных ягод...

Павел Карлович и Михаил Николаевич прощались далеко за полночь. У Штернберга был жар. «Купание» в Иртыше не прошло бесследно...

Конечно, они не знали, что расстаются навсегда. Но интуиция нередко опережает наши знания. Прощаясь, Штернберг подарил Тухачевскому зрительную трубу. Неизвестно, что он сказал при этом. Наверное, тягостное предчувствие тревожно шевельнулось в душе молодого командарма...

Ни госпиталь, ни крестьянское лечение Мавры Петровны не помогли.

Сваленный болезнью, в Москву Штернберг не поехал. Его повезли. Паровоз часто останавливался, давая прерывистые гудки. Пассажиры, вооружаясь пилами и топорами, выбегали к ближайшей опушке, пилили лес, таскали бревна на паровозный тендер.

Поезд трогался. Он шел медленно, словно предчувствуя, что это последняя поездка чернобородого пассажира, не поднимающегося с жесткой деревянной полки...

Из свидетелей последних дней и часов Павла Карловича осталась в живых лишь младшая дочь — Иришка,

ныне инженер Ирина Павловна. Ей не было в ту пору и пяти лет.

«Я помню, как папа лежал на столе», — вот все, что смогла она написать мне. И тогда я подумал: не расскажут ли о прощании с Павлом Карловичем, своим профессором и наставником, две его ученицы, бывшие курсистки?

Знакомая дорога — уже в который раз — ведет меня на Красную Пресню. Здесь в самих названиях слышится отзвук грозного, порохового времени — Дружинниковская, Баррикадная, Шмитовский проезд, мост 1905 года.

Я сворачиваю в тихий переулок, издали узнаю покатые башни, немного похожие на шлемы рыцарских времен. Здесь обсерватория, та самая «штернберговская» обсерватория, и его знаменитый рефрактор, и даже журналы наблюдений звездного неба с записями, сделанными его рукой.

А во дворе — двухэтажный старенький деревянный дом со скрипучими лестницами и шаткими перилами. На втором этаже квартирка из трех комнат с маленькими оконцами. Квартирка кажется тесной даже в сравнении с «малогабаритками». Это ощущение усиливается из-за стеллажей, занимающих половину жилой площади: везде книги, книги, книги, фолианты пачала XX века с тяжелой позолотой на обложках и корешках.

Анна Сергеевна Миролюбова и Мария Александровна Смирнова — обитательницы квартиры — семьдесят лет без малого связаны с обсерваторией. Наверное, могли бы они переехать в современный, благоустроенный дом, по как же уехать отсюда — из окна видна башня, по этим ступенькам ходил Павел Карлович, их учитель, открывший им, первым русским женщинам, путь в астрономию.

Считают, что память человеческая несовершенна, однако как поверить в это: Анна Сергеевна (а ей, кажется, девяносто лет) ничего не забыла, ни одной встре-

чи, ни одного разговора со своим учителем, в житейской суете не растеряла живых подробностей. И Мария Александровна (она немного моложе) все помнит так, будто это было вчера.

Мы рассматриваем фотографические карточки: Павел Карлович с группой курсисток, Павел Карлович на крыше Высших женских курсов возле зрительной трубы. А вот открытка из Швейцарии. Черные чернила не выцвели, не поблекли — Павел Карлович и там, вдали от России, заботился о своих ученицах...

Осторожно подхожу к разговору о похоронах Штернберга. Анна Сергеевна признается:

— Этот день, как в тумане. Что-то заволочло глаза. Плохо я видела и плохо слышала... Совсем плохо...

Постепенно, штрих за штрихом, восстанавливаю подробности того дня.

Хоронили Павла Карловича третьего февраля 1920 года. Был сильный мороз, на Ваганьковском кладбище для могилы отогревали землю кострами. Полыхали бревна, отдавая тепло стылой земле.

Гроб везли на артиллерийском лафете, может быть, те же бойцы, которым он помогал наводить орудия на Воробьевых горах. За гробом, окаменевшая в безмолвном горе, шла женщина. Судьба часто разлучала их при жизни. Теперь разлучила навсегда.

В похоронах участвовали делегации от всех районов Москвы. Красные флаги, словно обожженные черными лентами траура, склонялись над рядами. Скорбно рыдала медь военных оркестров.

Прощальный салют вместе с пехотинцами, копниками, артиллеристами дали дружинники 1905 года и красногвардейцы семнадцатого...

Я побывал на могиле Павла Карловича. Со мной поехала дочь — Наташа. Стояла поздняя осень. Узнать, какие цветы любил Штернберг, нам не удалось. И Ната-

ша взяла с собою игольчатую сосновую веточку, сорванную на Ленинских горах, кленовые листья из Замоскворечья, красную рябину — она по-прежнему растет на Пресне, недалеко от обсерватории.

В справочном бюро на Ваганьковском кладбище нам сказали: идите прямо, слева увидите свежие венки: вчера на могилу Штернберга возложила их польская делегация, посланцы родины Коперника. И еще вы увидите седую женщину со студентами. Они часто бывают у этой могилы.

«Наверное, из Астрономического института Штернберга», — догадался я.

Вечерело. У могилы мы оказались одни. Рядом с цветами легли багряные кленовые листья, гроздь рябины, вечнозеленая хвоя.

На мраморном кубе прочли пять слов:

**«АСТРОНОМ-БОЛЬШЕВИК  
ПАВЕЛ КАРЛОВИЧ  
ШТЕРНБЕРГ  
1865—1920»**

Куб венчал черный чугунный шар — наша планета Земля, а в просвете деревьев, паливаясь густой вечерней синевой, простиралось бездонное небо с робкими капельками далеких, мерцающих звезд.

Чернов Ю. М.

Ч-49 Земля и звезды: Повесть о Павле Штернберге.—  
2-е изд., доп.— М.: Политиздат, 1981.— 383 с., ил.—  
(Пламенные революционеры).

Ч  $\frac{10604-109}{079(02)-81}$  247—81 0505030101

84Р7 + 66.61(2)8

Р2 + ЗКП1(092)

*Юрий Михайлович  
Чернов*

ЗЕМЛЯ И ЗВЕЗДЫ

Заведующий редакцией *В. Г. Повохатко*

Редактор *Г. Е. Щербакова*

Младшие редакторы

*А. Г. Мартынова, Н. Б. Чунакова*

Художник *Н. И. Иванова*

Художественный редактор *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 3009

Сдано в набор 20.11.80. Подписано в печать  
04.06.81. А 00098. Формат 70×108<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага типо-  
графская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая».  
Печать высокая. Услови. печ. л. 17,42. Учетно-  
изд. л. 17,09. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 583.

Цена 1 р. 30 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47,  
Мяусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,  
г. Свердловск, пр. Ленина, 49.









